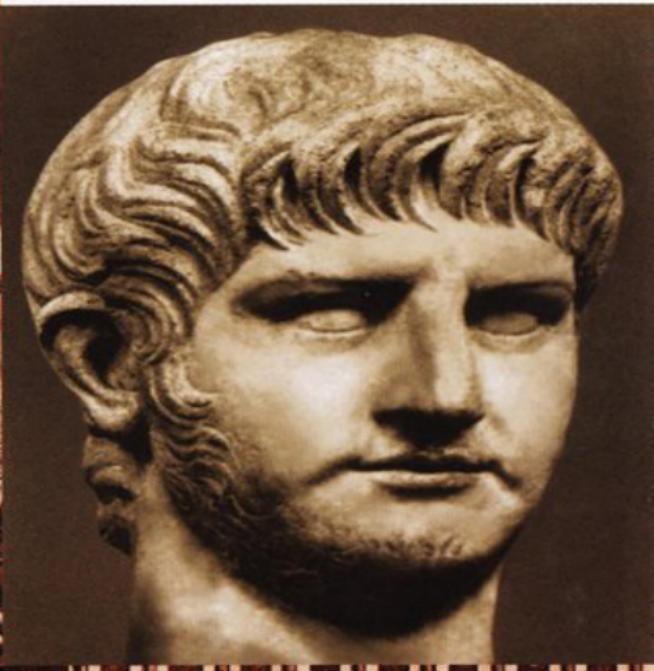
НЕРОН



Игорь Князький

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга доктора исторических наук, профессора И. О. Князького посвящена личности одного из самых знаменитых римских императоров — Нерона. Владыка Римской империи, ославленный христианами как Антихрист, римскими писателями многократно проклинаемый как жесточайший тиран, погубивший достойнейших из римлян, уже почти два тысячелетия приковывает к себе внимание историков. Ученик и воспитанник великого философа Сенеки, обрекший на смерть своего учителя… Матереубийца… Первый гонитель христиан, виновник гибели апостолов Петра и Павла… В то же время Нерон поклонник высокого театрального искусства, испытывающий отвращение к кровавым гладиаторским боям, обычному развлечению римлян. Нерон — актер, певец, музыкант. Даже расставаясь с жизнью, он скорбел не об утраченной императорской власти, он восклицал: «Какой великий артист погибает!» Об этих трагических страницах римской истории, о людях этого времени, о сложной, противоречивой фигуре самого Нерона рассказывается в предлагаемой читателю книге.

- Игорь Князький
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Хронология
  - Библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97

- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141

- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185

- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229

- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273

- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317

Сделано для библиотеки
LIBRUSEC
Сделано для библиотеки

Игорь Князький
НЕРОН

Глава I
Молодые годы Нерона

Детство и юность

15 декабря 37 года в небольшом приморском городке Анций, расположенном в нескольких десятках миль от Рима, в семье Гнея Домиция Агенобарба родился мальчик, получивший согласно семейной традиции личное имя Луций — в роду Домициев Агенобарбов все мужчины носили только два личных имени — Гней или Луций, которые положено было чередовать. Ребенок появился на свет в час рассвета, *«так что лучи восходящего солнца коснулись его едва ли не раньше, чем земли»*.[1] Потому он был вправе считать себя изначально отмеченным Аполлоном, ведь именно этот солнечный бог посылал на землю свои стрелы — лучи. Печать этого божества действительно будет сопровождать Нерона всю его недолгую, но очень бурную жизнь.

Появился он на свет в самом начале правления императора Гая Юлия Цезаря, которого, дабы отличить от его знаменитого предка, гениального полководца, писателя, сокрушителя республики, установившего на ее развалинах свою диктатуру, обычно называют просто Гай Цезарь, а чаще употребляют забавное прозвище, приставшее к нему еще в детстве, когда он рос в военном лагере среди солдат, — Калигула. Калигула — уменьшительное от слова «калига». Так назывались сапоги римских легионеров. Ко времени рождения Луция молодой император правил всего девять месяцев. Потому можно даже шутливо утверждать, что Нерон — дитя правления Калигулы. Будущее показало, что для такой мрачноватой шутки есть все основания. Не случайно ведь в дальнейшем римляне ставили имена этих двух императоров в один ряд.

Впрочем, когда Луций Домиций Агенобарб родился, никто не додумался бы пророчить ему августейшее будущее. Правящему принцепсу, а именно так именовались правители Римской империи со времен Августа, ее основателя, то есть первые в сенате, он приходился родным племянником, поскольку мать его, Агриппина Младшая, была сестрой Гая Цезаря. К новорожденному племяннику Калигула особо теплых чувств не питал. Характерен такой эпизод: когда Агриппина попросила брата дать младенцу имя по своему усмотрению, то тот назвал имя их дядюшки, Клавдия. Реально это выглядело злой

насмешкой — бедняга Клавдий имел при дворе обидную репутацию дурачка и был всеобщим посмешищем.[2]

Предки Луция имели далеко не однозначную славу. Род Домициев Агенобарбов был известен в Риме с древнейших времен. В роду этом было немало подлинно великих сынов римского народа. Семеро из Домициев Агенобарбов были удостоены консульства, один стяжал триумф, двое были цензорами. Прадед будущего императора был борцом за республику и убежденным врагом Юлия Цезаря. Погиб он в бою с его легионами в битве при Фарсале, сражаясь в рядах армии Гнея Помпея Великого. Сын, дед Луция Домиция, пошел по стопам отца. Был соучастником убийства Цезаря, сражался в войсках последних республиканцев Брута и Кассия. Побывал и на службе у Марка Антония, но, не одобряя его связи с Клеопатрой, что многим римлянам казалось изменой, перешел на сторону Октавиана, ставшего после победы над Антонием и Клеопатрой единоличным владыкой Рима под именем Август.

Соратник Брута и Кассия сумел породниться с обоими претендентами на высшую власть в Риме. Он женился на Антонии Старшей, бывшей старшей дочерью Марка Антония от его второй жены — Октавии Младшей, родной сестры Гая Октавия, ставшего после гибели Цезаря Гаем Юлием, Цезарем Октавианом, а затем и Августом. От этого брака у него было двое детей: сын, Гней Домиций Агенобарб, и дочь, Домиция Лепида.

Гней Домиций Агенобарб, приходившийся Августу внучатым племянником, занимал при его дворе достаточно видное положение. В завещании своем Август назначил Агенобарба *«покупщиком своего состояния и средств»*.[3]

Славу, однако, доблестный Гней, добывший себе даже триумфальные украшения на войне с германцами, имел прескверную. Биограф Нерона Светоний характеризует Агенобарба как «человека, гнуснейшего во всякую пору его жизни» и приводит в доказательство самые вопиющие проявления этой самой гнусности:

> «Сопровождая по Востоку молодого Гая Цезаря, он однажды убил своего вольноотпущенника за то, что тот не хотел пить, сколько ему велели, и после этого был изгнан из ближней власти. Но буйства его не укротились: в одном селенье на Аппиевой дороге он с разгону задавил мальчика, нарочно подхлестнув коней, а в Риме, на самом Форуме, выбил глаз одному всаднику за его слишком резкую брань… Обвинялся он незадолго до кончины и в оскорблении величества, и в разврате, и

в кровосмешении с сестрой своей Лепидой, но смена правителей спасла его; и он скончался в Пиргах от водянки, оставив сына Нерона от Агриппины, дочери Германика».

К этому стоит добавить, что в ответ на поздравления друзей с рождением сына он воскликнул, *«что от него и Агриппины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества»*.

Агриппина Младшая, супруга Агенобарба, приходилась родной правнучкой императору Августу — ее мать, Агриппина Старшая, родилась от брака полководца Агриппы и дочери Августа Юлии. Она же являлась внучатой племянницей преемника Августа императора Тиберия, будучи дочерью его племянника Германика, мужа Агриппины Старшей. Так что юный Луций Домиций Агенобарб, будущий Нерон, состоял в родстве и с Августом, причем по обеим линиям, отцовской и материнской, и через Августа был отдаленным потомком Гая Юлия Цезаря (Август был его внучатым племянником). К этому добавлялось родство с недавно скончавшимся Тиберием. Императору действующему, Гаю Цезарю Калигуле, он, как уже говорилось, приходился племянником. Заключенный же некогда из сугубо политических соображений брак Марка Антония и сестры Октавиана Октавии привел к тому, что в жилах правящей в империи династии Юлиев-Клавдиев — так принято называть эту династию со времен правления Тиберия, поскольку он был из рода Клавдиев, — текла кровь смертельных врагов — Октавиана и Марка Антония.

Детство Агриппины прошло в военном лагере. Отец ее, Германик, племянник Тиберия, был великим полководцем и в этом качестве почти не уступал своему дяде, знаменитому своими военными знаниями и победами. Тиберий трижды заслужил триумф, Германик дважды провозглашался своими легионами императором (в данном случае речь не шла о звании правителя империи, но о традиции еще республиканских времен называть императором особо отличившегося военачальника). Когда в 14 году умер Август, то восемь легионов, которыми командовал Германик на германской границе по Рейну, готовы были присягнуть ему уже как императору — правителю империи. Но он отказался выступить против дяди, который являлся законным преемником Августа. Германик был очень популярен в армии и народе, все единодушно отмечали его замечательные качества: храбрость, доброту, радушие, большие способности к науке и красноречию. Под стать ему была и его супруга Агриппина Старшая. Она была известна сильным, непреклонным характером,

совершенно чужда всякому притворству, славилась целомудренным нравом, будучи верной, любящей супругой. По словам Публия Корнелия Тацита, Агриппину Старшую простые римляне называли украшением родины, непревзойденным образцом древней нравственности.[4]

Дочерью таких родителей была Агриппина Младшая, которую Тиберий выдал замуж за Гнея Домиция Агенобарба.

Родина Агриппины — берега Рейна, где римский военный лагерь был постепенно преобразован в поселение и носил название Колония Агриппина. Считается, что название это дано было колонии в честь Агриппины. Ныне это город Кёльн в Германии.

Судьба Германика и его супруги в правление Тиберия оказалась крайне печальной. Германик был отравлен. Виновниками его смерти считаются наместник Сирии Гней Кальпурний Пизон и его жена Планцина. Причастность Тиберия к гибели племянника не доказана, но он был доволен происшедшим, правда, Пизона и его супругу покарал: против них начали судебный процесс, и сначала Пизон, а позже Планцина были принуждены к самоубийству. Оставшаяся вдовою Агриппина Старшая была ненавистна Тиберию. По клеветническому обвинению ее сослали согласно повелению императора на небольшой остров Пандатерию в Тирренском море к западу от Италии. Там она уморила себя голодом, не желая покориться Тиберию. Удивительно, но до наших дней сохранилась погребальная урна Агриппины Старшей, ныне хранящаяся в Капитолийском музее Рима. На ней надпись: *«Прах Агриппины, дочери Марка Агриппы, внучки божественного Августа, жены Германика Цезаря, матери принцепса Гая Цезаря Августа Германика»*.[5] Известно, что урну эту собственноручно доставил в Рим сам Гай Цезарь Калигула. Потрясший Рим своими дикими выходками и чудовищным развратом, погубивший многих людей, он был сыном безупречных родителей… Яблоко от яблони может очень далеко укатиться. Потомство Германика и Агриппины Старшей убедительный тому пример. Впрочем, Калигула высоко чтил память матери, а его сестра Агриппина всегда гордилась тем, что она дочь Германика.

Взаимоотношения брата и сестры носили крайне непростой характер. Калигула, став властителем империи, очень быстро дал волю своим самым дурным наклонностям. Более всего римлян поражала склонность его к кровосмесительным связям — инцест. Первой возлюбленной Гая была… его сестра Друзилла. После ее смерти он навязал те же отношения двум оставшимся сестрам — Юлии Ливилле и Агриппине Младшей. Инцест в Риме по закону

сурово карался. Специальный закон против кровосмешения был издан Августом. Очевидно, открытое сожительство принцепса с родными сестрами вызвало слишком острое неприятие в обществе, и Калигула счел за благо отослать своих сестер-любовниц в ссылку на отдаленные острова, обвинив их предварительно… в разврате. Из ссылки Агриппина вернулась только после гибели Калигулы, каковой и завершилось его короткое, но доведшее Рим до крайнего изумления царствование (37–41 гг.).

Так что первые три года жизни Нерона прошли в не самой лучшей обстановке. Он даже побывал в роли сына ссыльной, и, не прекратись правление Гая Цезаря так быстро, кто знает, как сложилась бы его судьба. На время ссылки Агриппины мальчика приютила его тетушка Домиция Лепида, сестра его покойного отца Гнея Домиция Агенобарба.

Новое царствование, начавшееся после убийства Калигулы, поначалу никак не сулило ни Агриппине, ни ее сыну, маленькому Луцию, каких-либо особо радужных надежд на будущее. Императором стал тот самый Клавдий, имевший до этого стойкую репутацию забавного дурака, что, впрочем, обеспечивало ему безопасность в самые опасные годы правления и престарелого Тиберия, и молодого Калигулы. Клавдий был женат, имел от последней жены сына и дочь. Потому трудно было усомниться, в чьих руках окажется власть принцепса, когда действующий император уйдет из жизни. Клавдий ведь стал во главе Римской империи в возрасте весьма почтенном — ему было уже за пятьдесят. Клавдий приходился родным братом Германику, отцу Агриппины. Был он сыном брата Тиберия Друза Старшего от его брака с Антонией Младшей — младшей дочерью Марка Антония и Октавии, сестры Октавиана Августа. Ко времени обретения высшей власти, к чему он со своей стороны не проявил ни малейших усилий и не имел даже мыслей о столь блистательном повороте в своей жизни, он был уже женат в третий раз. Последней женой его была Валерия Мессалина, приходившаяся правнучкой Октавии Младшей. Имя этой императрицы стало нарицательным из-за действительно поразительной ненасытности ее в распутстве. Знаменитый римский сатирик Ювенал беспощадно заклеймил порочную августу, в самых натуралистических красках описав подробности наиболее шокирующих ее похождений:

> Ну, так взгляни же на равных богам, послушай, что было
> С Клавдием: как он заснет, жена его, предпочитая
> Ложу во дворце Палатина простую подстилку, хватала

Пару ночных с капюшоном плащей, и с одной лишь служанкой
Блудная эта августа бежала от спящего мужа;
Черные волосы скрыв под парик белокурый, стремилась
В теплый она лупанар, увешанный ветхим лохмотьем,
Лезла в каморку пустую свою — и, голая, с грудью
В золоте, всем отдавалась под именем ложным Лициски;
Лоно твое, благородный Британник, она открывала,
Ласки дарила входящим и плату за это просила;
Навзничь лежащую часто ее колотили мужчины;
Лишь когда сводник девчонок своих отпускал, уходила
Грустно она после всех, запирая пустую каморку:
Все еще зуд в ней пылал и упорное бешенство матки;
Так, утомленная лаской мужчин, уходила несытой,
Гнусная, с темным лицом, закопченная дымом светильни,
Вонь лупанара неся на подушки царского ложа.[6]

Имя Британника не зря здесь упомянуто Ювеналом. Обоих своих детей — сына Британника и дочь Октавию — Клавдий имел от Мессалины. И здесь мы встречаем обратный уже упомянутому случай, когда яблоки далеко укатились от породившей их яблони. Ни Британник, ни Октавия, дети распутнейшей Мессалины, не были порочны. Октавия даже явила собой образец добродетельной женщины, завоевав именно этим глубокие симпатии римлян, никогда не попрекавших ее поведением матери.

Понятно, что подобное безудержное распутство должно было рано или поздно стать губительным для потерявшей всякую осторожность августы. Роковым для Мессалины стал, правда, не очередной поход в лупанар — так в Риме называли общедоступные дома свиданий, — но необузданная страсть к красивейшему из молодых мужчин Рима Гаю Силию. Мессалина настолько обезумела, а Гай Силий имел ум явно обратно пропорциональный своей красоте, что любовники ухитрились оформить брачный союз. Силий по настоянию Мессалины развелся, но она оставалась замужней женщиной, более того, августой! Понятно, что, узнав об этом, люди из окружения Клавдия то ли с его согласия, то ли без такового распорядились убить Мессалину и Силия, и тех, кто оказался причастен к этому удивительному брачному союзу.[7] Нельзя не заметить, что Мессалина и Силий очень странно планировали заговор с целью свержения Клавдия. В этом случае им надлежало сначала

избавиться от действующего императора, а потом уж заключать новый брак. Так заговоры не устраивают, либо устраивают люди, явно потерявшие рассудок.

Внезапно овдовевшему Клавдию нужна была новая супруга, и вот здесь Агриппина блестяще сыграла свою партию, которой суждено было радикально изменить и судьбу правящего принцепса, и ее собственную, и десятилетнего Луция, и, как впоследствии выяснилось, всей династии Юлиев-Клавдиев.

Агриппина была очень близка с одним из наиболее видных приближенных Клавдия, его вольноотпущенником Паллантом. Паллант настойчиво советовал принцепсу избрать в новые жены именно дочь славного Германика. Советы Палланта оказались наиболее убедительными, чары Агриппины наиболее действенными, и прочие кандидатуры оказались отвергнуты. Агриппина Младшая стала августой, а Нерон был усыновлен Клавдием. Официальное усыновление произошло уже после свадьбы Клавдия и Агриппины в начале 50 года.

Итак, Луций Домиций Агенобарб, превратившись из просто внучатого племянника принцепса в его пасынка, сменил и имя. Теперь он стал именоваться Тиберий Клавдий Друз Германик Цезарь. Агриппина, стремясь сразу же упрочить положение сына при Клавдии, еще не успев стать его женою, уже стала подготавливать брак пока еще Луция Домиция с дочерью императора Октавией. Беда оказалась в том, что Октавия уже была просватана за весьма знатного человека, чей род также состоял в родстве с Августом, Луция Силана. Путем искусной интриги Агриппине удалось разрушить намечаемый брачный союз молодых людей, что стало для них настоящей трагедией: для Силана немедленно — в день свадьбы Клавдия и Агриппины он покончил с собой, для Октавии же трагедия ее жизни растянулась на полтора десятилетия.

Брак Клавдия и Агриппины смущал многих в Риме тем, что племянница выходила замуж за родного дядю. Дабы такое препятствие навсегда упразднить, Клавдий потребовал от сената постановления, дозволяющего раз и навсегда браки между дядей и племянницей. Истинное отношение римлян к этому находчивому поступку принцепса проявилось в том, что никто не пожелал воспользоваться таким дозволением, исключая только одного-единственного всадника, вступившего в брак с племянницей, дабы угодить набирающей силу Агриппине.[8] Да, в Риме быстро поняли, что новый брак Клавдия привел к важным изменениям в жизни империи:

«Этот брак принцепса явился причиной решительных

перемен в государстве: всем стала заправлять женщина, которая вершила делами римской державы, отнюдь не побуждаемая разнузданным своеволием, как Мессалина; она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке».[9]

Но Агриппина думает не только о дне текущем. Ее волнует будущее сына, который теперь, усыновленный Клавдием, сразу оттесняет на второй план родного сына Клавдия. Во-первых, он сын августы настоящей, а не прошлой, оказавшейся еще и преступной, во-вторых, он и немного старше Британника. Но тут же она вспоминает, что воспитанием ребенка пока что должным образом не занимались. Настоящих воспитателей у него не было, а были просто присматривающие за Луцием дядьки, которые могли научить его весьма немногому. Да и нравственные качества обоих приставленных к мальчику дядек-греков — Аникета и Берилла — были весьма сомнительны. Воспитатели эти появились, когда маленький Луций еще пребывал в доме Домиции Лепиды. Ранее их занятия были достаточно далеки от педагогической стези. Один был танцовщиком, другой — цирюльником. Мать Луция Домиция, став в начале 49 года полноправной августой, сумела найти еще даже неусыновленному сыну, хотя усыновление явно было обговорено заранее, такого наставника, какого мог заслуживать только будущий император. Она вспоминает, что на острове Корсика пребывает в ссылке отправленный туда еще в 41 году, в самом начале правления Клавдия, по настоянию покойной Мессалины знаменитейший литератор и философ Луций Анней Сенека. Возвращая Сенеку в Рим, Агриппина завоевывала симпатии римлян, уважающих славу философа и писателя, ставшего жертвой явного произвола. Но главным было другое: *«…она поступила так и ради того, чтобы отроческие годы Домиция протекли под руководством столь выдающегося наставника и чтобы она с сыном, осуществляя ее мечту о самовластном владычестве, могла пользоваться его советами, ибо считалось, что Сенека, помня о благодеянии Агриппины, питает к ней безграничную преданность, тогда как, затаив про себя горечь обиды, враждебен Клавдию».*[10]

Сын Агриппины получил выдающегося наставника. Не забыл он, однако, и первых своих воспитателей. Аникет был в дальнейшем возвеличен, возведен в высокий военный ранг флотоводца, но более всего проявил себя в делах, которые составили отнюдь не славу, но позор правления Нерона.

Сенеке были даны незаурядные помощники: грек из

Александрии Хастремон, а также уроженец города Эги в Македонии, тоже грек, Александр. Греческое образование считалось совершенно необходимым для просвещенной римской знати. Первые принцепсы империи подавали в этом смысле достойный пример. Август высоко чтил культуру древней Эллады, его преемник Тиберий свободно говорил, писал и даже сочинял стихи по-гречески. Клавдий всегда подчеркивал свое уважение к Греции, любил выступать с речами на греческом языке, обожал цитировать на память стихи Гомера. И в случае с молодым Нероном греческое воспитание было, безусловно, на должном уровне. При таких учителях — Хастремон, к примеру, возглавлял знаменитейший Александрийский мусейон, где находилась величайшая библиотека античного мира — даже самый посредственный ученик очень многому мог бы научиться, а Луций Домиций был вовсе не лишен способностей. Правда, это его исконное имя после усыновления стало быстро забываться. Теперь его звали Тиберием Клавдием, и к этому добавилось имя Нерон. Нерон — родовое прозвище императора Тиберия — полное его имя Тиберий Клавдий Нерон. Тиберий Клавдий Друз Германик Цезарь, так звался Клавдий до того, как стал императором. Будучи принцепсом, он уже именовался Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Имя Нерон перешло и к сыну Агриппины.

Спустя год после официального усыновления его Клавдием, 5 марта 51 года юный Нерон, не достигший еще и четырнадцати лет, был провозглашен совершеннолетним и торжественно облачился в мужскую тогу. По римской традиции этот обряд полагалось совершать, когда юноша достигал шестнадцати лет. Ускорение совершеннолетия Нерона было делом знаковым: римляне должны были увидеть, что пасынок императора достаточно возмужал и способен заниматься государственными делами. А это означало, что именно сын Агриппины теперь выдвигается на первый план как преемник Клавдия. Выходило, что Британник, законный сын императора, которого ранее уже привыкли воспринимать в качестве наследника правящего принцепса, лишается надежды стать преемником отца.

Стремительное возвышение Нерона было замечено всеми, но более всего отразилось на взаимоотношениях обоих отроков. Впервые их противостояние обозначилось до брака Агриппины с Клавдием, еще при жизни Мессалины, в 47 году, когда праздновались в Риме так называемые Столетние игры — самые великолепные игры, специально проводившиеся один раз в век, дабы никто не мог похвалиться, что был на них дважды. На этих играх подростки из знатнейших римских семейств участвовали в

конном представлении, носившем название Троянского, состоявшем из скачек, потешных боев, поединков. Был среди участников и Британник, однако публика благосклоннее встретила Луция Домиция. Возможно, будучи постарше, он лучше держался в седле, но скорее потому, что был он внуком знаменитого Германика и сыном уважаемой в народе Агриппины. Клавдий никогда не был особенно любим народом, а мать Британника — Мессалина — имела из-за своих похождений не самую лучшую репутацию.

Усыновление Луция Британник воспринял довольно ревностно. Новое имя новоявленного брата, конечно же, изрядно раздражало сына принцепса, и он, как бы невзначай, продолжал именовать его по-прежнему Агенобарбом.[11] Один раз дело дошло до прямой стычки, когда Британник прилюдно приветствовал Нерона Агенобарбом. Тот в ответ немедленно стал обзывать сына императора незаконнорожденным, прямо указывая на безнравственное поведение его покойной матери, из-за которого усомниться в отцовстве Клавдия было вовсе не мудрено. Самое поразительное, что сам Клавдий присутствовал при этом, пасынок и его, по сути, оскорблял в лицо, но он предпочел не обнаруживать обиду или по известной вялости своей таковой даже не заметил.

Облачение Нерона в мужскую тогу сразу дало всем понять, кто теперь истинный наследник Клавдия. Сенат, чутко улавливавший перемены в императорском дворце на Палатине, предложил, чтобы Нерону было предоставлено консульство (это в его-то возрасте!), а до принятия этой должности он должен был располагать проконсульской властью за пределами города Рима и именоваться главой молодежи.[12]

Многое было сделано, чтобы привлечь в народе симпатии к Нерону. В день совершеннолетия он был представлен народу, пообещал ему щедрую раздачу хлеба и денег, а воинам преторианских когорт от его имени были сделаны подарки. Когда преторианцы в завершение празднества начали бег в полном вооружении, то юный Нерон со щитом бежал впереди. В тот же день он в сенате произнес благодарственную речь отцу.[13] Разумеется, не Агенобарбу, но Клавдию.

Вскоре было устроено специальное цирковое представление, исключительно с целью еще больше привлечь к Нерону благосклонность народа. Сын Агриппины появился в пурпурном одеянии триумфатора, а на сыне Клавдия была обычная детская тога — претекста. Понятно, что появление одного в одежде победоносного полководца на фоне скромного детского наряда другого явственно давало всем понять, какое будущее кому

предназначено.[14] Нетрудно догадаться, что за всем этим стояла жаждавшая власти для сына и для себя Агриппина.

Британник, чье значение изо дня в день падало, по-детски продолжал мстить Нерону и однажды уже при Агриппине вновь приветствовал его старым именем, назвав Домицием.[15] Августа немедленно пожаловалась Клавдию, рассказав ему о происшедшем как о явном свидетельстве розни между сводными братьями и сетуя, что при дворе не считаются с усыновлением Нерона, в самой императорской семье не желают признавать постановление сената. Короче: если не пресечь все эти происки недоброжелателей ее сына, то государству грозит гибель. Клавдий покорно уступил настояниям супруги, и с ее подачи произошла настоящая чистка в императорском окружении. Воспитатели Британника были заменены новыми людьми, назначенными Агриппиной. Главное же, что чистка коснулась императорской гвардии, единственной военной силы, находящейся в пределах Рима и Италии, — преторианских когорт. Трибуны и центурионы, замеченные или заподозренные в симпатиях к Британнику, были удалены. Здесь Агриппина действовала очень тонко и осторожно. Заменяли офицеров-преторианцев, дабы они не затаили лютой обиды, как правило, под почетным предлогом повышения в должности. Но эти почетные должности отбирали у них командование солдатами.

Однако замена только ряда трибунов и центурионов еще далеко не гарантировала преданности всей преторианской гвардии. Ведь во главе этих девяти когорт отборных воинов, общим числом в девять тысяч, все еще стояли двое префектов — Луций Гета и Руфрий Криспин, которые, как казалось Агриппине, были преданы памяти Мессалины и питали добрые чувства к ее детям. И здесь Агриппине сопутствовал успех: Клавдий по ее настоянию передал преторианские когорты под начало Афрания Бурра, имевшего славу выдающегося военачальника и бывшего популярным и среди воинов, и в народе.

Не забывала гордая своим могуществом августа подчеркнуть свою значимость в Риме:

> «Вместе с тем Агриппина стремилась придать себе как можно больше величия: она поднялась на Капитолий в двуколке, и эта почесть, издавна воздававшаяся только жрецам и святыням, также усиливала почитание женщины, которая — единственный доныне пример — была дочерью императора, сестрой, супругой и матерью принцепсов».[16]

Действительно, по родству с владыками Рима Агриппина не

имела себе равных: дочь Германика, племянника принцепса Тиберия, который сам едва не стал принцепсом, а своими легионами дважды провозглашался полководцем-императором, родная сестра Гая Цезаря Калигулы, ставшая затем супругой его преемника принцепса Клавдия, и мать Нерона, для которого она сделала все, лишь бы открыть ему дорогу к высшей власти. Воистину, великая августа!

Дабы народ убедился, что Нерон способен к исполнению обязанностей государственного управления, ему на Латинских празднествах впервые было поручено вести судебное заседание в качестве префекта города Рима. Обычно для такого первого опыта дела подбирались незначительные, даже мнимые. Клавдий потому запретил выносить на суд пасынка дела важные, требующие ответственных решений. Однако, должно быть, стараниями Агриппины намеченный порядок был нарушен, и перед Нероном один за другим выступали лучшие судебные ораторы Рима, представлявшие множество серьезных, проблемных дел. К чести молодого человека, он с достоинством выдержал испытание, будучи к нему, без сомнения, хорошо подготовлен Сенекой и его помощниками. Теперь ни у кого не должно было остаться сомнения, к какому будущему предназначен Нерон, а что было важнее всего — в его готовности к такому будущему.

В 53 году у шестнадцатилетнего Нерона произошло важнейшее событие — по настоянию Агриппины ее сын стал супругом Октавии. Жениться на дочери своего усыновителя, считавшейся теперь его сводной сестрой, было для Нерона с точки зрения римских обычаев делом сомнительным, имевшим оттенок скандальности. Из чего же исходила Агриппина, задумавшая этот брак и настоявшая на нем? Она помнила, что Октавия была уже помолвлена с Луцием Силаном, избавление от которого стоило августе немалых сил. После этого она исподволь и стала готовить женитьбу сына. Незамужняя Октавия была для будущего ее сына опасной: мог появиться новый кандидат в мужья и, что хуже всего, удачливый. А взрослый зять принцепса сам мог возжелать стать его преемником, совершенно не считаясь с амбициями юного годами пасынка и тех, кто за ним стоял.

Агриппине очередной раз сопутствовал успех. Она могла быть довольной: все у нее шло согласно задуманному. Вот только совершенно не учла она чувств молодых людей, и в первую очередь собственного сына. Нерон, покорившись матери, внутренне пребывал в сильном неудовольствии. Может, он и понимал политическую целесообразность такого брака, но никаких особых чувств к юной Октавии не испытывал. И как

очень часто бывает в браках по принуждению, без всякой любви, та, к которой он поначалу был просто равнодушен, в роли навязанной супруги стала вызывать раздражение. Покорность Октавии и ее скромность здесь скорее играли ей не на пользу, усугубляя неприятие чувственного, порывистого Нерона.

Теперь Нерон был в полном смысле возмужавшим — брак должен способствовать его репутации как человека действительно взрослого не по годам. Для поддержания такого полезного мнения ему предоставили возможность блеснуть красноречием и образованностью. Нерон должен был выступить с речами в поддержку ряда ходатайств. Одно из них касалось выделения колонии Бонония (совр. Болонья в Италии) десяти миллионов сестерциев для восстановления города после пожара, другое ходатайство касалось просьбы жителей города Илиона в Малой Азии снять с них государственные повинности. Еще два ходатайства были с острова Родос о возвращении ему его былых вольностей и из сирийского города Апамеи с просьбой снять подати в связи с жестокими разрушениями из-за землетрясения. Нерон действительно сумел блеснуть. Он выступал на двух языках: о проблемах италийской Бононии он говорил по-латыни, а о делах городов, представляющих либо греческий — Родос, Илион, либо эллинистический мир — Апамея, — по-гречески. Особо ярко прозвучала его речь в поддержку ходатайства жителей Илиона. Ведь этот город — полное его имя Новый Илион — был построен римлянами за несколько десятилетий до этого на месте знаменитой Трои. Потому Нерон обосновал необходимость пойти навстречу его жителям исходя из того, что сам римский народ происходит из Трои, вспомнил и Энея, родоначальника Юлиев, и иные древние предания. Разумеется, успех его речей был полный и все ходатайства были удовлетворены.

Вскоре, однако, Нерону пришлось выступать в суде уже в роли свидетеля, причем по делу, поставившему его перед не самым простым нравственным выбором. Беда была в том, что между его матерью и тетушкой, приютившей в свое время маленького Нерона, когда Агриппина пребывала в ссылке, резко обострилась вражда. Собственно, инициатива разбирательства принадлежала одной стороне — Агриппине. Августа все свои силы положила на достижение ее сыном верховной власти в государстве. При этом материнская любовь здесь была ни при чем. Властная, честолюбивая женщина сама желала пользоваться этой властью, не допуская и мысли, что сын или иные люди, к нему близкие, могут желать того же. Домиция Лепида, сестра ее покойного мужа, горячо любившая единственного племянника, представлялась неукротимой августе наиболее опасным

человеком. Она не уступала в знатности самой Агриппине, поскольку была внучатой племянницей Августа, а ей самой приходилась двоюродной теткой. В человеческом плане, если верить Тациту, обе женщины стоили друг друга:

> «Внешностью, возрастом, богатством они мало чем разнились: обе распутные, запятнанные дурной славой, необузданные — они не меньше соперничали в пороках, чем в том немногом хорошем, которым их, возможно, наделила судьба».[17]

В справедливости такой характеристики великого историка не приходится сомневаться. Что же касается Лепиды, то нельзя не заметить, что в отличие от матери Нерона его тетя неповинна в чьей-либо смерти и не стремилась к обладанию властью. Правда, в нравственном отношении они, похоже, стоили друг друга. Ее и покойного Гнея Домиция обвиняли в тех же отношениях, в каковых Калигула одно время состоял с Агриппиной и двумя другими своими сестрами.

Домиция Лепида, оставшаяся бездетной, всю нерастраченную материнскую нежность направила на Нерона. Она была с ним нежна и ласкова, привлекая его всевозможными щедротами. Это было резким контрастом с поведением Агриппины в отношении сына — она была с Нероном всегда сурова и непреклонна, что вытекало и из особенностей ее человеческих качеств, среди коих превалировали гордость и властолюбие, но никак не сентиментальные наклонности, и, исходя из поставленной на будущее задачи: властвовать, когда Нерон станет принцепсом. Потому несправедливо было бы рассматривать происшедшее как борьбу за влияние на Нерона двух соперниц, поскольку одна просто горячо любила родного человека, для другой же собственный сын был не более чем орудием собственного необузданного властолюбия.

Агриппина выдвинула против Домиции Лепиды два основных обвинения: колдовские чары, которыми сестра Агенобарба якобы пыталась ее, супругу принцепса, извести, а также содержание в Калабрии толп буйных рабов, нарушающих мир и покой Италии. Оба обвинения свидетельствуют о том, что ни в каких действительно дурных вещах августа свою соперницу обвинить так и не смогла. О вздорности первого обвинения даже говорить не приходится, а что до второго, то если на самом деле рабы, принадлежащие Домиции, и буйствовали в самом деле где-то в достаточно отдаленной от Рима Калабрии, на южной оконечности земли италийской, виновны в том были виллики — управляющие ее дальних имений, по скверной традиции юга Италии и Сицилии

присваивавшие себе деньги, предназначенные на пропитание рабов, а им самим предоставлявшие кормиться всем тем, что они добудут в округе. Злоумышления Лепиды здесь не было и быть не могло, было неумение жестко контролировать управление своими отдаленными от столицы виллами.

Само обвинение, однако, не могло не возыметь острой реакции римской власти. В Риме хорошо помнили, что подобное обращение с рабами дважды приводило к грандиозным восстаниям рабов на Сицилии. Потому суд принял в отношении Домиции Лепиды самое суровое решение, осудив ее на смерть. Нерон не просто присутствовал на суде, он открыто давал показания против тетушки в угоду матери.[18] Это первый известный нам поступок Нерона, заслуживающий сурового нравственного осуждения. Ведь Лепида любила и баловала его, растила его и ничего дурного против Агриппины не замышляла, что было более чем очевидно. Возможно, юноша просто не устоял перед решительным натиском матери, требовавшей от него безусловной покорности во всем, но это малоутешительное оправдание.

За Лепиду, однако, решительно вступился Нарцисс — вольноотпущенник Клавдия, один из тех, кого в Риме именовали «великими вольноотпущенниками». Это были умные, энергичные, прекрасно разбирающиеся в государственных делах люди. При весьма недалеком императоре, каковым со всей очевидностью был Клавдий, «великие вольноотпущенники» и возглавляли реально государственную жизнь Римской империи. Они прекрасно знали свое дело, были преданны действующему принцепсу и совершенно безопасны в плане честолюбивых устремлений. Ведь либертины никак не могли помышлять о высшей власти в Риме в отличие от представителей знати, среди которых было множество близких и дальних родственников правящего рода Юлиев-Клавдиев. Процветать либертины могли только при своем императоре, потому Клавдий полностью на них полагался. А знаний и умения вести дела государства у них хватало. Вот почему время правления Клавдия было вполне благополучным для Римской империи, а немногочисленные заговоры и попытки мятежа своевременно пресекались и подавлялись. Те же вольноотпущенники верно подсказывали принцепсу высшие военные и административные назначения. Административная машина Римской державы работала отменно. Но они не забывали блюсти и свои собственные интересы, часто в ущерб казне.

Наиболее выдающимися государственными деятелями при Клавдии были два его вольноотпущенника: Нарцисс и Паллант.

Пока при дворе все было относительно благополучно, они действовали заодно, но когда Агриппина явственно обнаружила свои властолюбивые цели, открыто продвигая Нерона в наследники Клавдия, их взгляды на будущее верховной власти в империи разошлись. Паллант, ставший любовником Агриппины, всемерно содействовал ей. Нарцисс же предпочел сделать ставку на Британника. Нарцисс в свое время изобличил преступную связь Мессалины и Силия. Но он при этом желал укрепить власть Клавдия, менее всего предполагая, что открывает дорогу к ней Агриппине, которая возжелает властвовать, проталкивая на Палатин своего сыночка. Потому Нарцисс сделал ставку на Британника.[19]

Успехи Нарцисса скоро стали очевидны. Под его воздействием Клавдий *«начал обнаруживать явные признаки сожаления о браке с Агриппиной и усыновления Нерона. Когда однажды вольноотпущенники с похвалой вспоминали, как накануне он назначил в суде наказание женщине, обвиненной в прелюбодеянии, он воскликнул, что все его жены были безнравственны, но не были безнаказанны; а потом, увидев Британника, он крепко обнял его, пожелав ему вырасти, чтобы принять от отца отчет во всех делах, и добавил: «Ранивший исцелит!» А собираясь облечь его, еще безусого подростка, в тогу совершеннолетнего — рост его уже позволял, — он произнес: «Пусть, наконец, у римского народа будет настоящий Цезарь!» Вскоре он составил и завещание, скрепив его печатями всех должностных лиц. Он пошел бы и дальше, но встревоженная этим Агриппина, которую уже не только собственная совесть, но и многочисленные доносчики обличали в немалых преступлениях, опередила его»*.[20]

Агриппине помог случай: утомленный тяжкими заботами Нарцисс серьезно заболел и был вынужден покинуть Рим, отправившись на лечение целебными водами. Неукротимая августа не упустила представившегося ей шанса. Ей удалось разыскать печально знаменитую своим искусством составлять яды Локусту, с чьей помощью Клавдий и был отравлен. Отраву удалось примешать к любимому Клавдием блюду из белых грибов.

Смерть Клавдия поначалу тщательно скрывалась — объявлено было только о его болезни. Агриппина тем временем задержала при себе Британника и его сестер, родную Октавию и сводную дочь Клавдия от Элии Петины, его второй жены, Антонию. Из Палатинского дворца время от времени объявлялось, что здоровье Клавдия улучшается… Агриппина дожидалась благоприятного часа. Таковой ей, по слухам, указали некие

предсказатели.[21] Скорее всего, она просто готовила почву для решительного провозглашения Нерона новым принцепсом. Оно должно было произойти быстро, дабы никто не посмел воспротивиться.

И вот в полдень 13 октября 54 года, по римскому календарю в третий день до октябрьских ид 808 года от основания Рима, двери императорского дворца на Палатинском холме внезапно широко распахнулись и охраняемый когортой преторианцев в сопровождении префекта претория Афрания Бурра появился Нерон. Народ, своевременно собранный на Палатине, по указанию префекта немедленно встретил его ликующими возгласами, вслед за чем Нерона торжественно подняли на носилках. Колебания и сомнения многих воинов, сторонников Британника, никаких последствий не возымели, поскольку не нашлось у них руководителя. Вот когда сказались чистки в пользу Нерона среди трибунов и центурионов преторианских когорт и назначение префектом претория Афрания Бурра!

В преторианском лагере Нерон произнес речь, сообразную обстоятельствам, пообещал щедрые раздачи денежных подарков воинам, и был провозглашен императором. Римская империя получила нового властителя.

Провозглашение Нерона принцепсом в стихах восславил его наставник Сенека. К Клавдию он не мог испытывать симпатий. В самом начале его правления он оказался в жесточайшей опале из-за своей связи с сестрой Калигулы Юлией Ливиллой, и Мессалина даже настаивала на смертном приговоре. В итоге философ оказался в ссылке, из которой его спасла Агриппина, обеспечившая ему возвышение при дворе, назначив наставником к пасынку принцепса. Но прежние обиды Сенека не забыл. Не исключено, что он был в курсе действий Агриппины по устранению Клавдия, во всяком случае, несомненно, их одобрял. При этом, правда, он имел свои виды на будущее царствование, вовсе не желая таковому быть временем владычества Агриппины. Воспитатель Нерона желал оставаться при нем уже в качестве наставника и мудрого советника принцепса и потому потакать в дальнейшем властолюбию неукротимой августы вовсе не собирался. Эти два совершенно несовместимых подхода к наступающему царствованию Нерона и предопределили решающим образом острейшую политическую борьбу первых лет правления юного императора.

А пока что Сенека излил всю давнюю ненависть к Клавдию в своей поэме «Апофеоз божественного Клавдия». Дион Кассий называл это сочинение Луция Аннея «Апоколокинтосис».[22] Означало это слово «Отыквление» в отличие от слова

«Апофеосис» — «обожествление». Таким образом, согласно стихам Сенеки, Клавдий после смерти превратился не в бога, как должно было почитаемому народом принцепсу, но в тыкву, каковая в Риме в те времена почиталась символом безнадежной глупости, — вспомним обидную репутацию Клавдия до того, как он стал императором.

Правда, конец поэмы, где и должно было произойти постыдное отыквление, до нас не дошел. Но и сохранившаяся основная часть поэмы вопиюще непочтительна к умершему принцепсу. Согласно автору стихов, умер Клавдий от обжорства. Этим утверждением Сенека не столько оправдывал Агриппину, сколько стремился снять с царствования Нерона клеймо преступно начатого, пусть сам пасынок и не участвовал в изведении ядом своего благодетеля-усыновителя. Самому же Нерону в поэме были посвящены вдохновенные строки, вложенные в уста солнечного бога Феба-Аполлона:

> Тот, кто подобен лицом, кто подобен мне красотою,
> Не уступающий мне певец и поэт. Благодатный
> Век он измученным даст и законов молчанье нарушит.
> Как Светоносен, когда разгоняет бегущие звезды,
> Или как Геспер, восход вечерних звезд предваряя,
> Иль как в румяной Заре, рассеявшей тени ночные
> И зарождающей день, появляется яркое Солнце,
> Мир озаряя и в путь из ворот выводя колесницу, —
> Так должен Цезарь войти. Таким увидит Нерона
> Скоро весь Рим. Его лик озаряет все отсветом ярким,
> И заливает волна кудрей его светлую выю.[23]

Так началось правление Нерона.

«Золотое пятилетие»

«Домиций Нерон, сын Домиция Агенобарба и Агриппины правил тринадцать лет. В течение первых пяти его правление было терпимо. Поэтому некоторые историки утверждают, что Траян часто говаривал, что всем принцепсом далеко до этого пятилетия Нерона»[24] — так писал о первых пяти годах царствования Нерона римский историк Секст Аврелий Виктор. С его легкой руки и утвердилось впоследствии наименование начального периода Неронова правления как «золотое пятилетие». Мнение Траяна, «лучшего из принцепсов», никак не может быть признано поверхностным. Правивший Римской империей в 98–117 годах и

совершивший ее последние великие завоевания, он детские и юношеские годы провел при Нероне, появившись на свет за год до его прихода к власти. Потому великий император мог судить об этом времени не только по документам и по рассказам историков, но и по свидетельству своих старших современников, очевидцев этих лет. Его собственные юношеские впечатления о Нероне тоже сыграли свою роль. В пользу справедливости суждения Марка Ульпия Траяна говорят и свидетельства историков, вовсе не расположенных к Нерону.

Итак, обратимся к дней Нероновых прекрасному началу, когда в Риме был принцепс молодой, прекрасный. Став императором, он отныне именовался Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Имена Цезаря и Августа были обязательны — они подчеркивали принадлежность к правящему роду Юлиев-Клавдиев. Постепенно они утрачивали значение имен, превращаясь в высшие титулы. Цезарями и Августами именовали себя и римские императоры других династий, и лишь в конце третьего века император Диоклетиан установит иерархию титулов: август — старший император, а цезарь — младший.

Употребление слова «цезарь» в отношении Нерона фактически было уже скорее титулом, нежели личным именем.

Правление Нерон начал с великолепных похорон Клавдия. Он произнес речь, наполненную похвалами в адрес покойного принцепса. Она, однако, не произвела большого впечатления на присутствующих, хотя поначалу Нерона слушали очень внимательно. Внимание сменилось ироническими улыбками, когда многие узнали стиль Сенеки. Ворчали старики, язвительно утверждавшие, что Нерон стал первым правителем, которому понадобилось чужое красноречие. Вспоминали Гая Юлия Цезаря, соперничавшего с величайшими ораторами своего времени, не исключая и знаменитого Цицерона, Августа, легко и свободно произносившего свои речи, Тиберия, прекрасно владевшего искусством произносить продуманные, взвешенные речи, наполненные богатым содержанием. Даже Калигула, несмотря на свой поврежденный ум, умел говорить сильные речи от себя, даже Клавдий, всеми почитаемый дурачком, когда говорил, обдумав, свои речи, бывал временами выразителен. Так что ораторскому дебюту Нерона сопутствовало некоторое разочарование. Оно, однако, быстро прошло, когда молодой принцепс выступил в сенате, где, собственно, со специального сенатского постановления относительно вручения ему верховной власти и согласия с этим войска и начиналось его законное правление.[25] Бальзамом на душу всех сенаторов, да что там сенаторов, всего римского народа, были его слова о том, что править он будет по

начертаниям Августа.[26] Далее следовали бесконечные планы начинающегося правления, которые вызвали подлинно всеобщее одобрение и искренний прилив народных симпатий к столь достойно начинающему свой путь во власти императору. Нерон *«сказал о том, что располагает примерами и советами, как наилучшим образом управлять государством, что его юности не довелось соприкоснуться с междоусобными войнами и семейными раздорами и что поэтому он не приносит с собою ни ненависти, ни обид, ни жажды мщения. Затем он наметил будущий образ правления, отмежевываясь главным образом от того, что еще вызывало озлобление: он не станет единоличным судьей во всех судебных делах, дабы, заперев в своем доме обвинителей и подсудимых, потакать таким образом произволу немногих могущественных; он не потерпит под своей кровлей никакой продажности, не допустит никакого искательства; его дом и государство будут решительно отделены друг от друга. Пусть сенат отправляет свои издревле установленные обязанности, пусть Италия и провинции римского народа обращаются по своим делам в трибуналы консулов; пусть консулы передают их в сенат; он же будет ведать лишь теми провинциями, которые управляются военною властью».*[27]

Программа, безусловно, продуманная. Сначала — экскурс в прошлое, напоминающий о том, при каких не самых благоприятных обстоятельствах приходили к власти предыдущие владыки Вечного города. Цезарь и Август получали власть в результате кровавых гражданских войн. «Семейными раздорами» деликатно названы приходы к власти Калигулы и Клавдия. Первый, как говорили, стал принцепсом после того, как придушил никак не желавшего умирать Тиберия, а Клавдий наследовал пронзенному мечами заговорщиков родному племяннику. Наконец, он человек юный, неиспорченный, потому не чета тому же Тиберию, обретшему власть в пятьдесят шесть лет и проявившему в старости все дурные привычки, за несколько десятилетий накопившиеся и до поры скрываемые.

Политическая составляющая программы Нерона выглядела действительно возвращением к идеальной форме правления, провозглашенной некогда Августом, когда принцепс не самовластный правитель империи, но лишь первое лицо в государстве, являющееся гарантом его единства и внутреннего мира в нем, отвечающий за его финансовое благополучие и военную мощь, но твердо соблюдающий законы и представляющий всем древним учреждениям, созданным римским народом, исполнять свои традиционные обязанности. Принцепс, сотрудничающий с сенатом, не ущемляющий его

установленных прав, разумно, согласно законам делящий с ним государственное управление, — таким предстал Нерон перед сенатом римского народа в первые дни своего правления и, надо сказать, в первые его годы старательно соблюдал эти достойные принципы.

Милость, проявленная Нероном к сенату, вовсе не ограничивалась стенами курии, где отцы отечества заседали. И в отношении широких слоев римского народа он *«не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и мягкость. Обременительные подати он или отменил, или умерил. Награды доносчикам по Папиеву закону он сократил вчетверо. Народу раздал по четыреста сестерциев на человека, сенаторам из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, иным до пятисот тысяч, преторианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он воскликнул: «О, если бы я не умел писать!» Граждан всех сословий он приветствовал сразу и без напоминания. Когда сенат воздавал ему благодарность, он сказал: «Я еще должен ее заслужить». Он позволял народу смотреть на свои военные упражнения, часто декламировал при всех и даже произносил стихи, как дома, так и в театре; и общее ликование было таково, что постановлено было устроить всенародное молебствие, а прочитанные строки стихотворения записать золотыми буквами и посвятить Юпитеру Капитолийскому»*.[28]

Тацит со своей стороны подтверждает, что в отношении прав сената принимать самостоятельные постановления Нерон *«не нарушил своего обещания, и сенат действительно беспрепятственно вынес по собственному усмотрению немало решений: так, он постановил, что никому не дозволяется брать на себя защиту в суде за какое бы то ни было вознаграждение, будь то деньги или подарки»*.[29]

Оказался верен Нерон и своему обещанию противодействия казнокрадству. Он вскоре отстранил от заведования финансовыми делами империи всесильного вольноотпущенника Палланта. В свое время Клавдий, доверив Палланту финансы государства, совершенно его не контролировал. Результат оказался вполне предсказуем — состояние Палланта увеличилось до фантастических размеров. Секретарь Клавдия, другой «великий вольноотпущенник» Нарцисс, от Палланта старался не отставать. Наконец, оба оказались так богаты, что когда однажды Клавдий *«пожаловался на недостаток денег в казне, то в народе остроумно говорили, что у него могло быть денег в изобилии, если бы эти два отпущенника приняли его в свою компанию»*.[30]

Паллант был любовником Агриппины, и она ему всемерно покровительствовала. Потому Нерон был вынужден дать обещание уходящему в отставку либертину, что ничто из прошлой его деятельности не будет поставлено ему в вину и что его счеты с государством признаются законченными. После этого соглашения Паллант в сопровождении целой свиты своих приближенных покинул императорский дворец. Нерон, наблюдавший за этим любопытным зрелищем, остроумно и к месту заметил, что Паллант уходит, чтобы всенародно принести клятву.[31] Ведь согласно старинной римской традиции должностное лицо, чьи обязанности истекли, было обязано явиться в народное собрание и дать там клятву, что все его обязанности исполнялись честно и добросовестно.

Особой заботой Нерона стало судопроизводство. Гласность суда обеспечивалась бесплатными местами на скамьях, для противодействия продажности-защитникам тяжущихся была установлена твердая постоянная плата. Серьезные меры были предприняты против подделок документов, прежде всего завещаний:

> «Против подделок завещаний тогда впервые было придумано проделывать в табличках отверстия, трижды пропуская через них нитку, и только потом запечатывать. Предусмотрительно было, чтобы первые две таблички завещания предлагались свидетелям чистыми, с одним только именем завещателя, и чтобы пишущий чужое завещание не мог приписывать себе подарков».[32]

В само судопроизводство проник дух милосердия. Нерон подчеркнуто отказался от судебного преследования некоего Юлия Денса, которого обвиняли в приверженности Британнику, — демонстрация не только великодушия, но и мира в императорской семье. Не был также предан суду сенатор Карриной Целер, на которого был сделан обвинительный донос его собственным рабом.[33] Это тоже был знаковый поступок. Римляне крайне болезненно относились к принятию доносов рабов, считая их делом опасным и вредным.

Проявил Нерон должное почтение и к сословной гордости сенаторов. Долгое время он не допускал в сенат сыновей-вольноотпущенников, а тех, кого успели сделать сенаторами его предшественники, не допускал до высоких должностей. Соискателей же этих должностей, которые остались без назначения, поскольку все посты, на которые они претендовали, оказались уже занятыми, *«он в возмещении за отсрочку и промедление поставил начальниками легионов»*.[34]

Компенсация, конечно, достойная, но повысило ли это боеспособность легионов?

Венцом почтительного отношения Нерона к историческим традициям римской государственности стало его поведение при вступлении его в полномочия консула в 55 году. Коллегой Нерона по консульству был Луций Антистий. И когда высшие магистраты присягали на верность распоряжениям принцепса, Нерон не позволил Антистию присягать! Ведь согласно многовековой республиканской узаконенной традиции консулы считались равноправными. Здесь Нерон прямо действовал в духе Августа, окончательно сделавшего Рим монархией, но провозглашавшего восстановление республики.

Восторгу сенаторов не было предела. Они были готовы даже сделать первым месяцем года не январь, но декабрь, поскольку в этом месяце родился Нерон. Последовали предложения установить молодому принцепсу статую из чистого золота или серебра, но, к чести своей, Нерон отклонил все эти достаточно отвратительные в своей низменной льстивости предложения.

Дух милосердия первых лет царствования Нерона во многом объясняется и благотворным воздействием на него достойных советников, среди которых Афраний Бурр и Анней Сенека. Последнему, безусловно, принадлежала решающая роль. Не зря ведь одним из знаменитейших трактатов Сенеки был трактат «О милосердии». В то же время едва ли справедливо было бы все добрые дела Нерона объяснять исключительно сторонним влиянием. Нерон вовсе не был покорной марионеткой или недалеким юнцом, бездумно делающим то, что ему велят другие. То, что советовали ему наставники и помощники, было, очевидно, созвучно его собственным взглядам и убеждениям в те годы. Любопытно, что римские историки не имели единого мнения о том, чего больше было в делах молодого Нерона — его собственных побуждений или влияния советников, прежде всего Сенеки?

Тацит полагал, что Нерон исполнял то, что писал для него Сенека.[35] В то же время из его текста вовсе не следует полная пассивность Нерона, он перечисляет немало добрых деяний принцепса, которые совсем, не обязательно вытекали из заранее составленных речей славного философа. Наиболее жестко судил Нерона Дион Кассий, полагавший, что в первый год правления Нерон целиком зависел от Агриппины, а потом от советов Бурра и Сенеки.[36] Что же касается Гая Светония Транквилла, то в его биографии Нерона вообще ничего не говорится о роли советников, а все достижения царствования прямо связываются с самим императором. Из описания Светонием ведения Нероном

суда явствует, что молодой принцепс сам вникал в процесс судопроизводства:

> «Правя суд, он отвечал на жалобы только на следующий день и только письменно. Следствие вел он обычно так, чтобы вместо общих рассуждений разбиралась каждая частность в отдельности с участием обеих сторон. Удаляясь на совещание, он ничего не обсуждал открыто и сообща: каждый подавал ему свое мнение письменно, а он читал их молча, про себя, и потом объявлял угодное ему решение, словно это была воля большинства».[37]

Здесь мы видим ярко выраженное стремление Нерона самостоятельно и глубоко вникать в ответственное дело правосудия. Как не согласиться со справедливостью отказа от пустых общих рассуждений в пользу добросовестного разбора подробностей дела при обязательном участии обеих сторон? Безусловна и самостоятельность принимаемых им решений. Особо отметим объявление угодных ему решений так, словно это воля большинства. Здесь он явно отходит от того обещания, каковое давал в сенате в своей речи, наверняка сочиненной не без решающего участия Сенеки. Там он обещал не становиться единоличным судьей во всех делах… Львенок не желал находиться на поводке и начинал полагаться на собственные силы.

К безусловно самостоятельным решениям Нерона должно отнести его заботу о памяти своего отца. Он испросил у сената дозволение на сооружение статуи своему отцу Гнею Домицию Агенобарбу. Не забыл он и своего опекуна Аскония Лабеона, которому были пожалованы консульские отличия. Не остался без внимания и его родной город Анций. Там была построена дорогостоящая гавань. В город также была выведена колония отслуживших ветеранов-преторианцев, к которым «были присоединены переселенные из Рима старшие центурионы».[38]

Возвращаясь к вопросу, чьих заслуг больше в добрых делах первых пяти лет правления Нерона — его собственных или же подсказанных советниками, согласимся с тем, что без личного участия Нерона, и участия сознательного, не обошлось. Что до мудрых советов достойных наставников, то ведь умение прислушиваться к дельным предложениям своего окружения всегда было достоинством правителя. Потому спорить здесь не о чем.

Чем еще запомнилось римлянам «золотое пятилетие» Нерона? Светоний ставит в заслугу молодому Нерону то, что

«многие строгости и ограничения были при нем восстановлены, многие введены впервые: ограничена роскошь».

Строгость, ограничение роскоши — это как раз то, что должны были горячо одобрять сторонники добрых обычаев предков. Не зря ведь в Риме давно уже существовало убеждение, что именно роскошь, неумеренное богатство послужили главной причиной порчи и упадка нравов в Римской республике. Почти за сто лет до правления Нерона римский историк Гай Саллюстий Крисп дал подробную картину падения нравов в Риме в результате безудержного распространения богатства и роскоши. [39] Едва ли, конечно, Нерон, сам ценивший как раз роскошный образ жизни, всерьез помышлял восстановить строгие нравы предков — введенные ограничения скорее эффектный жест для завоевания симпатий почитателей римской старины и демонстрация определенной строгости правления. Заодно это приводило и к похвальной экономии: всенародные угощения, весьма недешево обходившиеся казне, заменили раздачей народу простой закуски. Были также приняты меры, которые должно считать санитарными: в харчевнях запретили продавать вареную пищу, исключая овощи и зелень. Мера понятная и похвальная, поскольку в этих дешевых заведениях, где питались преимущественно небогатые римляне, мясные и рыбные блюда зачастую готовились из продуктов совсем не первой свежести.

Отметим и заботу о безопасности прохожих на римских улицах, а также запрет недостойных забав. В Риме возничие колесниц по давнему обычаю имели право после состязаний бродить по городу, буйствовать и даже грабить прохожих. Нерон эти разнузданные забавы прекратил.

Нельзя не сказать еще о двух интересных событиях, составивших также добрую славу правлению Нерона, хотя второе из них, относясь к 61 году, несколько выходит за рамки «золотого пятилетия». Сначала римский патриций Юлиан сумел от дунайской границы Римской империи в Панонии (совр. Венгрия) совершить путешествие к берегам Балтийского моря, откуда доставил ко двору Нерона невиданное количество янтаря. А в 61 году экспедиция по повелению Нерона отправилась в Египет и далее к истокам Нила. Участвовавшие в ней преторианцы сумели достичь таких далей, в которые европейцы попадут только… в конце 30-х годов XIX века.

Завершить же рассказ о «золотом пятилетии» Нерона лучше всего словами его очевидца, римского поэта Кальпурния Сикула:

> Милосердием скован неистовый меч; пусть палач отдохнет —

Ведь сенаторов больше не ведут к нему, скорбных, в оковах,
Пусть наполнится снова сенат, а тюрьма опустеет.
И его же:
Век золотой в безмятежном покое ко второму рождению стремится;
Сбросив пыль скорби своей, благотворная сходит Фемида на землю;
Блистательный век соответствует юному принцепсу…

Увы, в реальной жизни «золотое пятилетие» вовсе не знало внутреннего безмятежного покоя. Под его покровами бушевали на Палатине страсти, чреватые невиданными преступлениями. Сын и мать, Нерон и Агриппина, сошлись в беспощадной схватке, кровавый исход которой потряс Рим.

Глава II
Нерон и Агриппина

Смерть Британника

Пролитие родной крови не было редким явлением в римской истории. Сам Вечный город был основан при трагических обстоятельствах. Напомним, братья Ромул и Рем, вознамерившись основать новый город близ того места, куда они были выброшены течением Тибра — это был Палатинский холм, поссорились, поскольку не могли решить, откуда начать постройку, чьим именем назвать город и кому из братьев быть в нем царем. Ромул убил Рема и стал «божественным основателем Города». Братоубийство не помешало его превращению на небесах, куда он вознесся после своего царствования, в милостивого к римлянам бога Квирина.

Один из основателей Римской республики Луций Юний Брут, предок знаменитого убийцы Цезаря, не дрогнув, отправил на казнь двух своих сыновей, уличенных в измене Риму.

Ранее, в царствование третьего римского царя Тулла Гостилия, доблестный воин Гораций был оправдан народом Рима за убийство своей сестры Камиллы. Она оплакивала своего жениха Куриация, который был сражен ее братом, когда римляне — три брата Горация — в схватке с тремя братьями Куриациями из города Альба-Лонга, соперниками Рима, решали, какому городу главенствовать.

Знаменит был трагический случай, происшедший в 303 году от основания Рима (450 г. до новой эры), когда римлянин Виргиний убил свою дочь, дабы она не подверглась насилию со стороны одного из децемвиров (десять человек, управлявших тогда республикой).

После этого Виргиний, отличившийся до этого в боях с латинами, поднял восстание, следствием которого стало уничтожение власти децемвиров, а Аппий Клавдий, который и возжелал обесчестить несчастную девушку, не дожидаясь суда, покончил с собой.

Высшие интересы Рима, спасение от бесчестия служили полным оправданием пролития родственной крови.

Знаменитый полководец, покоритель Карфагена Публий Корнелий Сципион Эмилиан, узнав о гибели своего шурина Тиберия Семпрония Гракха, чью политику он считал бедственной

для Рима, процитировал по-гречески стихи: «Так да погибнет каждый, свершающий дело такое!»

Жестокие времена гражданских войн в Риме сделали родственное кровопролитие делом достаточно заурядным. В страшные дни проскрипций расторгались все родственные связи. Проскрипции — объявление вне закона политических противников — вводились в годы гражданских войн в 80-е и 40-е годы I века до новой эры. Внесенные в проскрипционные списки подлежали смерти, а их имущество конфисковывалось. Доносители получали вознаграждение из имущества жертв.

По свидетельству историка Веллея Патеркула, исследовавшего печальную статистику проскрипций, объявленных в 43 году до новой эры триумвиратом Антоний — Лепид — Октавиан, худшими из предателей были сыновья, доносившие на своих отцов ради будущего наследства. Даже рабы реже выдавали властям своих злосчастных хозяев, включенных в гибельные проскрипционные списки. Самый жуткий пример показали двое участников триумвирата. Первым был приговорен к смерти родной брат Лепида Павел, вторым приговоренным стал дядя Антония Луций. Октавиан обрек на смерть «всего лишь» своего политического отца — Цицерона. Впрочем, со временем и он пролил родственную кровь. Когда после занятия его войсками Египта в руках Октавиана оказался сын Цезаря и Клеопатры Цезарион, внучатый племянник и наследник великого Юлия, не колеблясь, обрек его родного сына (и своего родственника!) на смерть.

Эпоха Империи внесла свои коррективы в кровавые родственные споры. Системы понятного престолонаследия принципиат не установил. И это провоцировало и тех, кто находился у власти, и тех, кто к таковой стремился, избавиться любыми средствами от опасных соперников. А таковыми в первую очередь почитались как раз родственники разных степеней, к великому правящему роду Юлиев-Клавдиев принадлежащие. Самым ярким примером этого как раз и можно назвать воцарение Нерона и славное начало его правления. Жена и племянница одновременно императора Клавдия Агриппина отравила своего мужа и дядю, дабы добыть престол для сына. Сын же ознаменовал первый год своего царствования убийством своего сводного брата Британника, отравленного по его повелению.

Если вспомнить жестокий опыт предшествующих кровавых царствований Тиберия, Калигулы да и Клавдия, то трагическая развязка взаимоотношений Агриппины и Нерона не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Самое начало царствования Нерона, казалось, не предвещало

рокового противостояния матери и сына. Внешне Агриппине оказывались всевозможные почести. Размешенной в Палатинском дворце когорте Нерон сам дал пароль Optima Mater — лучшая мать. По постановлению сената августе-матери были даны двое ликторов. Ликторы до сих пор давались только официальным магистратам — должностным лицам, исполняющим государственные обязанности, к каковым Агриппина не имела и не могла иметь отношения. Сенатским же постановлением Агриппина была назначена жрицей вновь учрежденного культа божественного Клавдия. Ее изображения появились на монетах. Монеты, вошедшие в обращение в декабре 54 года, имели профили Агриппины и Нерона, обращенные друг к другу. Титул Агриппины помещался на аверсе — лицевой части монеты, а правящего императора Нерона — на реверсе, обратной стороне. В монетах 55 года профили Агриппины и Нерона были уже наложены друг на друга, профиль Нерона был слегка выдвинут вперед, и оба располагались на аверсе. Титулы уже поменялись местами.

Историки часто сравнивают положение Агриппины первых месяцев царствования Нерона с положением Ливии, вдовы Августа в начале правления ее сына Тиберия. Разница здесь совершенно очевидна. Тиберий не оказывал матери особых почестей, ее положение при дворе не выглядело положением соправительницы. В то же время Тиберий всемерно подчеркивал преемственность своей политики, и потому его верность заветам Августа не могла не импонировать Ливии. У Агриппины все шло иначе. Внешний почет, оказываемый ей и сенатом, и самим принцепсом — Нерон часто появлялся на улицах Рима в паланкине матери, — не мог скрыть главного: политическое влияние Агриппины с самого начала стало встречать скрытое, а в дальнейшем все более заметное сопротивление сына. Его в этом, безусловно, решительно поощряли Бурр и Сенека, резонно полагавшие, что именно им, мужам государственного ума, надлежит руководить политикой молодого и неискушенного в политических делах цезаря, а уж никак не его матери, пусть и обеспечившей ему престол. Амбициозность августы-вдовы лишний раз напоминала всем о преступлении, лежавшем в основе случившейся перемены властителя. А ведь правление нового цезаря должно было изначально выглядеть прекрасным и справедливым, не напоминающим недавние мрачные времена…

Надо сказать, что начало «золотого пятилетия» Нерона не стало свободно от злодеяний. По наущению Агриппины был отравлен проконсул провинции Азия Юний Силан. Вся вина его заключалась в том, что был он праправнук Августа и потому тоже

мог претендовать на престол. Погиб Силан без ведома Нерона, но погублен был во имя его царствования. Вскоре, однако, уже сам юный принцепс оказался запятнан родственной кровью — по его повелению был отравлен Британник, сын Клавдия и Мессалины, чьи права на престол были совершенно очевидны. Роковую роль в его судьбе сыграла Агриппина.

Уверенность Агриппины в безусловной покорности сына, лишь благодаря ее усилиям, пусть и преступным, обретшего высшую власть в Риме, стала стремительно улетучиваться в первые же месяцы правления Нерона. Юный цезарь стремительно взрослел и чем далее, тем более начинал стремиться выйти из-под жесткого контроля матери. Агриппина же со своей стороны старалась предельно жестко следить за всеми делами сына, подчеркивая свое неотъемлемое право строго судить их. И не только дела, но и намерения, слова. Эти обстоятельства и стали началом разрыва между матерью и сыном, вдовствующей императрицей и действующим императором. Светоний прямо указывает первопричину озлобления Нерона против Агриппины:

> «Мать свою он невзлюбил за то, что она следила и строго судила его слова и поступки».[40]

Недоумение, а затем и раздражение Агриппины Нерон стал вызывать сразу после принятия высшей власти. Предоставление сенату древних прав издавать свои постановления вызвало сопротивление матери молодого цезаря, поскольку это шло вразрез с указами Клавдия, являлось отменой ряда их. Более того, сенаторы настояли на том, что обсуждение своих будущих постановлений они проведут во дворце. Агриппина, скрытая от глаз сенаторов занавесом, закрывавшим специально пробитую дверь позади сидений сенаторов, могла слышать все их разговоры. Обнаружив малоприятные для себя новые черты в поведении сына, августа-мать решила показать всем, а главное Нерону и его советникам, что она в государстве фигура, равноценная самому принцепсу. Как-никак она его таковым сделала, а не воспитатели и нынешние наставники. Когда в 54 году Нерон принимал армянское посольство, Агриппина, внезапно появившись в зале, вознамерилась подняться на возвышение, где находился сам император, и сесть рядом с ним. Мать и сын вместе правят Римом — вот что означала эта неслыханная дерзость. Ведь при Клавдии они сидела на отдельном помосте, а не непосредственно рядом с принцепсом. В зале все оцепенели, но конфуза не случилось: быстро сориентировавшийся Сенека подсказал Нерону выйти навстречу матери. Как писал Тацит: *«Под видом сыновней почтительности*

удалось избежать бесчестья».[41]

Причиной первого прямого столкновения Нерона с матерью послужили вполне естественные перемены в его личной жизни, стремление обрести в таковой независимость. Брак с Октавией не мог принести Нерону личного счастья. Он был заключен вовсе не по любви. Нерон женился на дочери Клавдия и Мессалины, сестре Британника, а значит, и на своей сводной сестре в 53 году в возрасте шестнадцати лет. Брак этот имел для Агриппины смысл прежде всего политический, поскольку он еще более закреплял позиции Нерона в правящем роде Клавдиев. В истории редко встречаются случаи, когда молодые люди, в подобные браки вступавшие, бывали счастливы. Трагическим по своим последствиям стал и брак Нерона и Октавии. Сама Октавия ни в чем не походила на свою мать, ставшую на века символом самого чудовищного распутства. Добрая, мягкая, лишенная честолюбия, она была совершенно не склонна не только к распутству, но и ко всякого рода увеселениям. Она была верной и преданной женой Нерона, все источники того времени говорят о безупречности ее поведения, но… не любил ее Нерон. Не блистала Октавия и красотой. Учитывая разницу, а попросту говоря, противоположность характеров молодых супругов, Нерону с Октавией должно было быть скучно… Поэтому не стоит удивляться, что вскоре Нерон впервые в жизни по-настоящему влюбился в полную противоположность своей несчастной жены. Муж правнучки родной сестры Августа Октавии Младшей стал возлюбленным вольноотпущенницы Акте, вчерашней рабыни, а ныне одной из самых прекрасных и известных гетер Рима. Тогда же у Нерона появились новые друзья-наперсники — двое блестящих молодых людей Марк Отон и Клавдий Сенециан. Сенециан был сыном вольноотпущенника императора Клавдия, а Отон был знатного рода, принадлежал к семье консула. Этому молодому человеку суждено было сыграть определенную роль в судьбе Нерона, оставить свой след в истории Римской империи и даже побывать с трагическим, правда, исходом некоторое время на троне.

Пылкая любовь к Акте, которая, будучи многоопытной гетерой, умело разжигала чувства Нерона, новые друзья — все это увлекало молодого принцепса, постепенно выводя его из-под влияния матери. Роскошные пиршества, полные соблазна тайные встречи — вот она, настоящая жизнь, особенно когда рядом любимая женщина, такая искусная в любовных играх! Любовь Нерона казалась беспредельной. Светоний пишет, что он даже подкупил нескольких сенаторов, чтобы они свидетельствовали царское происхождение возлюбленной принцепса.[42] Акте была

гречанкой, значит, речь могла идти о каком-либо царском роде эллинистического мира.

Любовь Нерона и Акте встретила одобрительное отношение в среде приближенных императора, среди римской знати. Пусть молодой цезарь тешит себя любовью с гетерой-вольноотпущенницей, главное, чтобы он не затевал прелюбодеяний со знатными матронами, не унижал бы именитые роды. Римская знать испытала столько унижений от любовных безумств Калигулы, была настолько потрясена его откровенным инцестом, когда он не скрывал ни от кого своих любовных отношений с родными сестрами, что амурные забавы Нерона и Акте она воспринимала как заурядную шалость юного повесы, берущего уроки любви у многоопытной гетеры.

Агриппину, однако, этот неожиданный роман сына совсем не привел в восторг. Сама по себе связь Нерона с вольноотпущенницей не могла ее возмутить. В конце концов ее возлюбленный Паллант тоже был либертином. Дело было в другом: Акте уводила Нерона из-под влияния матери, а уж этого Агриппина стерпеть не могла. Какая-то гетера, недавняя рабыня рушит все ее планы, сводя на нет то, что было достигнуто таким трудом.

Агриппина была, безусловно, человеком очень незаурядным, обладала немалым умом, была хитроумна и коварна. Но она не умела управлять своим гневом и, приходя в ярость, действовала под влиянием сиюминутных вспышек, что неизбежно шло ей во вред. Ее яростные нападки на Акте, ее злые упреки Нерону только озлобили принцепса, его страсть не слабела, а, наоборот, распалялась, и, наконец, он совсем вышел из повиновения матери. Такой поворот дел не мог оставаться тайной для окружающих, и им немедленно воспользовался воспитатель Нерона Сенека, сам желавший быть важнейшей персоной в государстве, сам стремившийся держать Нерона под своим влиянием. Ослабление позиций Агриппины привело к тому, что Нерон всецело вверился Аннею Сенеке. Мудрый воспитатель еще раз показал, сколь неверны представления о философах как о людях, оторванных от жизни, чуждых ее хитросплетениям. Сенека немедленно изобрел прикрытие Нероновой страсти. Его друг Анней Серен стал для всеобщего обозрения откровенно изображать пылкую влюбленность, в Акте, подносил ей дорогие подарки, которые на самом деле были тайными дарами Нерона. На время ему удалось многих ввести в заблуждение и прикрыть от чуждых глаз любовь императора и вольноотпущенницы.

Но Агриппина не была бы Агриппиной, если бы не поняла, что избранный ею способ воздействия на Нерона ошибочный. Она

радикально меняет свое поведение и отныне не только не препятствует ненавистной ей связи сына, но начинает ее прямо поощрять. Она признается Нерону, что не права, винится в чрезмерной суровости. Теперь для любовных наслаждений она предлагает сыну свою собственную спальню под благовидным предлогом сохранения в тайне связи с Акте. Она предоставляет в распоряжение Нерона свое гигантское состояние, которое, по свидетельству Тацита, лишь немногим уступало императорскому… Но все тщетно. Неумеренная снисходительность, сменившая неумеренную строгость, не способствовала восстановлению влияния императрицы на сына. Ближайший советник Нерона Сенека, своевременно разоблачая лицемерие Агриппины, предостерегает принцепса от ее коварных замыслов.

Нерон оказывается способным учеником. Не поддаваясь более попыткам Агриппины вернуть себе прежнее влияние, он в то же время внешне ведет себя как верный, преданный и любящий сын. Такой поворот, должно быть, еще больше раздражает Агриппину. Она вновь не в силах сдержать свое озлобление, и оно прорывается у нее наружу в самый неподходящий момент.

Нерон решил сделать великолепный жест: он посылает матери в дар лучшие платья и драгоценности, в которых когда-либо блистали жены и матери цезарей. Агриппина, получив роскошный подарок, раздраженно заявила, что подарок этот не только не приумножает ее нарядов и украшений, но, напротив, напоминает ей о том, что сын отнял у нее все остальные богатства, поскольку подарил ей лишь часть того, чем владеет, а все, чем он владеет, добыто ее стараниями.

Заявление грубое, оскорбительное и несправедливое, пусть даже подарок сына был не от чистого сердца. Слова матери быстро стали известны Нерону. Передававшие их, как водится, еще и приукрасили ответ Агриппины, добавив в него побольше яду. И тогда Нерон решился на действительно серьезный вызов матери: он отправил в отставку Палланта со всем его окружением.

Когда Нерон отстранил от заведования государственными финансами вольноотпущенника Палланта, верного и надежного соратника вдовствующей императрицы, то эта его неожиданная решимость в делах управления империей не могла не смутить Агриппину. Властная дочь Германика, проложившая сыну дорогу на Палатин, дабы самой вершить судьбы Римской державы, не ожидала от Нерона такого своеволия. По словам Тацита, августа была просто вне себя от ярости. Ярость — плохой советчик в борьбе за высшую власть. Утратив в гневе здравый смысл,

Агриппина обрушилась на сына с прямыми угрозами. Британник уже подрос, заявляла она, а он-то и есть кровный сын Клавдия и потому — достойный наследник отцовской власти. Она не удержалась от напоминания Нерону, что он всего лишь усыновленный отпрыск чужого рода, который пользуется доставшейся ему властью лишь для того, чтобы обижать свою мать. Распалясь, Агриппина заявила даже о готовности сделать всеобщим достоянием правду о своем кровосмесительном браке с родным дядей Клавдием (а кто, собственно, об этом в Риме не знал?) и даже о его отравлении, ею самой организованном. Последнее, кстати, тоже мало для кого было тайной. По слова Тацита, *«она простирала руки, понося Нерона и выдвигая против него одно обвинение за другим, взывала к обожествленному Клавдию, к пребывавшим в подземном царстве теням Силанов, вспоминала о стольких напрасно совершенных ею злодеяниях».* Главным из таковых можно уверенно назвать возведение на престол империи Нерона.

Самая же серьезная угроза была следующая: Агриппина объявила о намерении отправиться в лагерь преторианцев вместе с сыном и его главными помощниками — Бурром и Сенекой. Пусть же воины преторианских когорт выслушают, с одной стороны, дочь Германика, а с другой — калеку Бурра и изгнанника Сенеку, которые пытаются увечной рукой и риторским языком управлять людьми. Учитывая традиционную популярность Агриппины в военной среде, сомнительные позиции сухорукого Бурра, презрение воинов к риторам и философам, императрица-мать могла рассчитывать на успех.

Нерон и его окружение не могли не задуматься о последствиях такого посещения высшими лицами империи лагеря преторианцев. Агриппина совершила большую ошибку, заранее оповестив Нерона о своих намерениях. Потому не следует удивляться тому, что юный принцепс с помощью, надо полагать, мудрых советников и наставников не мог не задуматься над способом устранения нависшей и, главное, объявленной угрозы. Нетрудно было догадаться, что самым сильным оружием против Нерона было наличие никак не менее, а может и более, законного претендента на высшую власть в империи. Тем более что близился день, когда Британнику должно было исполниться четырнадцать лет. Совершеннолетие в Риме традиционно начиналось с шестнадцати лет, но сам Нерон надел мужскую тогу в четырнадцать и потому он мог полагать, что Британник, знавший об этом, потребует для себя того же. Отказать ему будет невозможно, но тогда Британник становится вровень с самим Нероном. Тогда как же ему, законному сыну Клавдия, не

возжелать высшей власти, да еще если его поддержит Агриппина, которая уверена в преторианцах. Слишком очевидны были угрозы, чтобы оставить их без внимания.

Ведь в самом деле, что, если бы перед преторианскими когортами предстала дочь славного Германика? Агриппина уже во времена Клавдия ввела новшество в римские обычаи: она стала появляться перед преторианцами на специальной трибуне рядом с помостом, откуда к воинам обращался сам принцепс. И надо сказать, что воины воспринимали это вполне доброжелательно и на долю Агриппины приветствий доставалось столько же, сколько и самому Клавдию. Тацит писал: *«Пребывание женщины перед строем римского войска было, конечно, новшеством и не отвечало обычаям древних, но сама Агриппина не упускала возможности показать, что она правит вместе с супругом, разделяя с ним добытую ее предками власть*».[43] А власть-то Нерона была добыта самой Агриппиной… И было очевидно: если появится сам Нерон в сопровождении сухорукого Афрания Бурра и Аннея Сенеки, то шансы его произвести на преторианцев впечатление, способное затмить величественный облик вдовствующей августы, явно невелики. Мутные речения Сенеки могли бы только разозлить воинов, но никак не вдохновить их. Потому-то у Нерона и не могло быть сомнений, что дилемма, стоящая перед ним, звучит предельно четко: «Aut Caesar, aut nihil» — «Или Цезарь, или ничто».

Вывод, что в случае исчезновения Британника Агриппина лишится возможности грозить Нерону поддержкой претензий на престол со стороны законного наследника покойного Клавдия, напрашивался сам собой. И Нерон не мог его не сделать. Британник был обречен.

Роковую развязку приблизил случай, происшедший во время праздника Сатурналий. Сатурналии — один из самых ярких и горячо любимых римлянами праздников. Он был посвящен Сатурну, богу посевов, который дал людям пищу и правил ими во время «золотого века», когда все были равны и, главное, равно счастливы. Женой Сатурна была богиня богатой жатвы Опс, а сыном их был грозный бог-громовержец, верховный владыка богов Юпитер. Сатурналии начинались 17 декабря, после окончания жатвы, и продолжались семь дней. В эти дни римляне беззаботнейшим образом веселились. Забывались тогда на короткое время все общественные различия. Даже рабов их хозяева сажали с собою за стол и угощали наравне со всеми. Как бы воссоздавался заветный «золотой век», бывший временем всеобщего равенства и братства. Великий Овидий писал о нем: «Aurea prima sata est aetas, que vindice nullo» — «Первым посеян

был век золотой, не знавший возмездия».

И именно в дни Сатурналий Нерон решился на жестокое злодеяние, ставшее возмездием Агриппине в ответ на ее угрозы.

Как и положено было в эти праздничные дни, Нерон со сверстниками веселился, затевая различные игры. В одной из этих забав полагалось по жребию избирать царя. Царь отдавал всем разного рода приказания, которые могли быть легко, весело и с удовольствием выполнены для поддержания всеобщего веселия. Жребий выпал Нерону: вот случай, когда цезарю можно было открыто называться царем. Сначала игра шла как обычно, но вот Нерон повелел Британнику встать и, выйдя на середину зала, спеть песенку по своему выбору. Возможно, он рассчитывал, что мальчик, для которого веселое хмельное общество было еще делом непривычным, смутится и станет предметом всеобщих насмешек. Британник, однако, совсем не был смущен. Он уверенно вышел в центр и твердым голосом затянул песню. Нерон немедленно пожалел о данном повелении, и было тому две причины: во-первых, голос у Британника был приятнее, нежели у самого Нерона, а это для него было огорчительно до чрезвычайности, во-вторых, песня оказалась наполненной иносказательными жалобами на то, что его лишили законного родительского наследства и, самое главное, верховной власти. Если само пение Британника было импровизацией, то содержание песни выдавало, над чем несчастный сын Клавдия и Мессалины думал постоянно и настойчиво. Нерон своим шуточным повелением нечаянно попал в точку: подросток выдал свои сокровенные мысли, дал понять, что его более всего волнует. К полному огорчению Нерона, присутствующие в зале, которым поздний час и хмельное веселье развязали и мысли, и языки, стали высказывать Британнику достаточно явное сочувствие. Соответственно Нерон не мог не ощутить неприязнь к себе, поскольку он и был тем самым обидчиком, который похитил у сына покойного императора и родительское наследие, и верховную власть.

С этого дня Нерон люто возненавидел Британника, и для такого озлобления, надо сказать, были серьезные основания. Явственные теперь претензии Британника на власть после его откровенного пения на Сатурналиях означали для Нерона не что иное, как смертельную опасность. Высшая власть могла перейти к сыну Клавдия только в одном случае: если Нерон уйдет из жизни. Нерон хорошо знал свою родительницу и прекрасно понимал, чем рано или поздно могут кончиться угрожающие намеки на большую законность Британника как наследника Клавдия. Кто подогревал в самом Британнике властные амбиции, каковые едва

ли сами могли вдруг развиться у тринадцатилетнего подростка, догадаться было также нетрудно. Совсем недавняя смерть Клавдия, да и не столь уж далекая — каких-то четырнадцать лет прошло — гибель Калигулы не оставляли сомнений в том, каким, собственно, образом произойдет смена принцепса. Потому сколь ни чудовищно было убийство Британника, по воле Нерона совершенное, нельзя не признать: он наносил предупреждающий удар, уничтожая соперника. Причем соперника не вероятного даже, а прямо объявленного и самолично своих притязаний уже не скрывающего. Не грози Агриппина сыну правами Британника, не поддайся несчастный ребенок наущениям со стороны и не начни он так неудачно скорбеть по своим утратам наследства и власти, Нерон не обязательно решился бы на убийство. Не забудем, это ведь только 55 год, только самое начало «золотого пятилетия», когда Нерон еще не являлся тем чудовищем, каковым он предстанет перед римлянами в конце своего царствования. Властолюбие Агриппины обрекло Британника на смерть, а Нерона сделало братоубийцей.

Решившись на устранение Британника, Нерон осознавал, что открытая расправа с сыном Клавдия невозможна. Мальчик не мог быть обвинен ни в каком преступлении, взвалить же на него какое-либо злодеяние также выглядело нелепо. Даже свои притязания на Клавдиево наследие подросток заявил иносказательно в шуточной песенке на праздничной пирушке. Памятуя, как ушел из жизни отец Британника, Нерон решил прибегнуть к отравлению. Поскольку Агриппина продолжала преследовать его угрозами, он начал действовать немедленно. Ему было известно, что знаменитая отравительница Локуста содержится под надзором трибуна одной из преторианских когорт Юлия Поллиона. Совсем недавно ее руками был изготовлен яд, прекративший жизнь Клавдия. Тогда Локуста исполняла волю Агриппины, пролагая дорогу царствованию ее сына — Нерона. Теперь услугами великой отравительницы собирался воспользоваться Нерон, дабы оградить свою власть от угрозы со стороны Агриппины. Отнюдь не лишенный своеобразного чувства юмора, Нерон не мог не увидеть такую жуткую пикантность подобного поворота событий.

Сделать яд Локусте не составило труда. Более того, дабы на Нерона не пало подозрение в убийстве сводного брата, она изготовила яд длительного действия, чтобы окружающие не догадались об отравлении. В результате яд, который Британник принял из рук своих воспитателей, оказал на него всего лишь действие слабительного, вызвав сильное расстройство желудка. И тут оказалось, что Нерону нужна была мгновенная смерть

Британника. Едва ли это были вульгарная враждебность или необузданная злоба. Нерон мог предполагать, что если отравление Британника примет вид продолжительной болезни, то Агриппина, догадавшись, что, собственно, происходит, сможет добыть противоядие и спасти несчастного ребенка. Да и где уверенность, что Локуста, лишенная даже намека на какие-либо нравственные устои, не перейдет вновь в стан матери принцепса? Она ведь ей уже служила, да еще как! Потому Нерон требует к себе Локусту и начинает избивать ее, крича, что та дала Британнику не отраву, а слабительное. Лекарство вместо яда. Издевательство над цезарем! Отравительница оправдывалась, вполне резонно объясняя слабость дозы яда заботой о том, чтобы никто не смел обвинить Нерона в братоубийстве с помощью яда. Тот, однако, не принял таких оправданий. Как пишет Светоний, *«он воскликнул: «Уж не боюсь ли я Юлиева закона!»— и заставил ее тут же, в спальне, у себя на глазах сварить самый сильнейший и быстродействующий яд».*[44]

Проба яда состоялась немедленно. Сначала отраву дали козлу (то-то изумления было среди находившихся во дворце, когда они увидели козла, ведомого в личные покои цезаря!). Но то ли яд был еще слабоват, то ли козел очень уж крепок, но бедное животное околело только через пять часов. Локуста дважды перекипятила яд, и на сей раз его добавили в еду поросенку, который околел на месте. Удовлетворенный проведенными опытами Нерон велел немедленно подавать отраву к столу и поднести ее Британнику, обедавшему вместе с ним.

Сценарий подачи яда был тщательно разработан. Будучи сыном покойного императора, Британник обедал в соответствии с установившимся обычаем: дети принцепсов обедали, сидя за отдельным и менее обильным столом, на виду у своих родителей. Здесь родителей, понятное дело, не было, но отдельный стол Британнику полагался. Прислуживал ему раб, в обязанность которого входила непременная проба всех кушаний и напитков, подаваемых высокородной персоне. Если бы отравленное блюдо или питье в первую очередь попало бы в руки раба, то его смерть сорвала бы покушение. Потому изобрели внешне простую, но при этом очень тонкую уловку. Раб подал Британнику питье, им уже опробованное, но слишком горячее. Когда тот попросил его остудить, питье немедленно разбавили холодной водой с разведенным ядом. С первого же глотка Британник упал недвижимым.

> «Сидевших вокруг него охватывает страх, и те, кто ни о чем не догадывался, в смятении разбегаются, тогда

как более проницательные замирают, словно пригвожденные каждый на своем месте, и вперяют свои взоры в Нерона. А он, не изменив положения тела, все так же полулежа и с таким видом, как если бы ни о чем не был осведомлен, говорит, что это дело обычное, так как Британник с раннего детства подвержен падучей и что понемногу к нему возвратится зрение и он придет в чувство. Но на лице Агриппины отразился такой испуг и такое душевное потрясение, с которым она, как ни старалась, справиться не могла. Агриппина поняла, что лишается последней опоры и что братоубийство — прообраз ожидающей ее участи. Октавия также, невзирая на свои юные годы, научилась таить про себя и скорбь, и любовь, и все свои чувства. Итак, после недолгого молчания возобновилось застольное оживление» — так пишет Тацит.[45]

В приведенном описании трагедии братоубийства наибольшее внимание обращают на себя три момента.

— Самоуверенность Нерона. Смерть Британника от яда внешне ничем не напоминает припадок эпилептика, больного падучей болезнью. Цезарь просто признается: да, я отравил сводного брата, но мне угодно объявить это приступом падучей и никто из вас не посмеет мне возразить.

— Ужас Агриппины. Нерон одним махом разрушил все здание ее политики угроз, столь старательно ею возводимое на страх непокорному сыну. Видя, что теперь Нерона ничто не остановит, она наверняка должна прозревать и собственный, столь же трагический конец.

— Присутствующие легко проглотили наглую ложь Нерона и очень быстро забыли о происшедшем на их глазах убийстве. Недолгое молчание, новое застольное оживление могут, конечно же, ужаснуть читателя, но не забудем, что времена Тиберия, Калигулы и Клавдия достаточно приучили обитателей Палатина к подобным делам. Юлии-Клавдии бестрепетно проливали родственную кровь. Чему же удивляться! И еще один любопытный эпизод случился во время продолжения рокового для Британника застолья. Как следует из биографии императора Тита Флавия, написанной Светонием, тот воспитывался при дворе на Палатине и был близким другом Британника. В роковой миг для сына Клавдия Тит находился рядом. Очевидно, движимый любопытством, еще не до конца осознав случившееся, юный Флавий пригубил тот самый напиток, который только что оказался смертельным для Британника. Глоток, к счастью, был

сделан маленький и Тит отделался тяжелой и продолжительной болезнью, но жизнь его оказалась вне опасности. Так Рим, потеряв в лице Британника возможного императора, едва не лишился заодно и императора будущего — Тита, которому суждено было стать во главе империи двадцать четыре года спустя.

Не были потрясены и римляне за пределами Палатинского дворца. Многие, правда, увидели в непогоде — шел сильный ливень во время погребения Британника — проявление гнева богов, возмущенных преступлением принцепса. Здесь, скорее, проявилась традиционная впечатлительность римлян, видевших во всех так или иначе примечательных природных явлениях те или иные знамения. О знамениях, предрекавших те или иные события, никогда не забывали и крупнейшие римские историки. На страницах своих книг они наисерьезнейшим образом таковые описывали. Главное здесь иное: большинство римского народа достаточно спокойно восприняло это преступление Нерона. Этому способствовала как память историческая, поскольку все Юлии-Клавдии, начиная с самого Августа, проливали родную кровь, так и память мифологическая — братоубийцей был и божественный основатель Рима. Поклонники мифологии греческой, каковых в Риме было множество (главным среди них был сам Нерон), могли вспомнить и поединок сыновей царя Эдипа — Этеокла и Поллиника, решавший, кому править в Фивах, и убийство родными братьями Атреем (отец Агамемнона, предводителя ахеян под стенами Трои) и Фиестом своего сводного брата Хрисиппа, что совсем уж близко было к Неронову злодеянию. Но главным было другое: неделимость верховной власти для римлян эпохи Империи — дело совершенно очевидное. Когда на власть могут претендовать многие — хорошего от этого не жди. Грядут смуты, перевороты, а значит, будет нанесен ущерб государству. Главная же забота высшей власти в Риме — недопущение какого-либо ущерба государству. «Videant consules ne quid Respublica detrementi capiat!» — «Да смотрят консулы за тем, чтобы государство не потерпело ущерба!»

Этот завет еще республиканской поры вовсе не был забыт в Империи. Только ответственность консулов перешла к принцепсам. Потому укрепление неделимости верховной власти вполне естественно воспринимается как соблюдение интересов государства в целом, предотвращение возможного ущерба. Пусть даже цена этого — пролитие родной крови. Здесь стоит вспомнить обстоятельства прихода Тиберия к власти. Новый принцепс, официальный преемник Августа, держал в тайне его

кончину, пока не был убит внук Августа — Агриппа Постум. Агриппа был убит войсковым трибуном, приставленным к нему для охраны, который получил об этом письменный приказ. Светоний, сообщающий обстоятельства происшедшей трагедии, пишет: *«Неизвестно было, оставил ли этот приказ умирающий Август, чтобы после его смерти не было повода для смуты, или его от имени Августа продиктовала Ливия с ведома или без ведома Тиберия».* То есть совсем даже не важно, кто отдал роковой приказ. Важно, что его исполнение означало устранение повода для гражданской смуты. Верхам Империи это казалось настолько естественным, что, как мы видим, не исключалось предположение, что сам Август мог распорядиться убить родного внука, дабы пасынок мог спокойно править. Соответствующей была и реакция народа — дело было быстро замято и забыто. Отношение римлян к гибели Британника оказалось аналогичным.

Такие настроения римского народа, названные Тацитом снисходительными, замечательно уловил Сенека и блестяще отразил их в тексте особого указа, оставленного им, но изданного, разумеется, от имени цезаря Нерона. Дошел он до нас в изложении Тацита. Начинался указ с объяснения поспешных похорон Британника. Поспешность эта оправдывалась почтением к древним обычаям, установленным предками. Согласно им должно было скрывать от людских глаз похороны безвременно умерших и не затягивать церемонии похвальными речами и пышно отправляемыми обычаями. Далее славный философ устами Нерона объявлял римлянам, что, потеряв в лице Британника не только брата, но и помощника, цезарь «отныне может рассчитывать только на содействие всего государства, и поэтому сенаторам и народу тем более надлежит оказывать всяческую поддержку принцепсу — единственному оставшемуся в живых отпрыску рода, предназначенного для возложения на него высшей власти».[46]

Последнее заявление имело особое значение: никто теперь не имеет никаких законных прав оспаривать высшую власть у Нерона. Всякий иной претендент преступен, ибо Нерон единственный цезарь по праву принадлежности к роду Юлиев-Клавдиев.

Год спустя после гибели Британника Луций Анней Сенека написал специальный трактат «De Clementia» — «О милосердии». В нем философ-наставник не просто говорил о непричастности Нерона к смерти сводного брата, он прямо провозглашал молодого цезаря образцом милосердия. Его правление описывалось как дарующее римлянам полную безопасность, правосудие, стоящее выше всех преступлений. Провозглашалось,

что в правлении Нерона присутствуют все элементы *«абсолютной свободы, за исключением свободы быть уничтоженным»*.[47]

Далее Сенека изложил саму концепцию взаимоотношений правителя и народа: *«До тех пор этот народ будет свободен от опасности, пока он будет знать, как быть покорным властителям: если когда-нибудь он свергнет правителей или не позволит им восстановить свою власть, если те будут смещены из-за какой-нибудь случайности, тогда это единство, эта ткань могущественнейшей из империй расползется в куски, и с концом покорности придет и конец владычеству города (Рима)»*.[48] Далее Сенека прямо отождествляет безопасность цезаря и безопасность государства: *«Ведь цезарь и государство так давно переплелись, что невозможно разделить их, не уничтожив их вместе, ибо если цезарю нужна сила, государству требуется голова»*.[49]

Сила цезаря — в государстве, им управляемом, но государство без цезаря — тело без головы, обезглавленный труп. Такого отождествления принцепса и Римской державы до Сенеки не было, да и быть не могло. Английский историк Мириам Гриффин справедливо отметила, что данная идея Сенеки противоречила той идеи власти, которую провозгласил Нерон, тем же Сенекою наученный, перед сенатом: власть исходит от сената римского народа, и принцепс, высшее лицо, власть эту с сенатом и разделяет.[50] Новая трактовка власти принцепса напоминает понимание царской власти в мире эллинистических государств. Греческие трактаты на эту тему были, конечно же, прекрасно знакомы Сенеке. Нерону, явному эллинофилу, такой новый взгляд мудрого наставника мог быть только симпатичен.

Конечно, едва ли во взглядах на государственную власть у Сенеки за пару лет, прошедших со времени провозглашения Нерона принцепсом, произошли столь серьезные изменения. Обучая Нерона провозгласить в сенатской курии почтение к традиционным римским представлениям о природе высшей власти, Сенека старался обеспечить молодому цезарю доверие сената и любовь римлян, без которых правление не могло успешно начаться. Теперь, когда власть Нерона выглядела прочной, а в трагической истории с Британником молодой владыка Рима, что называется, показал зубы, надо было дать истинное теоретическое обоснование властным возможностям принцепса, каковыми они были на деле. Не забывал Сенека и о своей собственной роли при молодом цезаре. В трактате «De Clementia», как справедливо пишет Мириам Гриффин, *«он убеждал высшие слои общества признать, что власть цезаря абсолютна и что он хорошо подготовлен и обеспечен хорошими советами»*.[51] Им, Сенекою, подготовлен и его мудрыми советами

обеспечен.

Едва ли трактат Сенеки, отражавший прежде всего действительное положение дел в государстве, реальные возможности и понимание обязанностей высшей власти в Империи, был специально направлен против Агриппины. Но те грозные предупреждения, что содержались в нем в адрес возможных противников принцепса, били и по ней.

Судьба Агриппины

Рок, судьба, неотвратимость предназначенного свыше занимали огромное место в мыслях и представлениях людей античной эпохи. Рок выступал в роли высшей силы, перед его неотвратимостью были бессильны даже сами бессмертные боги. Вспомним, при осаде Трои ряд богов сочувствует вовсе не ахеянам, но троянцам. Среди них сам бог Солнца Аполлон, однажды даже вмешательством своим спасающий троянцев от меча Ахиллеса, — он принял облик молодого воина-троянца и заставил грозного сына Пеллея преследовать себя, отвлекая его от стен Трои. Когда Ахиллес обнаружил, что понапрасну гнался за проведшим его божеством, ему оставалось только бессильно негодовать. В другой раз, когда Ахилл ринулся на сына Приама, троянского царевича Гектора, то Аполлон, подоспевший на помощь, окутал Гектора мраком. Трижды Ахилл бросался на Гектора, но поражал своим копьем только мрак. Но Аполлон не может изменить судьбу ни Трои, ни славного троянца Гектора. Они обречены на гибель самой судьбой, и потому Ахиллу суждено сразить на поединке Гектора, а самой Трое пасть. Сам владыка боев Зевс не принимает жертв троянцев, когда они ему их посвящают. Он знает: судьба обрекла Трою на гибель и даже боги, даже он сам, главный из них, здесь бессильны. Потому ветер подхватывает струи дыма от жертвенных костров троянцев и относит их прочь.

Рок на стороне ахеян, а не троянцев, и потому Троя пала. Хитроумие Одиссея, придумавшего деревянного коня, чтобы провести троянцев и тайно проникнуть в их город, — это всего лишь способ осуществления судьбы. Ее избежать не может никто. Даже если человек сознательно и целенаправленно стремится избежать своей судьбы, то все равно на деле каждый его как бы самостоятельный шаг является еще одним шагом в осуществлении его предназначенной судьбы. «Предопределенного Роком не может избежать даже бог» — так говорила пифия Дельфийского оракула.

Римские представления о всемогущем роке сформировались под воздействием греческих. Fatum у римлян соответствовал понятию Ананкэ у греков, что означало не просто судьбу, рок, но и необходимость, неизбежность, закономерность. Рок осуществлялся через посредничество богинь судьбы. Греки их называли Мойры, у римлян они именовались Парки. В их руках находились судьбы людей. Как греческое, так и римское имя богинь судьбы происходили от корней, означающих долю, меру. Каждому человеку изначально давалась его доля жизненного пути, за пределы которой он выйти не мог, хотя внутри выделенного ему отрезка жизненного пути он был свободен и мог выбирать любой образ жизни, что, однако, не могло предотвратить назначенного финала.

Узнать свою судьбу — желание, вполне естественное для людей античного мира. Отсюда распространение в Греции и Риме веры в предсказания. Широчайшую известность приобрел знаменитейший оракул, находившийся в Дельфах при храме Аполлона в Греции. Римляне чтили пророчицу Сивиллу, обитавшую в таинственной пещере близ города Кумы, где находился также храм Аполлона. Именно благодаря Сивилле некогда троянец Эней сумел спуститься в царство мертвых и получить от своего отца Анхиза наставление, где именно в Италии он должен высадиться и основать свое поселение. Так повествует «Энеида» Вергилия. «Сивиллины книги» — книги пророчеств. «Сивиллины книги» хранила специальная коллегия жрецов из пятнадцати человек, в особо тяжелые времена для Рима по повелению сената жрецы обращались к ним, указывая средства для умилостивления богов. Предсказания судьбы, последствий тех или иных деяний составляли важнейшую часть деятельности римских жрецов. Жрецы-авгуры предсказывали, опираясь на толкование полета птиц, жрецы-гаруспики истолковывали судьбу, гадая по внутренностям жертвенных животных.

В эпоху Империи в Риме большое распространение получили восточные культы и особой популярностью пользовались магические таланты многочисленных мудрецов с Востока, каковых в Грецию и Италию прибывало множество. С Востока в Рим пришли астрология, магия, пристрастие к сложным и малопонятным символам. Весьма расположен был к восточным культам брат Агриппины Калигула, почитавший египетские божества Исиду и Сераписа. Культ малоазийской богини Кибелы, считавшейся матерью богов, процветал при дворе императора Клавдия. Потому неудивительно, что представители самых верхов римского общества постоянно обращались как к своим традиционным прорицателям, так и к восточным магам из Сирии

и Вавилона, чьи предсказания особо были в моде.

К предсказаниям многочисленных прорицателей греки и римляне относились самым серьезным образом. Многие трагедии они прямо объясняли пренебрежением к пророчествам. Как тут не вспомнить великого Гая Юлия Цезаря, пренебрегшего предсказанной ему бедой в мартовские иды и легкомысленно явившегося на гибельное для него заседание сената!

Агриппина давно уже знала страшное пророчество относительно своей судьбы. Она когда-то обратилась к халдейским мудрецам-прорицателям с вопросом о будущей судьбе Нерона. Ответ предсказателей судеб был воистину ужасен: Нерон будет царствовать, но умертвит свою мать. Такое известие, услышанное из уст мудрецов, прибывших в Рим из Вавилона, отнюдь не смутило Агриппину. Она воскликнула: «Пусть умерщвляет, лишь бы царствовал!»

Конечно, невозможно поручиться, что рассказ об этом предсказании не появился уже после смерти Агриппины. Источник Тацита, описавшего роковое пророчество, им самим обозначен весьма неопределенно: «передают». В то же время Тацит уверенно пишет, что Агриппина много лет ждала именно такого конца, не страшась его.[52]

Мы не можем с уверенностью утверждать, было ли само предсказание, верила ли действительно в него Агриппина. Из того, что нам известно, можно сделать вывод, что августа-мать после потрясения, вызванного гибелью Британника, вовсе не прекратила борьбу за власть. К явному неудовольствию Нерона и его окружения Агриппина стала энергичнейшим образом, в чем ей помогала врожденная страсть к стяжательству, по утверждению Тацита, добывать деньги, увеличивая свое и без того немалое состояние. Сын, пытавшийся успокоить ее гнев великими щедротами, к досаде своей не мог не заметить, что таковыми он только подпитывает материнскую вражду и финансирует, возможно, весьма опасные для себя планы. Зачем, спрашивается, Агриппина тайно совещается со своими друзьями, зачем так обходительно принимает трибунов и центурионов преторианских когорт? А у цезаря-то иной охраны кроме преторианцев в Риме нет… Немало должно было взволновать Нерона и его верных друзей-наставников особое расположение императрицы к представителям старой римской знати. Почет, каковым она вдруг стала их окружать, мог быть истолкован как стремление не просто найти в этой среде опору, но и возможного достаточно знатного претендента на звание принцепса, не менее родовитого, нежели сам Нерон.

Все эти действия Агриппины имели одну безнадежно слабую

сторону: им не хватало покрова тайны, столь необходимой для успешной политической интриги. Должно признать, что была мать Нерона никудышной заговорщицей. Предыдущий ее успех в деле отравления Клавдия объясняется прежде всего тем, что старый принцепс был безнадежно далек от тайных да и явных коллизий придворной жизни и изрядно прискучил собственному окружению, легко согласившемуся предпочесть ему молодого пасынка. Трагедия Британника потрясла Агриппину, но реально ничему не научила. Нерон был вправе оценивать ее подчеркнутую обходительность с военными, поиски расположения у старой римской знати, традиционного источника оппозиции императорской власти, как действия, направленные против себя, против единственного законного принцепса. А это и прямая угроза благополучию Рима и его граждан, что так хорошо пояснил самому цезарю и римскому народу старый мудрый Сенека. Ответные действия Нерона выглядят решительными, своевременными и, главное, совершенно оправданными. Он распорядился лишить августу-мать охраны, положенной ей как супруге прежнего и матери нынешнего правителя, удалены были также недавно дополнительно к ней приставленные телохранители-германцы. Агриппину принуждают покинуть Палатинский дворец и поселиться в доме, где ранее жила Антония, бабка Агриппины. В доме этом Нерон, правда, навещал мать, но не иначе как в окружении целой толпы центурионов, чем прямо подчеркивал недоверие к ней. Сами встречи носили сугубо ритуальный характер: Нерон целовал мать и немедленно удалялся.

Дабы лишить Агриппину возможности заниматься, интригами, встречаясь с теми, кто мог бы ей в этом деле пригодиться, Нерон нанял специальных людей, ежедневно досаждавших опальной августе всякого рода тяжбами, когда она находилась в Риме. Стоило ей удалиться из столицы, они следовали за ней, осыпая императрицу и на отдыхе злыми насмешками и бранью. Гнусные наймиты ухитрялись измываться над злосчастной Агриппиной даже во время морских прогулок. По словам Светония, они не давали ей покоя, *«преследуя ее на суше и на море»*.[53]

Явная немилость и бессилие Агриппины против взбунтовавшегося против нее Нерона резко оттолкнули от августы-матери всех былых приверженцев. *«Среды дел человеческих нет ничего более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества»*[54] — это наблюдение Публия Корнелия Тацита верно во все времена и для всех народов.

Никто более не навещает Агриппину. Куда-то исчезли недавно столь преданные ей центурионы и трибуны преторианских когорт, сенаторы, потомки покрытых славой знатных римских родов вдруг забыли дорогу к ее дому, никто не рисковал выказывать ей какую-либо поддержку, утешать в несчастье. Лишь несколько женщин оставались верными старой дружбе, да и то среди них оказались не только те, кто любил опальную императрицу, но и те, кто пылал к ней ненавистью. Эти люди рассчитывали, разузнав что-либо порочащее Агриппину в глазах Нерона, немедленно донести эти сведения до него и тем самым заслужить награду.

Подлый донос не заставил себя ждать. Среди тех, кто остался в окружении императрицы, была некая Юния Силана. Женщина знатного рода Юниев, который подарил Риму и основателя республики Луция Юния Брута, и последнего ее защитника Марка Юния Брута, к нему погибающий Гай Юлий Цезарь обратился с последними словами: «И ты, дитя мое?»

Если один из великих Юниев избавлял Рим от тирании царя Тарквиния Гордого, а другой участвовал в убийстве того, кто уничтожил республиканский строй в Риме, то Юния Силана жаждала погубить уже и без того лишенную какой-либо власти императрицу, движимая исключительно личной злобой никак не политического происхождения.

Силана была красива и полагала, что красота эта должна доставлять наслаждение и ее обладательнице, и тем, кого она пожелает своей прелестью осчастливить. Она была знаменита своими многочисленными любовными связями и долгое время была подругой Агриппины, отнюдь не осуждавшей подобный образ жизни, но и отдававшей ему дань. Дружба эта переросла во вражду, как это часто бывает в подобных случаях, из-за мужчины. Юния возжелала выйти замуж за знатного молодого человека Секстия Африкана, но ее планы были расстроены Агриппиной. Добрая подруга неустанно внушала Секстию, что недостойно столь прекрасному молодому мужчине связывать свою жизнь со стареющей развратницей. Что удивительно в этой вообще-то заурядной, казалось бы, истории, так это то, что Агриппина расстраивала брак Юнии Силаны и Секстия Африкана вовсе не для того, чтобы самой воспользоваться молодым любовником подруги. По словам Тацита, Агриппина не желала, чтобы Секстий, став мужем уже немолодой и явно неспособной к деторождению женщины, а затем овдовев, что нетрудно было предположить, унаследовал после безвременно утраченной Юнии Силаны ее огромное богатство.

Надо сказать, очень странный ход мыслей. Непонятно, каким

образом сама Агриппина рассчитывала на наследство Силаны? Думается, все-таки мужские достоинства молодого Секстия играли здесь решающую роль. А если, оставив Силану, он не стал любовником Агриппины, то какой ему был смысл менять одну стареющую развратницу на другую? Сама Агриппина ведь так хорошо объяснила ему порочность подобного образа жизни…

Какие бы тайные причины ни побуждали Агриппину разрушить связь Секстия и Силаны, но результат был однозначный: отвергнутая молодым любовником увядающая красавица воспылала жгучей ненавистью к злодейке-разлучнице. Вражда их поначалу носила глухой характер, что и позволило Силане сохранить свое положение в окружении Агриппины. И вот теперь, наблюдая за резким обострением отношений матери и сына, она решила подлить масла в огонь и добиться погибели августейшей подруги. Юния призвала к себе двух своих клиентов — Итурия и Кальвизия — и повелела им обвинить Агриппину в намерении совершить государственный переворот, свергнув Нерона и передав высшую власть в империи праправнуку Августа по материнской линии Рубеллию Плавту. Сама Агриппина при этом якобы намеревалась стать супругой нового принцепса и возвратить себе былое положение в государстве, по меньшей мере такое же, каковое она занимала, будучи супругой Клавдия.

Нерона должно было крайне озаботить то обстоятельство, что Рубеллий Плавт был в такой же степени родства с Августом, что и он сам. Значит, его права на звание принцепса могли быть признаны вполне законными…

Действовать Юния Силана решила через людей другой ненавистницы Агриппины, тетки Нерона по отцовской линии, Домиции Лепиды. Итурий и Кальвизий подробно изложили сочиненный своей патронессой рассказ об ужасном заговоре Агриппины вольноотпущеннику Домиции Атимету, а тот в свою очередь поведал все другому либертину той же Домиции — Париду. Парид, будучи актером, пользовался большим доверием Нерона, входил в число его любимцев, постоянно участвуя в увеселениях и развлечениях цезаря. Доносители, как это всегда и бывает в подобных случаях, расписали ужасы предстоящего вот-вот переворота, сгущая краски как только возможно. Время для доноса цезарю было выбрано также удачно: нрав Нерона Парид знал прекрасно.

Доноситель явился к Нерону поздней ночью в разгар увеселительной пирушки. Расчет очевиден: крепко подпивший, как всегда, Нерон, жаждущий привычного развлечения и внезапно получивший известие о заговоре, недвусмысленно грозящем ему погибелью, придет в крайнюю ярость и ни за что не пощадит свою

неугомонную в противодействии его царствованию мать. Профессиональный актер Парид прекрасно сыграл свою подлую роль: войдя в триклиний, где шла пирушка, он принял крайне хмурый и озабоченный вид, чем уже изумил Нерона. Тот ведь ждал от своего любимца очередного веселого представления. А тут еще и весть о заговоре… Нерон рассвирепел. В ярости он готов предать смерти и мать, и злосчастного Рубеллия Плавта, даже не удосужившись проверить подлинность доноса. Подозрения Нерона впервые обрушиваются на Афрания Бурра. Памятуя, что тот выдвинулся благодаря расположению Агриппины, Нерон и его уже полагает возможным изменником и заговорщиком. Ссылаясь на рассказ Фабия Рустика, Тацит сообщает, что был даже подготовлен приказ о назначении командующим преторианскими когортами Цецина Туска взамен отстраняемого Бурра. Только своевременное вмешательство Сенеки, чей авторитет для Нерона был в то время непререкаемым, спасло действующего префекта претория. Приказ после беседы Нерона с наставником в силу не вступил. Бурр предстал перед принцепсом, держась с достоинством и будучи уверенным в правоте своей позиции. Готового к убийству матери Нерона он сумел успокоить, дав ему твердое обещание: Агриппина будет предана смерти, только если ее вина действительно будет доказана. Префект претория напомнил также принцепсу об одном из краеугольных камней римского правосудия: «Audeatur et altera pars!» — «Да будет выслушана и другая сторона!» Каждый римлянин имеет на это право, и уж тем более мать цезаря вправе опровергнуть выдвинутые против нее обвинения и доказать свою невиновность. Бурр обратил внимание Нерона и на то, что всякие его действия, предпринятые после бессонной ночи за пиршественным столом с обильным употреблением вина, окажутся опрометчивыми и неразумными. Главное же, сомнительность подлинности изложенного Паридом: донос исходит от одного человека, представляющего дом Домиции Лепиды, Агриппине, что всем известно, весьма недружественной.

Наступившее утро стало торжеством Агриппины и посрамлением доносителей. Прибыв к Агриппине в сопровождении Сенеки и взяв в качестве свидетелей нескольких либертинов, Бурр суровым тоном сообщил августе, в каких преступлениях она обвиняется. Изложение обвинений было, очевидно, очень подробным. Более того, префекту претория удалось выявить всю цепочку доносителей вплоть до первоисточника — Юнии Силаны. Эти сведения Бурр также не утаил от обвиняемой, а дабы его не обвинили в потворстве

мнимой заговорщице, он закончил свое обращение к ней угрозами, напомнив, что влечет за собою отсутствие оправданий.

Отдадим должное Агриппине. Она быстро оценила ситуацию, и ее ответ, подробно изложенный Тацитом, отличается достоинством и силой, даже надменностью, исполнен справедливого презрения к лживым доносителям и их покровительницам Силане и Домиции:

> «Я нисколько не удивляюсь, что никогда не рожавшей Силане неведомы материнские чувства: ведь матери не меняют детей, как погрязшая в распутстве любовников. И если Итурий и Кальвизий, промотав свое достояние, продают этой старухе последнее, чем еще могут распорядиться, — свое пособничество в предъявлении клеветнических обвинений, то этого недостаточно, чтобы опозорить меня, приписав мне намерение умертвить сына, или чтобы обременить совесть цезаря умерщвлением матери. Я воздала бы Домиции за враждебность, если б она соперничала со мной в доброжелательстве к моему Нерону. Но она занималась устройством рыбных садков в своих Байях, пока моими стараниями подготовлялись Нерону усыновление, дарование проконсульских прав, консульство и все то, что ведет к высшей власти, а теперь вкупе со своим любовником Атиметом и лицедеем Паридом сочиняет небылицы по образцу представляемых на подмостках трагедий. Или, быть может, существует такой человек, который мог бы уличить меня в попытке возмутить размещенные в Риме когорты, в подстрекательстве провинций к нарушению верности, наконец, в подкупе рабов и вольноотпущенников с целью побудить их к преступным деяниям? И разве я могла бы остаться в живых, если б Британник овладел верховной властью? А если бы Плавт или кто другой оказался во главе государства и вздумал свершить свой суд надо мною — разве не найдутся обвинители, которые вменят мне в вину не вырвавшиеся неосмотрительные слова, порождаемые горячностью материнской любви, а также преступления, оправдать в которых меня мог бы лишь сын?»[55]

Речь Агриппины выглядела блистательным опровержением бездоказательного и голословного доноса ее врагов. Будучи точно переданной Нерону, в чем нельзя сомневаться, она должна была произвести на него впечатление. Не было, значит, никакой угрозы

его власти со стороны матери, не было с ее стороны никаких действий, а только вырвавшиеся в запале горячей любви к сыну необдуманные слова, не могущие быть подсудными. И важнейшие аргументы в доказательство невиновности августы-вдовы, августы-матери: чем ей выгоден мог быть приход к власти Британника, если она отравительница его отца и сыграла немалую роль в гибели его матери? Да и от Плавта она вполне могла ждать беды. Он, дабы избавиться от даровавшей ему власть, вполне мог расправиться с ней, использовав как предлог те преступления, которые она совершила, пролагая Нерону дорогу к власти.

Видя, что слушатели потрясены услышанным и не сомневаются в ее невиновности, Агриппина немедленно потребовала свидания с сыном. Представ перед Нероном, она также избрала самый верный путь доказательства своей правоты: никаких оправданий, никаких упреков, только требование наказания обвинителей как безусловных клеветников. Заодно августа-мать, пользуясь растерянностью Нерона, добилась и назначения своих верных людей на важные посты. Один из них, Фений Руф, стал префектом, отвечающим за снабжение столицы продовольствием, другой — Арундий Стела — теперь отвечал за зрелища, которые принцепс давал народу. «Panem et circenses!» — «Хлеба и зрелищ!» — вот главное, чего жаждали римляне от своего повелителя. Этим и определялась популярность в народе любого из цезарей. Добиваясь передачи обеспечения «хлеба и зрелищ» для римского народа в руки своих людей, Агриппина, конечно же, имела планы на будущее. Еще двое ее людей получили в управление крупнейшие и важнейшие провинции на Востоке. Тиберий Бабилл получил Египет, а Публий Антей — Сирию. Последний, правда, так и не добрался до места своего назначения. Нерон и его окружение не могли не вспомнить, что именно в провинции Сирия сосредоточены крупные военные силы. Потому-то Публий Антей и был задержан в Риме.

Понесли наказание клеветники во главе с Юнией Силаной. Сама бывшая подруга Агриппины была отправлена в ссылку. В ссылку отправились ее верные клиенты и клевреты Кальвизий с Итурием. А вот либертин тетушки Нерона Домиции, столь поусердствовавший в распространении лживого доноса, был казнен. Парида спасла близость к Нерону, высоко ценившего его артистическое дарование. О злосчастном Рубеллии Плавте, коему клеветники приписали чудовищные замыслы, Нерон до поры до времени забыл…

Вскоре произошло еще одно любопытное событие: последовал еще один донос, обвинявший на сей раз Палланта, ближайшего

соратника и многолетнего любовника Агриппины, а также Бурра, очистившего ее от клеветы Юнии Силаны, в новом заговоре. Заговорщики якобы хотели передать верховную власть от Нерона Корнелию Сулле. Знатнейший аристократ, потомок грозного диктатора Луция Корнелия Суллы, первым поразивший мечом устои Римской республики, он приходился еще и зятем Клавдию.

Обвинитель, некий Пет, в своей достаточно неискусной клевете был легко изобличен и отделался подобно Силане ссылкой. Паллант держался, отвергая все обвинения, крайне заносчиво, а Бурр, хотя и числился в обвиняемых, почему-то наряду с судьями подавал мнение по делу о заговоре.

Изначальная неубедительность обвинения и легкость его опровержения, заносчивость Палланта, свидетельствовавшая о полной его уверенности в благополучном исходе дела, участие Бурра в судебном разбирательстве, касаемого самого себя, — все это наводит на мысль о достаточно очевидной легковесности, инсценировке очередного заговора и его «разоблачения». Смысл совершенно очевиден: после таких скандальных разоблачений мнимых заговоров цезарь должен успокоиться и не верить более никаким сообщениям о злодейских умыслах против своей власти.

Так и было, но только Нерон ни о чем не забыл. И Рубеллию Плавту, и Корнелию Сулле, ни сном ни духом о заговорах в свою пользу не подозревавших, пришлось со временем жестоко расплатиться за чужие интриги.

На два года в верхах империи наступило спокойствие. Агриппина если и не восстановила свое прежнее положение при дворе, то добилась снятия явной опалы. В то же время некоторое укрепление ее позиций, продвижение ее людей на весьма значимые посты не могли не будить постоянных подозрений в ее стремлении все же подчинить Нерона своему влиянию, так или иначе играть решающую роль в делах верховной власти.

Активность Агриппины возросла с 58 года, когда закончился роман Нерона и Акте, расставшихся по-доброму и сохранивших дружеские отношения. Новой любовью принцепса стала двадцатисемилетняя женщина знатного происхождения и ослепительной красоты, Поппея Сабина, дочь Тита Оллия и Поппеи Сабины Старшей. Отец ее был дружен с Сеяном и, казалось, мог рассчитывать на успешную карьеру при дворе Тиберия, но гибель временщика стала бедственной и для его окружения. Дед Сабины по матери, чье имя она и заимствовала, Гай Поппей Сабин достиг консульских отличий и даже был удостоен триумфа. Поппея Сабина очень гордилась славным предком и многократно вспоминала о его заслугах перед Римом. Ко времени начала ее связи с Нероном Поппея уже второй раз

была замужем. Первым ее мужем был всадник Руфрий Криспин, от которого она родила сына. Вскоре ее пленил Сальвий Отон, один из ближайших друзей Нерона. Поппея, оставив Криспина, вышла за Отона замуж и уже в качестве его супруги стала известна Нерону. Знакомство это по времени совпало с тихим угасанием недавно еще пылкой любви цезаря и гетеры-вольноотпущенницы. Новое чувство, однако, не принесло неприятностей Акте. Неприятности ждали Отона.

О взаимоотношениях в треугольнике Отон — Поппея— Нерон источники сообщают разноречивые сведения. Согласно Тациту, то ли Отон по неосторожности слишком уж восхвалил Нерону красоту и достоинства своей супруги, то ли сознательно обращал на нее внимание цезаря, дабы, сделав ее и царственной возлюбленной, самому упрочить свое влияние на Палатине.[56] Светоний же сообщает, что Нерон сам увел Поппею у мужа, а доверил ее Отону под видом законного брака, *«дабы скрыть свою собственную роль в любовной интриге»*.[57] В любом случае, Отон был действительно влюблен в Поппею и совершенно не желал делить ее с Нероном. Светоний даже приводит случай, когда Нерон пригласил Поппею во дворец, а Отон сначала выгнал вон посланцев цезаря, а затем и его самого не пустил в дом. Нерону пришлось унизительно стоять перед дверьми и мольбой и угрозами требовать у коварного друга вверенного ему сокровища.[58]

Как было на самом деле — узнать невозможно. Очевидно лишь то, что соперничество в любви между Нероном и Сальвием Отоном имело место. Из сложившейся комичной для двора и всего Рима ситуации Нерон нашел выход: он отправил непокладистого мужа своей возлюбленной с берегов Тибра на далекий берег Атлантики, в Лузитанию. Ссылка носила вполне почетный характер: Отон стал наместником этой дальней провинции, находившейся на территории современной Португалии, а брак его с Поппеей перед этим был расторгнут. Остроумные римляне немедленно обессмертили эту отнюдь не лишенную комизма историю в сатирическом стишке:

> Хочешь узнать, почему Отон в почетном изгнании?
> Сам со своею женой он захотел переспать!

Почетная ссылка Отона оказалась делом с государственной точки зрения даже полезной. Управляя Лузитанией десять лет (с 58 по 68 г.), Сальвий Отон проявил себя наилучшим образом, и его наместничество современники оценили как отличившееся редким благоразумием и умеренностью. Кроме того, пребывание

вне Рима спасло бывшего супруга Поппеи от более серьезных неприятностей, нежели вынужденный развод и наместничество в иберийской глуши. Он избежал судьбы Бурра, Сенеки, Петрония и иных людей, близких к Нерону и погибших в итоге.

Последней услугой, оказанной им Нерону в Риме, был роскошный пир, устроенный для него и Агриппины в день, когда тот уже назначил убийство матери. Пир был невероятный по изысканности и должен был развеять все подозрения в отношении причастности Нерона к убийству той, которая подарила ему и жизнь, и царствование. Светоний называет Отона соучастником всех тайных помыслов Нерона, но, похоже, зная о таковых, он принимал в них лишь пассивное участие, не влияя на ход событий. В расправе над Агриппиной Нерону помогали совсем другие люди.

Судя по всему, простив мать и даже в известной степени восстановив ее положение при дворе, Нерон вовсе не оставил мысли, которая пришла к нему в тот миг, когда актер Парид сообщил ему пусть и ложные сведения о заговоре матери против сына. Агриппина сама научила Нерона очень остро воспринимать все, что было или хотя бы производило впечатление какой-либо опасности для его власти. А то, что лишившись власти, он потеряет и жизнь, было слишком очевидно. То, что друзья Агриппины теперь поставщики «хлеба и зрелищ» для римлян, то, что ее человек наместник богатейшей провинции — Египта, а другой, не оставь Нерон его в Риме, уже командовал бы Сирией и грозными легионами, на парфянской границе стоящими, было достаточным основанием для сохранения всяческих подозрений в отношении действительных устремлений августы.

Поначалу Нерон, не желавший прямого матереубийства, дабы не выглядеть в глазах римлян ужаснейшим из преступников, попытался расправиться с неукротимой матерью с помощью яда. Но три попытки отравления провалились. Нерон не учел, что Локуста изначально служила Агриппине и вполне могла вести двойную игру, поставляя сыну яд, а матери противоядие. В противоядиях античный мир того времени достиг немалых успехов. За век с лишним до описываемых нами событий, в 63 году до новой эры пытался покончить с собой недавно еще грозный враг Рима царь Понта Митридат VI Евпатор. Желая избежать позорной выдачи римлянам, каковую ему готовил сын-предатель Фарнак, несчастный решил прибегнуть к яду. Как писал об этом Дион Кассий, *«он прежде всего отравил своих жен и детей — тех, кто еще был при нем, — а остаток яда выпил сам, но… ему не удалось самому уйти из жизни, ибо царь укрепил свой организм, принимая из предосторожности ежедневно большие дозы*

противоядия».[59]

Агриппина, зная, что Локуста после отравления Британника остается в распоряжении Нерона, предоставившего ей даже возможность иметь учеников школы отравителей, созданной главою государства в государственных, как он их понимал, интересах, — не могла не принять мер предосторожности. Опыт Митридата VI был прекрасно известен римлянам, и помочь матери цезаря обрести неуязвимость от ядов могла тайно и сама Локуста и кто-либо из ее учеников с ведома наставницы или без оного. В результате все попытки отравления Агриппины не удались, и Нерону стало очевидно: тайно умертвить мать невозможно, придется действовать иными способами. Это было много сложнее и опаснее, поскольку становилось крайне затруднительным избежать прямых обвинений в матереубийстве. Решиться на прямое убийство Нерону было нелегко. Он никак не желал выглядеть матереубийцей. Не чувства к матери, но страх всеобщего осуждения останавливали его до поры до времени.

Вопрос о том, что непосредственно толкнуло Нерона на совершение давно задуманного убийства, кто вдохновил его на принятие рокового решения, остается спорным и нерешенным вот уже почти два тысячелетия. Тацит и Дион Кассий с оговорками, но достаточно ясно дают понять, что толчок решимости Нерона дала сама Агриппина, попытавшаяся подчинить себе сына, пойдя на инцест. В «Анналах» Тацита говорится с ссылкой на некоего Клувия, других неназванных авторов и на народную молву, что, *«подстрекаемая неистовой жаждой во что бы то ни стало удержать за собой могущество, Агриппина дошла до того, что в разгар дня и чаще всего в те часы, когда Нерон бывал разгорячен вином и обильною трапезой, представала перед ним разряженною и готовою к кровосмесительной связи…»*.[60]

Тациту вторит Дион Кассий: *«Агриппина боялась, как бы Нерон не женился на Сабине (ибо император в нее безумно влюбился), и решилась на позорное дело: словно мало ей было толков о том, как она соблазнила своего дядю Клавдия волшебством, распутными взглядами и развратными ласками, Агриппина пустила в ход те же средства, чтобы закабалить Нерона»*.[61] Тут же, правда, историк оговаривает, что не может с уверенностью сказать о подлинности этого. Возможно, пишет он, что такие слухи породил факт наличия у Нерона наложницы, похожей на Агриппину, и скабрезные шутки самого цезаря, со смехом говорившего, что он спит с собственной матерью, показывая походившую на нее любовницу своим друзьям.[62]

Один из источников Тацита, Фабий Рустик, писал, что кровосмесительной связи домогался сам Нерон.[63] Светоний

также пишет, что Нерон искал любовной связи даже с матерью и его от кровосмешения удержали только враги Агриппины, опасаясь, что тогда Агриппина, властная и безудержная, уж точно овладеет высшей властью, подчинив себе Нерона. Сообщает также Светоний и о блуднице, похожей на Агриппину, связь с которой дала окружающим повод предполагать кощунственную связь Нерона с матерью.[64]

В чем античные авторы единодушны, так это в том, что Агриппина, знаменитая своим распутством и готовностью во имя власти идти на любые преступления, тем самым и дала повод обвинять себя в стремлении к преступной связи с сыном. Собственно, нравственный облик Нерона, его дикие шуточки также способствовали рождению самых чудовищных слухов. К слову, инцест на Палатине даже в самых извращенных формах в те годы, увы, не выглядел чем-то совсем уж необычным. Калигула жил со своими сестрами, не исключая и Агриппину. Сама Агриппина соблазнила Клавдия, родного дядюшку, а Нерону навязала брак с Октавией, дочерью Клавдия, следовательно, родственницей, пусть и не самой близкой. Не случайно тема инцеста будет волновать Нерона всю его жизнь. Среди его любимых театральных постановок — «Роды Канаки». В этой трагедии Канака рожает ребенка от связи с родным братом и новорожденного как порождение преступного кровосмешения бросают на съедение собакам. Тема царя Эдипа, по стечению обстоятельств ставшего мужем родной матери Иокасты, чрезвычайно интересовала Нерона. По сообщению Светония, последняя трагедия, в которой Нерон пел перед зрителями, называлась «Эдип-изгнанник».[65]

Стоит помнить, что в Риме не только народное мнение осуждало инцест, был и соответствующий закон. Калигулу и Агриппину, однако, он не остановил…

Слухи о кровосмесительной связи Нерона и Агриппины не могли не быть опасными для принцепса. Мудрый Сенека не преминул известить цезаря о том, что Агриппина похваляется кровосмешением и что войска не потерпят над собой власть запятнанного нечестием принцепса. Такой оборот дела не мог не испугать Нерона и подвигнуть его на последний решительный шаг.

Чем в действительности руководствовался знаменитый философ-стоик Луций Анней Сенека, подвигая своего воспитанника на убийство матери? Рассказ о слухах про кровосмешение, понятное дело, не более чем удачный повод, хороший толчок к роковому выбору.

Роль Сенеки в гибели Агриппины, безусловно, велика. Она

вытекает и из сообщений Тацита, о ней прямо пишет Дион Кассий, ссылавшийся на мнение многих достойных доверия свидетелей. Думается, Сенека здесь руководствовался высшими интересами государства, как он их понимал.

Ужасы гражданских войн последних десятилетий республики, начиная с противостояния Суллы и Мария и заканчивая войной между Окпавианом и Марком Антонием, оставили у римлян тяжелейшие воспоминания. Недопущение повторения трагического братоубийственного кровопролития — важнейшая задача тех, кто стоит во главе государства. Последний великий защитник республиканского строя в Риме Марк Туллий Цицерон полагал, что спасение государства в согласии сословий: «Concordia ordinum» и «Consensus bonorum» — «согласие сословий» и «единение всех благонамеренных» — вот что не допустит войны между согражданами. Согласия, однако, современникам великого оратора, мыслителя и политика достичь не удалось, и сам он пал жертвой гражданской войны. Сенека жил в иную эпоху. Согласие сословий здесь заключалось во всеобщем признании нового порядка — праве принцепса на верховную власть в государстве. Единение же благонамеренных возможно было исключительно вокруг фигуры того же принцепса, дабы своевременно воздействовать добрыми советами, побуждая к проявлениям милосердия и щедрости в отношении уже не граждан, но подданных империи. Clementia et Beneficium — милосердие и благодеяние, вот те качества, которые благонамеренные римляне должны укреплять и поощрять в том, кому они вверили высшую власть. И здесь способ недопущения гражданской войны иной, нежели в республиканское время. Здесь главное «Fides» — «верность». Всеобщая верность принцепсу — вот гарантия недопущения братоубийственной смуты.

Агриппина сыну-цезарю как подданная неверна. Более того, она никак не желает угомониться уже пять лет подряд. В свое время Сенека удержал Нерона от рокового шага, поскольку тот повелел убить Агриппину в яростной вспышке нетрезвого человека, обманутого ложным доносом. Прямого заговора нет и сейчас, но разве ее беспрестанные притязания на власть, попытки вновь подчинить Нерона, продвижение своих людей на высокие должности не есть сама по себе заговорщицкая и враждебная государству и принцепсу деятельность. Не забудем, для римлянина пролитие любой крови, если это в интересах государства, не преступление, но подвиг. Потому Сенека на сей раз не противится Нерону, даже поощряет его, а затем сделает все, чтобы оправдать его в глазах современников и потомков.

Помимо Сенеки римские историки винили в гибели

Агриппины и Поппею Сабину, полагая ее воздействие на Нерона едва ли не решающим во всей трагической истории матереубийства. Тацит прямо пишет, что Поппея *«не надеялась при жизни Агриппины добиться его развода с Октавией и бракосочетания с ней самой, постоянно преследовала его упреками, а порой и насмешками, называя бездомной сироткой, покорной чужим велениям и лишенной не только власти, но и свободы действий. Почему откладывалась их свадьба? Не нравится ее внешность и ее прославленные триумфами деды? Или, быть может, доказанная ею на деле способность рожать детей и ее прямота? Или опасаются, что, став женой цезаря, она сообщит ему об обидах императора и недовольстве народа надменностью и алчностью его матери? Раз Агриппина не может выносить другую невестку, кроме питающей вражду к ее сыну, пусть позволит ей, Поппее, вернуться к ее мужу, Отону. Она готова удалиться куда угодно, ибо предпочитает слышать со стороны о наносимых императору оскорблениях, чем быть свидетельницей его позора и разделять с ним опасность. Таким и подобным речам и притворствам любовницы никто не препятствовал, ибо всем хотелось, чтобы могущество Агриппины было подорвано, но никто не предвидел вместе с тем, что ненависть доведет сына до умерщвления матери»*.[66]

А вот слова Диона Кассия:

> «Сабина, узнав о намерениях Агриппины, убедила Нерона расправиться с матерью: предлогом должно было служить то, что Агриппина замешана в заговоре».[67]

Светоний же ничего не пишет о внешних влияниях на Нерона в страшном деле матереубийства, возлагая всю вину на его самого:

> «Наконец, в страхе перед ее угрозами и неукротимостью он решился ее погубить».[68]

Все эти сообщения римских авторов не могут не вызвать тех или иных сомнений. Если бы Нерон действительно поддался настояниям Поппеи, то их свадьба не замедлила бы себя ждать. Но поженятся Нерон и Сабина лишь спустя три года… А в то время Поппея все еще была женою Отона. Важно то, что в роковые дни присутствия Поппеи рядом с Нероном какое-либо ее воздействие на принцепса в ходе подготовки покушения и осуществления самого убийства не засвидетельствовано. Кроме того, из всех резких высказываний Поппеи об Агриппине, приводимых Тацитом, вовсе не обязательно следует непременная

мысль о необходимости физического устранения августы-матери. Поппея только призывает Нерона проявить решимость в деле заключения брака с ней, что совсем не означает требования убийства препятствующей таковому Агриппины. Скорее всего она должна была требовать устранения Октавии, ибо, не избавившись от одной жены, Нерон не мог вступить в брак с другой. Возможно, Поппея действительно не жаловала Агриппину, могла резко отзываться о ней при Нероне, но ненависть Нерона к матери возникла ранее и совершенно не связана с взаимоотношениями с красавицей Сабиной. Думается, Светоний, связывающий решимость Нерона покончить с Агриппиной прежде всего из-за ее неукротимого духа, более других римских историков близок к истине. А если и воздействовали на него какие-либо суждения со стороны, то речь должна идти никак не о Поппее Сабине. Позорную пальму первенства здесь должно вручить Сенеке.

Поражай чрево!

Любовь Нерона к театру неожиданно помогла ему избрать весьма необычную форму покушения. Однажды в театре ему довелось увидеть корабль, который сам распадался на части, освобождая посаженных в трюм зверей, а затем мог быть собран вновь и казался по-прежнему крепким.[69] Сопутствовавший Нерону на этом спектакле либертин Аникет, некогда воспитатель юного цезаря, а ныне префект Мизенского флота, немедленно решил взять на вооружение эту оригинальную механику. Он уже был посвящен в план Нерона о немедленном устранении Агриппины. С ним и некоторыми другими ближайшими к нему людьми Нерон советовался и ранее о способе убийства, но никакого конкретного решения пока не было принято, поскольку не был изыскан такой способ, который бы позволил и от Агриппины избавиться, и на самого Нерона не бросить тени матереубийства. Отравление выглядело невозможным из-за предупредительных мер августы-матери, а простое убийство всенепременно пало бы на Нерона. Неудачной оказалась и попытка избавиться от Агриппины путем подстроенного «несчастного случая» во дворце. По приказу Нерона над постелью императрицы должен был быть устроен специальный потолок. Машина должна была освободить потолок из пазов, чтобы он обрушился на спящую. Однако удержать этот замысел в тайне Нерону и его сообщникам не удалось, и от него пришлось отказаться. Идея обрушающегося вдруг потолка, однако, не была забыта. Зрелище распадающегося корабля подсказало новую

возможность использования прежнего замысла.

Вдохновленный, как никогда, своевременным театральным действом, Аникет уверенно заявил Нерону, что он может сделать на настоящем корабле подобное устройство, дабы, выйдя в море, он распался на части и Агриппина утонула. Главным же здесь представлялось то, что в случае гибели матери принцепса в кораблекрушении, каковое само по себе не было ничем слишком удивительным, никому бы в голову не пришло винить в случившейся трагедии Нерона. Вините ветер, морские волны, но не смейте порочить скорбящего сына, повелевшего воздвигнуть в память о безвременно ушедшей матери храм и жертвенники!

Решение о строительстве корабля-убийцы было принято немедленно. Нерон тем временем, дабы Агриппина ничего не заподозрила, повелел окружить ее всемерной заботой и вниманием. Убийство решено было осуществить подальше от Рима, в Кампании — области к югу от столицы, на морском побережье, где Нерон в Байах собирался отметить праздник Квинкватрий, отмечавшийся с 19 по 23 марта. Несколько лет назад он в праздник Сатурналий принял решение об убийстве Британника. Теперь Квинкватрии, праздник в честь богини Минервы, должен был быть ознаменован еще более чудовищным преступлением — матереубийством. Праздник этот Нерон имел все основания считать своим, ибо его любимые занятия — поэзия, игра на кифаре — пользовались покровительством богини Минервы.

Римская богиня Минерва, дочь Юпитера, традиционно отождествляемая с греческой Афиной, заметно отличалась от славной дочери Зевса. Если Афина Паллада была богиней мудрости и знания, защитницей городов, непобедимой воительницей, богиней мудро ведомой войны (Арес был богом войны, ведомой безумно), то римская Минерва, подобно Афине, покровительствовавшая городам, освящала исключительно мирные занятия их жителей. Потому-то Нерон, бывший поэтом и музыкантом-кифаредом, полагал себя под покровительством Минервы в эти дни.

Квинкватрии праздновались во второй половине марта и продолжались пять дней. Начинались они с жертвоприношений богине — лепешек, меда и масла. Если в это время были военные действия, то в дни начала Квинкватрий они прерывались. Но не все празднество было столь мирным и бескровным. Его продолжали гладиаторские игры. Заканчивались Квинкватрии специальным жертвоприношением Минерве.

Конечно, едва ли Нерон специально совместил праздник Минервы и план убийства Агриппины. Праздник прежде всего

оказался для него удобным временем для осуществления давно задуманного намерения. Но получилось воистину жуткое сочетание: император-поэт посвятил праздник богини, покровительницы поэтов, самому чудовищному преступлению, какое только может совершить человек, — матереубийству.

Известия о том, как встретились в последний раз мать и сын, у римских историков расходятся. Тацит сообщает, что прибыла Агриппина в Байи на конных носилках, кем-то предупрежденная об опасности морского путешествия на корабле, предоставленном ей Нероном.[70] Согласно Светонию, она прибыла на пир к сыну на своей галере, но во время пира люди Нерона специально повредили корабль Агриппины как бы при случайном столкновении, что и дало возможность предоставить ей на обратный путь другой, тот самый, искусно построенный корабль.[71] А Дион Кассий пишет, что Нерон вместе с матерью приплыл на побережье Кампании на том самом специально выстроенном корабле, роскошное убранство которого (и безопасная первая поездка) должны были внушить Агриппине желание всегда пользоваться этим судном.[72]

Собственно, не столь уж важно, каким образом Агриппина прибыла в гости к сыну. Важно то, что ему удалось заманить ее в ловушку.

Если в описании приезда Агриппины в Байи, где на вилле в Баули и должен был состояться намеченный пир, римские авторы и разнятся, то в описании самого пира и поведения Нерона, его обращения с матерью во время их последней встречи они разными словами рисуют одну и ту же картину: сын был, как никогда, почтителен и ласков с матерью.

Тацит:

> «..ласковость сына рассеяла ее страхи; он принял ее с особой предупредительностью и поместил за столом выше себя. Непрерывно поддерживал беседу то с юношеской непринужденностью и живостью, то с сосредоточенным видом, как если бы сообщал ей нечто исключительно важное, он затянул пиршество; провожая ее, отбывающую к себе, он долго, не отрываясь, смотрит ей в глаза и горячо прижимает ее к груди, то ли, чтобы сохранить до конца притворство, или, быть может, потому, что прощание с обреченной им на смерть матерью тронуло его душу, сколько бы зверской она ни была»,[73]

Светоний:

«…проводил ее ласково и на прощание даже поцеловал в грудь».[74]

Дион Кассий:

«Прибыв в Баули, они много дней подряд пировали. Нерон обходился с матерью как нельзя более ласково: когда Агриппины не было, он делал вид, что сильно по ней тоскует, когда же она сидела рядом, прижимал ее к себе, спрашивал, чего ей хочется, да и без всяких просьб осыпал ее подарками. И вот, когда все шло таким образом, он однажды в конце ночного пира обнял Агриппину, привлек ее к себе на грудь и, целуя ей глаза и руки, воскликнул: «Будь здорова, мать, ведь ты дала мне и жизнь, и царство!»».[75]

Кто после чтения этих строк усомнится в том, что Нерон был воистину великим актером? Скажем прямо: его актерское мастерство было равновеликим его бесчеловечности.

Корабль, на борту которого находилась Агриппина, сопровождаемая двумя из своих приближенных, Креперием Галлом и Ацероний Поллой, вышел в море. Стояла прекрасная звездная ночь, море было безмятежно. Ни то ни другое не могло радовать организаторов убийства, поскольку в такую погоду найти сколь-нибудь правдоподобные объяснения кораблекрушению было невозможно. Но решение было принято, люди Аникета обязаны были действовать. По данному знаку отягощенная свинцом крыша каюты обрушилась. Креперий Галл, стоявший у кормила, погиб на месте, но Агриппина и Ацерония Полла уцелели. Организаторы покушения плохо изучили место будущего преступления. Стенки ложа, на котором возлежала августа, а в ногах у нее сидела Ацерония, оказались замечательно прочными и уберегли обеих женщин от гибели, выдержав тяжесть свинцовой кровли. Более того, убийц подвела механика — корабль вовсе не собирался разваливаться. Пришлось давать гребцам команду накренить корабль так, чтобы сбросить Агриппину с Ацероний в воду, но их несогласованные действия, когда одни наклоняли галеру в одну сторону, другие — в другую, привели к тому, что женщины невредимыми просто соскользнули в воду. Оказавшись за бортом, жертвы «кораблекрушения» повели себя по-разному: Агриппина молча пыталась выплыть, а Ацерония кричала изо всех сил: «Salvate matrem principis!» — «Спасите мать принцепса!»

Убийцы, решив, что кричащая и есть та самая мать принцепса, забили ее насмерть баграми и веслами. Удар в плечо

получила и молчавшая Агриппина, но он оказался недостаточно сильным и не помешал несчастной отплыть от места катастрофы на безопасное расстояние. Здесь ей посчастливилось встретить рыбацкую лодку, которая и доставила мать принцепса на ее виллу.

Происшедшее не могло оставить у Агриппины никаких иллюзий по поводу намерений Нерона на ее счет. Подстроенное кораблекрушение в совершенно тихую погоду, убийство Ацеронии Поллы, очевидно, принятой за мать принцепса, ее собственная рана на плече — какие уж тут могли оставаться сомнения? Но что делать спасшейся вопреки всем стараниям многочисленных убийц августе? Можно, конечно, было объявить сыну, что его планы потерпели неудачу, но Агриппина, возможно, подумала, что Нерон, крайне раздосадованный неудачей так старательно и, казалось бы, продуманно во всех мелочах подготовленного покушения, видя, что матерью он изобличен как убийца, в отчаянии и ярости немедленно пойдет на крайнюю меру — прямое убийство. Скорее всего, она решила сделать вид, что не поняла истинных причин случившегося, ни в чем сына не винит, а значит, предоставляет ему возможность скрыть от окружающих самый факт покушения, представив все действительно случайным кораблекрушением. Несчастная все еще надеялась, что, предоставив Нерону возможность, что называется, сохранить лицо, она сумеет отвратить его от планов новых покушений. Конечно, она не сомневалась, что Нерону очевидно ее понимание истинной сути происшедшего, но вдруг родной сын все же сумеет оценить великодушие матери, подарившей ему по его же собственным словам не только жизнь, но и власть цезаря? Ultima spes — последняя надежда!

Агриппина немедленно отправляет к Нерону своего вольноотпущенника Луция Агерина с поручением передать Нерону, что, хранимая милостью богов, она спаслась от неминуемой гибели. В то же время, понимая, что встреча с Нероном сейчас была бы крайне неудобной, поскольку ставила бы его в крайне неловкое положение, она велела Агерину передать принцепсу, что в настоящее время мать его нуждается только в отдыхе, а потому она просит его, сколь бы он ни был встревожен опасностью, пережитой матерью, отложить свое посещение.[76] Еще одна демонстрация великодушия!

Но тронуть сердце Нерона невозможно. Узнав о спасении Агриппины, Нерон в ужасе. Ему очевидно, что мать поняла, кто виновник случившегося несчастья, и более всего он опасается ее немедленного мщения. Что, если она вооружит рабов, поднимет против цезаря преторианцев, обратится с воззванием к сенату и

римскому народу против сына-матереубийцы? Ведь столь явно покусившийся на жизнь матери законно может считаться матереубийцей, преступником из преступников. И как удержаться от мести после такого явно подстроенного с целью убийства кораблекрушения, как заживить рану, чудом не оказавшуюся смертельной? Требует отмщения и кровь близких к августе людей — Креперия Галла и Ацеронии Поллы. Так мыслит насмерть перепуганный Нерон, не испытывающий ни малейшего раскаяния, но только вконец расстроенный очередной неудачей очередного покушения на ту, что дала ему жизнь и власть, и теперь трясущийся за собственную жизнь. Потеряв от страха способность принимать какие-либо самостоятельные решения, Нерон призывает к себе ближайших соратников — Бурра и Сенеку. Пусть они что-нибудь придумают, пусть они спасают своего цезаря!

Были ли Бурр и Сенека заранее оповещены о покушении на Агриппину — неизвестно. Но их поведение говорит о том, что новость и о самом покушении, и о его неудаче не стала для них особым сюрпризом. Поначалу они, правда, оба хранят молчание. Возможно, никто первым не решается произнести роковые слова. Ведь ожидаемую месть Агриппины можно остановить только прямым ее убийством, каковое скрыть от римлян будет практически невозможно.

Первым проявляет решимость Сенека. Он прямо спрашивает Бурра: можно ли приказать воинам-преторианцам убить Агриппину? Вопрос о прямом убийстве Агриппины для мудрого философа уже решен. Одна проблема: чьими руками? Бурр немедленно напоминает, что преторианцы связаны присягой всему царствующему роду, а это, надо понимать, не только принцепсу, но его матери в первую очередь. Префект претория полагает, что, памятуя славного Германика, воины преторианских когорт никогда не осмелятся поднять руку на его дочь. Свою краткую речь Бурр заканчивает словами: «Пусть Аникет выполняет обещанное».[77]

Сложно поверить в то, что все воины-преторианцы столь расширенно толковали свою присягу, распространяя ее на весь правящий дом Юлиев-Клавдиев. Трудно поверить в такую привязанность и непоколебимую верность их дочери Германика. Наверняка у префекта претория нашлись бы преданные ему люди, готовые исполнить любой приказ. Но вольно Сенеке говорить о необходимости убийства августы-матери, ведь вину за него с Нероном разделит тот, кто непосредственно направит убийц к Агриппине. Бурр не желал быть прямым участником чудовищнейшего из преступлений. Пусть уж Аникет доводит начатое им дело до конца.

Аникет в отличие от Бурра сомнений не знает. Он, не колеблясь, готов покончить наконец с Агриппиной. Нерон, успокоенный тем, что Сенека предложил такой простой надежный выход из казавшегося ему отчаянного положения, а Аникет полон решимости исполнить роковой замысел, напыщенно заявляет, что в этот день ему даруется самовластие и, дабы уязвить истинного римлянина из достойного рода Афрания Бурра, подчеркивает, что сим обещанным даром он обязан вольноотпущеннику Аникету. Он настолько овладевает собой, что когда ему сообщат о прибытии посланца Агриппины Луция Агерина, Нерон уже не нуждается в советах и подсказках. Он сам знает, как ему лучше действовать. Актерский дух в нем проснулся вновь, и Нерон сам ставит сцену, долженствующую оправдать его и объяснить гибель Агриппины.

Когда Агерин появляется перед ним и передает то самое исполненное великодушнейших предложений Агриппины послание, коим она надеялась успокоить сына, предоставив ему возможность сокрытия факта намеренного кораблекрушения, Нерон даже не пытается вникнуть в суть материнского письма. Улучив момент, он сам подбрасывает Агерину под ноги меч, зовет стражу и приказывает заключить посланца августы в оковы, как покусившегося на жизнь принцепса. И главная улика налицо — вот он, меч, орудие задуманного Агриппиной сыноубийства!

Без подсказки Сенеки Нерон озвучивает версию происшедшего: мать принцепса задумала убить сына, подослала к нему своего вооруженного мечом вольноотпущенника, а когда покушение сорвалось, благодаря, очевидно, бдительности стражи и отваге самого Нерона, не выдержав позора уличения в преступном деянии, покончила жизнь самоубийством.

Надо было обладать воистину Нероновой самонадеянностью, чтобы увериться, будто найдутся люди, способные воспринять всерьез такое объяснение гибели Агриппины!

Тем временем Аникет с товарищами решительно действуют, как и было обещано Нерону. Сам командующий Мизенским флотом в сопровождении триерарха (командира корабля) Геркулея и флотского центуриона Обарита и с целым отрядом военных моряков подходит к вилле Агриппины. К полной его неожиданности, вилла оказывается окруженной многочисленной толпой с факелами. Люди, невзирая на ночное время, пришли выразить радость по поводу спасения матери принцепса. Появление воинского отряда и угрозы собравшимся принудили толпу рассеяться. Аникет немедленно окружает виллу стражей, дабы не допустить в нее извне возможных защитников Агриппины, и, взломав ворота и растолкав встречных рабов,

подходит к покоям императрицы. Несколько человек, находившихся у дверей, при виде вооруженных людей не оказали сопротивления. В слабо освещенной спальне встревоженная отсутствием вестей от сына и невозвращением посланного к нему Агерина Агриппина, близ нее только одна рабыня. Заслышав шаги приближающихся к спальне людей, рабыня направляется к выходу. «И ты меня покидаешь», — горестно говорит ей вслед Агриппина, и тут перед ней предстают Аникет, Геркулей и Обарит, их решительный вид не оставляет сомнений в жестоких намерениях пришедших. До последнего несчастная мать не желает верить в вину сына. Она обращается к Аникету, говорит, что если он пришел проведать ее по приказу Нерона, то пусть передаст принцепсу, что она поправилась, но если он пришел совершить злодеяние, то она не верит, что такова воля ее сына: он не отдавал приказа об умерщвлении матери.

Таково материнское сердце! Оно не может поверить в преступность того, кого мать выносила под своим сердцем, кому даровала жизнь.

Тем временем убийцы уже обступили ее, но никак не решатся нанести удар. Первым подает пример сообщникам Геркулей. Он бьет Агриппину палкой, очевидно, своим командирским жезлом, по голове. Удар, конечно же, не убийственный и даже травмы сколь-либо серьезной не наносящий. Смысл его в другом: не бойтесь поражать императрицу, кого бьют палкой, можно пронзить и мечом.

Подобные ситуации часто возникали во время коллективных казней, когда толпа должна была забить человека камнями. Никто не решался быть первым, но стоило кому-то швырнуть в направлении обреченного хотя бы небольшой камешек, пусть и не попавший в цель, тут же следовал град камней…

Мужество не покинуло Агриппину и в последние минуты ее жизни. Она разорвала на себе одежду, обнажив живот, и воскликнула, обращаясь к убийце: «Бей сюда, поражай это чрево за то, что оно породило Нерона!»

Удар меча центуриона Обарита прекратил жизнь августы-матери, осознавшей наконец, кого она породила.

«Так была убита Агриппина, дочь Германика, внучка Агриппы, правнучка Августы — убита собственным сыном, которому она дала власть и ради которого она многих обрекла на смерть, даже родного дядю», — писал об этой одной из самых трагических страниц римской истории Дион Кассий.[78]

Погребение Агриппины свершилось той же ночью, наспех. Были соблюдены только самые убогие из погребальных обрядов. Не был насыпан даже погребальный холм, место погребения

осталось неогражденным. Люди, любившие Агриппину, а таких оставалось немало, были поражены ее гибелью. Когда был разожжен погребальный костер, один из вольноотпущенников августы, Мнестер, закололся мечом.

Лишь много лет спустя после гибели самого Нерона попечением домочадцев Агриппины ей была сооружена скромная гробница. Она находилась у дороги, ведущей в Мезены, близ виллы, некогда принадлежавшей первому из римских цезарей, тому, кто, собственно, и сделал это имя царственным, — славному Гаю Юлию Цезарю, диктатору Рима, нанесшему смертельную рану республике и проложившему дорогу грядущей империи, павшему от рук убийц, многих из которых он напрасно облагодетельствовал…

Quo non ascendam?

«Quo non ascendam?» — «Чего еще я не достигну?» Вот что вправе был воскликнуть Нерон спустя некоторое время после матереубийства. Ведь в первые часы после гибели Агриппины он, осознав весь ужас совершенного им преступления, впал в прострацию. То он неподвижно сидел, погруженный в молчание, то, обезумев от страха, метался, не сомневаясь, что рассвет принесет ему гибель. Не мог он не понимать, что сочиненная им версия о самоубийстве Агриппины настолько нелепа, что никого не убедит. Матереубийца же, а теперь он таковым являлся, человек всеми презираемый и проклинаемый, достойный самой жестокой казни. Да и помнил он слова Бурра о преданности преторианцев дочери Германика… А вдруг они захотят отомстить за ее погибель сыну-убийце?

Такое поведение Нерона после получения им известия о смерти матери представляется наиболее очевидным. Этому, правда, противоречат сообщения Светония и Диона Кассия. Гай Светоний Транквилл, описав убийство Агриппины, сообщает далее: *«К этому добавляют, ссылаясь на достоверные сведения, еще более ужасные подробности: будто бы он сам прибежал смотреть на тело убитой, ощупывал ее члены, то исхваливая их, то поругивая, захотел от этого пить и тут же пьянствовал»*.[79] Близко к тому описывает происшедшее Дион Кассий: *«Когда Нерону донесли, что она умерла, он не поверил: столь страшным было злодеяние, что императором овладела недоверчивость и он пожелал собственными глазами убедиться в этом. Он осмотрел мать с ног до головы, обследовал ее раны и наконец произнес слова, которые были еще бесстыднее, чем само убийство. Вот что он*

сказал: «Не знал я, что у меня была такая красивая мать».[80]

Светоний и Дион Кассий рисуют нам образ хладнокровного и уверенного в себе убийцы-изувера, поведение которого превосходит все мыслимые и немыслимые пределы цинизма. Бесчеловечность Нерона сомнений, безусловно, не вызывает никаких, но вот что касается циничного хладнокровия при глумлении над телом убитой по его приказанию матери, то это все-таки представляется маловероятным. В роковую ночь Нерон находился в постоянном страхе. Сначала он был перепуган неудачей подстроенного кораблекрушения, боялся мести со стороны Агриппины, ожидая появления ее вооруженных рабов, посланных покарать сына, замыслившего убийство матери. Получив известие о гибели матери, он, скорее всего, должен был, как все слабые и неуверенные натуры, перепугаться возможных последствий своего злодеяния. Надо помнить, что римляне были потрясены случившимся. Матереубийство — дело невиданное. Рассказы о нем, ходившие в народе, неизбежно могли обрастать уже придуманными подробностями. Потому-то Тацит осторожно написал в своих «Анналах»: *«Но рассматривал ли Нерон бездыханную мать и хвалил ли ее телесную красоту, показания относительно этого разноречивы: кто сообщает об этом, кто это опровергает».*[81]

Вернемся же на виллу Нерона в Байях. Встревоженный состоянием Нерона Афраний Бурр, опасаясь, как бы принцепс от страха не обезумел окончательно, быстро нашел самое верное средство его успокоения. К насмерть перепуганному собственным злодеянием и опасающемуся мести преторианцев за любимую ими августу Бурр послал трибунов и центурионов преторианских когорт… Тех самых трибунов и центурионов, которым он побоялся поручить убийство Агриппины. То ли префект претория напрасно приписывал своим подчиненным непоколебимую верность дочери Германика, то ли, узнав о гибели Агриппины, а следовательно, о торжестве Нерона, преторианцы так быстро и цинично перестроились, но встреча их с цезарем пролила бальзам на трясущуюся от страха душу матереубийцы. Доблестные воины ловили руку Нерона, радостно поздравляли его с избавлением от нежданной опасности, с раскрытием преступного умысла матери… Лучшего подарка Бурр Нерону преподнести просто не мог.

Нерон воспрял духом и, войдя в новую роль, — для истинного артиста дело нехитрое, хотя и не самое обыкновенное, учитывая нетривиальность ситуации, — начал изображать сыновью скорбь, оплакивать безвременно ушедшую мать, уверяя окружающих, что сам ненавидит себя за то, что остался жив.

Подыгрывать ему стали поначалу придворные, обходившие соседние храмы и совершавшие там благодарственные жертвоприношения богам, спасшим драгоценную жизнь обожаемого принцепса. Поскольку худшие примеры всегда находят больше последователей, нежели лучшие, то вслед за гостями с Палатинского холма жители ближайших городов Кампании также стали приносить жертвы богам, радуясь за своего императора, и, дабы он мог оценить по достоинству их преданность, стали направлять на виллу Нерона свои представительные делегации для поддержки поздравлениями удрученного духа несчастного сына злодейки-матери.

Тем не менее требовалось еще и официальное объяснение случившегося, дабы никто в Риме не смел усомниться в подлинности утверждения о самоубийстве Агриппины из-за провала плана покушения на жизнь Нерона. Должно было поэтому направить в сенат послание принцепса с подробным изложением происшедшей трагедии и соответствующим объяснением всех деталей. Одобрение сенатом послания принцепса, что должно выразиться в специальном постановлении — senatus consultum, — подведет черту под всей историей взаимоотношений цезаря и его матери, дав римскому народу единственно верную трактовку их убийственного в полном смысле слова финала.

Труд составления послания принцепса сенату и римскому народу, естественно, взял на себя Сенека. Начал он с рассказа о том, как был схвачен вооруженный мечом вольноотпущенник Агриппины Луций Агерин, посланный ею убить Нерона, а она сама предала себя смерти, «осужденная собственной совестью за покушение на злодеяние». Далее он приводил перечень всех ее прегрешений времен правления Нерона. Она-де пыталась стать соправительницей, пыталась привести преторианские когорты к присяге на верность себе, подвергнуть тому же сенат и римский народ. Дабы вызвать неприязнь к памяти Агриппины, Сенека приписал ей возражения против денежного подарка воинам, против раздачи бедноте традиционного продовольственного набора — конгиария. Агриппине далее приписывались все козни против римской знати. Припоминалась и старая история с ее нежданным появлением в курии во время приема армянских послов. Экскурс в прошлое завершало возложение на Агриппину вины за все безобразия времен правления Клавдия. Завершалось послание описанием «кораблекрушения», каковое объяснялось совершенно естественными причинами и которое якобы и толкнуло Агриппину, приписавшую его организацию Нерону, на посылку к нему убийцы.

По справедливому замечанию Тацита, нельзя было найти настолько тупоумного человека, который бы в это мог поверить.

> «Вот почему неприязненные толки возбуждал уже не Нерон — ведь для его бесчеловечности не хватало слов осуждения, — а составивший это послание и вложивший в него признания подобного рода Сенека».[82]

Дабы предотвратить возможное все-таки недовольство преторианцев, Нерон немедленно велел произвести щедрую раздачу им денег. Как язвительно заметил Дион Кассий, *«явно стремясь возбудить в них желание, чтобы таких преступлений было побольше»*.[83]

Сенат римского народа принцепсу и подкупать не пришлось.

> «С поразительным соревнованием в раболепии римская знать принимает решение о совершении молебствий во всех существующих храмах о том, чтобы Квинкватры, в дни которых было раскрыто злодейское покушение, ежегодно отмечались публичными играми, чтобы в курии были установлены золотая статуя Минервы и возле нее изваяние принцепса (постоянное приятное Нерону напоминание о покровительстве ему богини, защитнице музыкантов и поэтов, спасшей его от козней Агриппины в дни своего праздника. — И. К.), наконец, чтобы день рождения Агриппины был включен в число несчастливых».[84]

Нашелся только один человек во всем сенате, решившийся на протест. Сенатор Тразея Пет ранее, когда в сенат вносились всякого рода льстивые предложения в адрес Нерона, предпочитавший молчать или немногословно соглашаться с остальными, на сей раз открыто покинул заседание сената. Увы, решившихся поддержать его праведный протест среди отцов отечества не нашлось. На себя же Тразея навлек опасность, поскольку Нерону не могли не донести о его вызывающем поступке.

Нерон тем временем, готовясь к возвращению в столицу, всемерно демонстрирует свое милосердие, исправляя в первую очередь неправедные деяния Агриппины. Он возвращает из ссылки всех, кто был некогда изгнан по воле его матери, освобождает даже некоторых из тех, кого сам сослал. Все должны видеть, что дух милосердия и великодушия теперь будет царить в Риме. А зло, ранее исходившее исключительно из-за злой воли августы-матери, безвозвратно уходит в прошлое.

Но с торжественным въездом в Рим Нерон не спешит. Он все еще не может до конца поверить, что сенат ему действительно покорен, а простой народ обожает своего цезаря и ненавидит само имя Агриппины. Приближенным, а среди них первые места, должно быть, принадлежат Бурру и Сенеке, убеждают его, что опасения излишни и Рим встретит принцепса с превеликим почитанием. Дабы их слова подтвердились на деле, они отпрашиваются у Нерона и отправляются в Рим заранее, чтобы встреча обожаемого цезаря народом была организована именно так, как они обещали.

К изумлению приближенных Нерона, в Риме все уже готово к торжественной встрече императора. Она еще более великолепна, чем они могли представить. Рим встречает Нерона так, как обычно встречали триумфаторов: по пути его следования были сооружены специальные ступенчатые трибуны, с каких обыкновенно римляне приветствовали победоносных полководцев и императоров, справляющих свой триумф. Сенаторы облачились в праздничные одежды, празднично выглядели и простые римляне. Нерон, торжественно поднявшись на Капитолий, возносит благодарность бессмертным богам, спасшим его жизнь от грозящей опасности. Всеобщее раболепие, безропотная покорность римлян кружит принцепсу голову. «Еще ни один принцепс не знал, как далеко он может зайти», — говорит Нерон, и ему кажется, что так отныне будет всегда. Любое его деяние будет одобрено римлянами, любовь их к нему, готовность повиноваться несомненны и непререкаемы. Действительно, трудно на его месте после таких событий не воскликнуть: «Quo non ascendam!» — «Чего еще я не достигну!»

Именно с этого времени Нерон окончательно уверовал, что отныне ему все дозволено и все, им совершенное, непременно всеми, за немногим числом, или одобряется, или безропотно принимается. В действительности же отношение в Риме к нему меняется в худшую сторону. Да, сенаторы рабски рукоплещут, но ведь делают это исключительно из страха: матереубийца способен на все! Прекрасно понимающие, что произошло на самом деле, и вынужденные из опасения за свою жизнь восхвалять человека, запятнавшего себя величайшим из преступлений, сенаторы не могут не проникнуться к нему в душе самой лютой ненавистью. Сенат унижен, он скован страхом, а ведь людям вполне свойственно ненавидеть тех, кто заставляет их себя бояться, кто унижает их. И чем затаеннее эта ненависть, тем она сильнее. А когда рано или поздно тот, кто унизил, кто заставлял трепетать перед собою, вдруг лишится такой возможности, утратив свое могущество, вот тогда-то ему все припомнят, беспощадно

припомнят!

Простой народ тоже не в восторге от происшедшего. Убийство матери — преступление, не могущее иметь оправдания. Вряд ли римлянам приятно быть под властью матереубийцы. Правда, пока власть Нерона крепка, пока он щедр в отношении войска и простого народа, его будут терпеть, а многие в благодарность за столь хорошее понимание цезарем главного стремления римской толпы даже неплохо относиться. Но злословить об императоре-матереубийце все равно все втихомолку будут, а кто-то и не очень-то втихомолку… Популярность Нерона поколебалась из-за событий рокового 59 года.

Кто спорит, Агриппина была совсем не безупречным человеком. На ее совести немало недобрых дел, даже преступлений, главное из которых — отравление Клавдия, ее дяди и мужа. Много знатных римлян пострадало от ее неукротимого нрава, но ее гибель, гибель по вине родного сына, леденящие душу подробности последних часов ее жизни, каковые для римлян вовсе не были тайной, что бы там Нероновы приспешники ни лгали, заставляли забыть то дурное, что было известно о покойной августе, и помнить лишь преступление сына-матереубийцы.

Придет время, и сенат, и преторианцы, и римляне припомнят Нерону убийство Агриппины, но пока молодой цезарь обладает колоссальной властью, перед которой все трепещут, но тем более будут рады от нее избавиться. До этого еще много лет. А пока Нерон находится на вершине счастья, упиваясь своим могуществом и теми неограниченными возможностями, какие оно предоставляет властителю. Теперь-то он может раскрыться, быть самим собой, он может дать волю всем своим пристрастиям, кои так долго приходилось таить в себе. Римляне еще не знают, что их повелитель не обыкновенный принцепс, но великий актер, поэт, певец, мастерски играет на кифаре, лучше всех умеет править квадригой на ристалище!

Часто полагают, что при жизни Агриппины Нерон был вынужден сдерживать свои страсти и скрывать художественные и спортивные наклонности, поскольку, как писал Тацит, его *«до известной степени сдерживало уважение к матери, каким бы оно ни было»*.[85]

Думается, истинная причина не в Агриппине. Нерона скорее беспокоило отношение римлян к столь необычным для принцепса пристрастиям. Император, почитающий своими главными делами лицедейство в театре, публичное пение, ставящий мастерство кифареда и умение возницы квадриги выше государственных

занятий, выше полководческого искусства, — явление для Римской державы явно непривычное. Странные пристрастия, дурные и даже ужасные привычки бывали и у предшествующих цезарей, но для них всех, исключая разве что Калигулу, дела державы были на первом месте. Не говоря уж о том, что для римской знати император — певец, актер, кифаред — дело просто постыдное. Общественное мнение — вот то, с чем любой владыка должен в той или иной степени считаться и стараться обратить себе его на пользу. Нерон мог до поры до времени опасаться резкой реакции римлян на открытое проявление своих художественных дарований. Но теперь, когда римляне так восторженно встретили цезаря-матереубийцу, когда так охотно одобряли любые трактовки любых его дел, стало очевидно: теперь таиться нечего, Нерон может открыто стать Нероном!

Глава III
Нерон и музы

Решив более не скрывать от римлян своих артистических и цирковых пристрастий, Нерон тем не менее счел нужным сначала подготовить для этого почву. В первую очередь он поставил в известность о своих намерениях главных советников — Бурра и Сенеку. Судя по всему, одобрения он у них не нашел. Префект претория и воспитатель цезаря наперебой уговаривали Нерона не давать волю своим страстям, если возможно, подавить в себе эти опасные увлечения. Опасные прежде всего потому, что римляне, почитающие такого рода занятия уделом людей низкого происхождения, могут утратить почтение к особе принцепса. Потомку божественного Августа и божественного Юлия должно вести себя сообразно своему великому статусу.

Можно, конечно, изумиться тому, что люди, не воспрепятствовавшие Нерону решиться на матереубийство, пытались уберечь его от публичных выступлений в роли кифареда, певца или возничего. Но если первое при всей его чудовищности можно хоть как-то оправдать «государственными интересами», каковым неукротимость Агриппины могла быть опасной, то здесь опасность была как раз в унижении достоинства принцепса, что наносило несомненный ущерб интересам государства.

Нерон без гнева выслушал возражения своих верных советников. Более того, вступил с ними в полемику, приводя в пользу своих намерений вполне серьезные и даже убедительные аргументы. Защищая свое стремление выступить в качестве возницы квадриги на ристалище, Нерон напоминал, что конные состязания с древнейших времен были общепринятой забавой царей и полководцев. Состязания эти устраивались в честь богов, их воспевали великие поэты древности. Наконец, сам Аполлон разъезжает на колеснице! А что в руках у бога Аполлона? Лира! Лира, изобретенная Гермесом и от него полученная Аполлоном, который с той поры и стал покровителем искусства!

Нерон напоминал своим наставникам, что Аполлон, будучи величайшим и наделенным даром провидения божеством, во всех изваяниях не только в греческих городах, но и в римских храмах изображен с музыкальным инструментом в руках — кифарой.

Здесь нельзя не вспомнить, что у римлян было особое отношение к богу Аполлону. Согласно римской мифологии, Эней со своими спутниками, сумев спастись из пылающей,

разгромленной ахеянами Трои, после долгого блуждания по морским просторам Эгейского моря прибыл на остров Делос, где находилось знаменитое святилище Аполлона. Там он и обратился к богу-провидцу будущего с мольбой о даровании несчастным троянцам новой родины, нового города, где они могли бы, закончив свои тяжкие странствования, обрести покой и благополучие. В ответ на обращение Энея голос бога, после того как сотряслись горы, сокрушившие святилище и сам храм, а завесы перед изображением Аполлона разверзлись, сообщил, что троянцы обретут свою землю там, откуда и ведут они свой род, и воздвигнут город, где будет править сначала Эней, а затем его потомки. Городу же этому суждено впоследствии покорить все народы и земли, стать владыкой мира!

Поначалу троянцы не поняли, какую именно землю указал им Аполлон. Отец Энея, мудрый Анхиз, памятуя, что основателем священной Трои почитался уроженец Крита Тевир, посоветовал направиться к берегам этого славного острова. Но стоило кораблям троянцев достичь критских берегов, как на острове разразилась чума и им пришлось бежать. Вскоре же боги во сне открыли Энею суть предсказания Аполлона: прародина троянцев в Италии и именно туда им следует направить свои корабли. После долгих и бурных приключений троянцы наконец оказались в Италии, где уже потомками Энея был воздвигнут великий город, раскинувшийся на семи холмах, которому и суждено было «народами править, утверждать обычаи мира, покоренных щадить и сражать непокорных», как писал великий римский поэт Вергилий в своей поэме «Энеида».

И основание, и грядущее величие Рима — владыки мира были возвещены Аполлоном!

Превративший окончательно Римскую республику в Римскую империю — Imperium Romanum — Август всегда подчеркивал особую значимость культа Аполлона для римлян. Исключительные симпатии к этому божеству он обнаружил еще в молодости, когда именовался Гаем Юлием Цезарем Октавианом. Однажды он организовал тайное пиршество, которое потом в народе иронически прозвали «пиром двенадцати богов», поскольку дюжина его участников возлежала за столом, обряженная олимпийцами — богами и богинями. Сам Октавиан изображал Аполлона.

Правда, тогда римляне без восторга и почтения отнеслись к такому олимпийскому пиршеству. Время для него Октавиан выбрал не самое удачное — в Риме были нужда и голод. Потому уже на следующий день по городу пошли злые разговоры о «пире двенадцати», а про молодого Цезаря все стали говорить, что если

он и Аполлон, то Аполлон-мучитель, таковое прозвание он имел в одном из римских кварталов.

Нельзя забывать, что, подобно грекам, почитая богов, римляне в то же время признавали за ними и не самые добрые поступки и качества. Отличаясь от людей бессмертием, боги могли подобно смертным людям проявлять и самые скверные чувства, совершать недостойные деяния. Аполлон, разумеется, исключением здесь не был.

Октавиан более не рядился в бога, но почитанию Аполлона, как особо значимого для него и для всего Рима божества, оставался верен. Не случайно перед серьезной битвой при Акциуме, где решалось, кто будет править в Римской державе — Октавиан или Антоний с царицей Клеопатрой, — мечи воинов армии наследника Цезаря были освящены в храмах Аполлона. Потому и конечная победа, и торжество Августа, и его владычество над Римской империей свершились благодаря Аполлону. Не случайно после победного для Октавиана исхода битвы при Акциуме он повелел благоустроить храм Аполлона, находившийся близ места сражения, и учредил специальные игры в честь бога, чьему покровительству он и был обязан успехом.

Позже появится особая легенда, непосредственно возводящая само происхождение Августа к солнечному божеству. Гай Светоний Транквилл, ссылаясь на труд Асклепиада Мендетского «Рассуждения о богах», писал, что однажды мать Августа — Атия *«в полночь пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, между тем как остальные матроны разошлись по домам; и тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила очищение, как после соития с мужем. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змеи, от которого она никак не могла избавиться, и поэтому никогда больше не ходила в общие бани; а девять месяцев спустя родился Август, и был по той причине признан сыном Аполлона»*.[86] А ведь и Нерон как-никак потомок божественного Августа, значит, и потомок самого Аполлона! Потому-то и любил Нерон править колесницей и держать в руках лиру. Ведь в таком обличье он выглядел воплощенным богом Аполлоном. Его тогда восторженно приветствовала толпа, а специально подобранные люди с зычными голосами возглашали императора Пифийцем, то есть самим Аполлоном.

Служение Алоллону для Нерона могло иметь свой особенный сокровенный смысл. Сын Агриппины не мог не осознавать себя преступником, причем преступником величайшим, как бы он ни хорохорился, как бы ни врал Сенека в послании к сенату, как бы

ни прикидывались «отцы отечества» и простые римляне, что они верят в невиновность своего обожаемого цезаря и клянут злодейку-мать. Более того, вскоре появились и злые шутки, даже стишки, написанные и по-латыни, и по-гречески. Их передавали из уст в уста, писали на стенах домов. Вот наиболее знаменитые:

Трое — Нерон, Алкмеон и Орест — матерей убивали.
Сочти — найдешь: Нерон — убийца матери.
Чем не похожи Эней и наш властитель? Из Трои
Тот изводил отца — этот извел свою мать.

В собственной истории и мифологии римляне не смогли найти аналогов злодеянию Нерона. Пришлось обратиться к образам мифологии греческой, обожаемой, кстати, самим Нероном, почему сопоставление с Орестом и Алкмеоном было ему столь близко и понятно.

Орест и Алкмеон — оба матереубийцы, хотя причины привели их к этому роковому поступку разные. Орест, сын славного предводителя ахейцев под стенами Трои царя Микен Агамемнона и его супруги Клитемнестры, мстил матери за убийство отца. Ведь Клитемнестра либо с помощью своего любовника Эгисфа, согласно мифологической традиции, либо сама, согласно трагической трилогии Эсхила «Орестея», убила Агамемнона после возвращения его из-под стен павшей Трои в родные Микены. Орест получил повеление Аполлона: отомстить за отца и убить преступную мать. Поощряемый в мести также и своей сестрой Электрой, Орест убил Клитемнестру, но за пролитие родной, да еще и материнской, крови богини кровной мести Эринии наслали на него безумие. Преследуемый Эриниями Орест бежал в Дельфы, где находилось святилище Аполлона. А Аполлон был божеством, могущим очищать от скверны убийства тех, кто совершал это злодеяние. Поскольку Орест действовал согласно повелению Аполлона, он очистил его от скверны убийства, затем усыпил Эриний, дабы они не могли преследовать сына — мстителя за отца. Оресту Аполлон повелел отправиться в Афины и обратиться за покровительством, припав к алтарю богине, покровительнице этого славного города. Богиня Афина, не решаясь сама полностью оправдать Ореста, созвала специальный суд из лучших граждан Афин, который собрался на холме, посвященном богу войны Аресу. Отсюда и название этого собрания ареопаг. Ареопаг полностью оправдал Ореста, а злобных Эриний Афина уговорила превратиться в добрых Эвменид и перестать быть богинями мщения.

По-иному сложилась судьба другого знаменитого

матереубийцы — *Алкмеона*. Его будущий отец Амфиарай, беря в жены Эрифилу, сестру царя Аргоса Адраста, дал клятву вместе с ним, что Эрифила всегда будет судьей в их спорах и они должны будут беспрекословно выполнять ее волю. Шли годы, у Амфиарая и Эрифилы родился сын Алкмеон. Когда он был еще совсем юным, в Аргос прибыл сын Эдипа Полинник. С помощью аргосского царя он мечтал захватить власть в семивратных Фивах, где царил его брат Этеокл. Адраст решился помочь Полиннику и настоял на участии в этом походе Амфиарая. Амфиарай был не только знаменитым воином, но и прорицателем. Он знал потому, что поход этот предпринимается против воли богов, и не желал гневить Зевса и Аполлона, нарушая их волю. Однако Полинник ловко использовал корыстолюбие Эрифилы, пообещав подарить ей драгоценное ожерелье, некогда принадлежавшее Гармонии, жене первого фиванского царя Кадма, если она заставит Амфиарая участвовать в походе. Эрифила не ведала того, что ожерелье Гармонии несет беду тому, кто им обладает, и потому, соблазнившись дорогим подарком, принудила мужа отправиться в поход на Фивы — ведь тот не мог ей отказать, не преступив данной клятвы во всем повиноваться воле супруги! Зная, что в походе ему суждено погибнуть, Амфиарай погрозил мечом Эрифиле и проклял ее за то, что она обрекла его на смерть. Прощаясь с юным Алкмеоном, он заклинал его отомстить Эрифиле за свою погибель. Сын должен был мстить матери, погубившей отца, но он не мог рассчитывать на заступничество Аполлона подобно Оресту, поскольку Амфиарай, участвуя в походе на Фивы, пусть и по вине Эрифилы, нарушал волю богов, в том числе и самого Аполлона. Возмужав, Алкмеон исполнил волю отца и своей рукой убил Эрифилу, родную мать. Как и в случае с Орестом, богини-мстительницы Эринии жестоко разгневались на матереубийцу и стали его повсюду преследовать. Но не только от гнева Эриний пришлось бежать Алкмеону: умирая, Эрифила прокляла сына и ту страну, что даст ему приют. Не раз пытался Алкмеон и очиститься от скверны убийства, и найти приют в какой-либо стране, но рок везде преследовал его. Окончательно же погубили его перешедшие к нему от матери дары Полинника — драгоценное ожерелье Гармонии и одежда, вытканная самой Афиной Палладой. Настигла смерть и Алкмеона.

Нерон, прекрасно знавший и греческую мифологию, и трагедии великих греческих авторов, не мог сам не отождествить себя с Орестом и Алкмеоном. Судьба последнего особо должна была ему казаться пугающей, и он избегал обращаться к образу Алкмеона. Трилогия же Эсхила «Орестея» привлекала его чрезвычайно. Ведь Орест-то был прощен, очищен от скверны

матереубийства и в дальнейшем счастливо жил со своею возлюбленной женою Гермионой!

Служение Аполлону, а игра на кифаре, пение, позднее и выступление на сцене — это и было наилучшим способом служения божеству, способному очистить матереубийцу от скверны совершенного им злодеяния, не могло теперь не стать важнейшим для Нерона делом жизни. Ведь страх перед расплатой за убийство Агриппины преследовал его постоянно из года в год, а не только в первые дни после самого преступления. Светоний сообщает, что Нерон не раз признавался, что его преследует образ матери и бегущие Фурии (римский аналог Эриний) с горящими факелами.[87] Поскольку видения такого рода преследовали его постоянно, то он вправе был считать, что Аполлон пока не идет ему навстречу, не очищает от матереубийства. Тем беззаветней, значит, надо ему служить, дабы быть прощенным!

Не полагаясь только на олимпийские божества — Аполлона и Минерву, каковых он вправе был считать своими прямыми покровителями, Нерон, как некогда и его мать, стал обращаться к представителям восточных культов. Правда, если Агриппина хотела узнать свое и сына будущее, то неблагодарный отпрыск надеялся с помощью священнодействий магов, выходцев из Ирана, а может, и ловких проходимцев, себя за таковых умело выдававших, вымолить прощение у духа убитой по его приказанию матери за свое прошлое деяние, каковое, как мы помним, ей-то какие-то мудрецы с Востока и предсказали.

Впрочем, в свое очищение от скверны убийства и в прощение матери он так и не уверовал. Ведь будучи в Греции и присутствуя на элевсинских таинствах, где глашатай, по обычаю, велел удалиться нечестивцам и преступникам, он не осмелился принять посвящение.[88]

Вернемся в первые месяцы после убийства Агриппины, когда Нерон еще только приступал, точнее, намеревался приступить к прямому служению Аполлону своим пением и игрой на кифаре, наряду с совершенствованием в деле управления квадригой.

То ли умело построенная аргументация Нерона подействовала на его воспитателей, то ли, что скорее всего, они просто отчаялись переубедить его, но вскоре Сенека и Бурр решили пойти на уступки. Надеясь все же частично удержать Нерона в рамках поведение, приличествующего принцепсу, префект претория и мудрый философ решили, что пусть он посвятит себя одному из своих странных увлечений, дабы не отдался обоим.[89] Более безобидным они сочли пристрастие Нерона к управлению квадригой — все-таки это действительно забава царей и полководцев древности. Чтобы свидетелей

воскрешения старинной царственной забавы было поменьше, огородили специальное ристалище для Нерона в долине Ватикана. Предполагалось присутствие только небольшого числа избранных зрителей, способных либо с пониманием отнестись к причуде обожаемого цезаря, либо покорно изобразить таковое, скрыв свои истинные чувства.

Нерон довольно бойко начал совершенствоваться в непростом искусстве возницы квадриги. Мы не знаем, соотносил он себя при этом с кем-либо из царей и героев древности или с самим богом Аполлоном, а может, просто наслаждался быстрой ездой, упиваясь своим мастерством возничего и с удовольствием демонстрируя свою ловкость. Присутствие публики его заметно вдохновляло, и вскоре ограниченный круг лиц, допущенных к созерцанию императорской езды, стал ему скучен. Нерон велел созывать к ватиканскому ристалищу простой народ Рима. Ликуйте, римляне! Вот перед вами император, который не только щедро дарует вам хлеб, но и сам представляет редкостное зрелище в собственном исполнении!

Надо сказать, что простой римский народ в отличие от покорной условностям и сословной спеси знати восторженно приветствовал цезаря, столь ловко управляющегося с квадригой, дабы доставить удовольствие своим верным подданным.

Нерон, как натура, безусловно, артистичная, отличался наблюдательностью. Неприязненное отношение благородных римлян к его ристалищным занятиям было очевидным. В то же время он видел, что простые римляне вполне искренне одобряют его лихую езду на квадриге на глазах зрителей. Потому он решил по-своему проучить спесивцев, привлекая к выступлениям на арене представителей ведущих сословий римского народа. Ведь если сам принцепс не стыдится, а, напротив, гордится своими выступлениями на ристалище в присутствии многочисленной и совершенно разнородной публики, то чего, собственно, стыдиться пусть даже потомкам знаменитых нобилей, патрициям, всадникам? Неужто они полагают, что достоинства в них более, нежели в царственном потомке божественных Юлия и Августа?

Традиционный римский взгляд на вовлечение Нероном знатных римлян в публичные выступления на цирковой арене просто образцово высказал Публий Корнелий Тацит:

> «Но, унизив свое достоинство публичными выступлениями, Нерон не ощутил, как ожидали, пресыщения ими; напротив, он проникся еще большею страстью к ним. Рассчитывая снять с себя долю позора, если запятнает им многих, он завлек на подмостки

впавших в нужду и по этой причине продавшихся ему потомков знаменитых родов; они умерли в означенный судьбой срок, но из уважения к их прославленным предкам я не стану называть их имена. К тому же бесчестье ложится и на того, кто наделял их деньгами, скорее награждая проступки, чем для предупреждения их. Он заставил выступать на арене и именитейших римских всадников, склонив их к этому своими щедротами; впрочем, плата, полученная от того, кто может приказывать, не что иное, как принуждение».[90]

В глазах истинно римского аристократа, каковым, несомненно, и был великий историк, даже щедрость Нерона в отношении тех, кто разделил с ним его ристалищные упражнения, дело порочное. Думается, здесь как раз Нерон упреков жестоких не заслуживает. Намерение проучить знать за пренебрежение к занятию управления квадригой, конечно, присутствовало. Но форма была избрана самая мягкая. Тем более что он искренне полагал свое новое занятие делом достойным и, привлекая к нему иных людей, никак не мог считать, что унижает тем самым их человеческое достоинство. Более того, скоро выяснилось, что щедроты эти многих и многих явно привлекли. Поэтому, когда Нерон учредил игры, получившие название Ювеналий (юношеских), то нашлось очень много желающих принять в них участие. Это празднество проводилось под покровительством древнеримской богини Ювенты (Юности). Она была богиней римской молодежи, которой предстояло идти в легионы, и потому ее культ был связан с воинским искусством. Поводом к проведению Ювеналий послужил древний семейный праздник римлян, посвященный первому обритию бороды.

Согласно сообщению Светония, о сбритии бороды Нерону, к своему несчастью, нечаянно напомнила его тетушка Домиция.

«Ее он посетил, когда она лежала, страдая запором; старуха погладила, как обычно, пушок на его щеках и сказала ласково: «Увидеть бы мне вот эту бороду остриженной, а там и помереть можно»; а он, обратись к друзьям, насмешливо сказал, что острижет ее хоть сейчас, и велел врачам дать больной слабительного свыше меры. Она еще не скончалась, как он уже вступил в ее наследство, скрыв завещание, чтобы ничего не упустить из рук».[91]

Едва ли стоит объяснять происшедшее просто изуверской импровизацией. Необходимость больших средств для

организации того же ватиканского ристалища, щедрая раздача денег участникам своих развлечений вполне могли вдохновить Нерона на расправу с теткой и захват ее наследства. Что для того, кто только что приказал убить родную мать, жизнь престарелой родственницы?

Бороду Нерон вскоре действительно сбрил. Затем она была уложена в специальный золотой ларец и посвящена богам в храме Юпитера на Капитолии, куда Нерон взошел, сопровождаемый жертвенными быками.

Обычай хранения первой бороды в ларце и посвящения ее богам был распространен в Риме. В описываемое время его могли, правда, соблюдать и люди совсем иного происхождения. Так, описанный в «Сатириконе» Петрония разбогатевший либертин Тримальхион как знатный римлянин хранит золотой ларец со своей первой бородой: *«Еще я заметил… мраморное изваяние Венеры и золотой ларец весьма внушительной величины, в коем, как мне поведали, «сам хранил свое первое бритье»*.[92] Комизм ситуации заключается в том, что юношеские годы Тримальхион провел в рабском состоянии и никак не мог подобно истинному римлянину соблюсти обычай первого обрития бороды. Впрочем, учитывая время написания «Сатирикона», в этом можно увидеть и издевку над Нероном.[93] Но, думается, едва ли бы стал аристократ Петроний отождествлять правящего принцепса из рода Юлиев-Клавдиев с безродным вольноотпущенником. Тримальхион олицетворял собой вполне реальный и отнюдь не редкостный в Риме того времени социальный тип, весьма достойный осмеяния. А то, что такие вот Тримальхионы были крайне малосимпатичны автору «Сатирикона», сомнений не вызывает.

Хотя игры и назывались юношескими, но участвовать в них. пришлось не только молодежи и не только добровольцам, хотя последних было и немало. Нерон заставил выступать на юношеских играх даже стариков сенаторов и престарелых матрон, так писал Светоний.[94] Тацит с возмущением подчеркивал, говоря об участниках игр, что *«ни знатность, ни возраст, ни прежние высокие должности не препятствовали им подвизаться в ремесле греческого или римского лицедея, вплоть до постыдных для мужчины телодвижений и таких же песен. Упражнялись в непристойностях и женщины из почтенных семейств»*.[95]

Из последнего сообщения отнюдь не следует делать вывод, что почтенные матроны, представлявшие лучшие семейства римской знати, совершали на юношеских играх нечто действительно непристойное, развратное. Тацит здесь совсем не имел в виду какие-либо сексуальные действа. Сам факт участия

римских женщин в играх, танцы на глазах у публики — все это для людей, жестко ориентированных на исконно римские ценности, на завещанные предками традиции, выглядело чем-то воистину непристойным, постыдным. Главное, было делом совершенно непривычным и потому особенно необычным казалось все, что на юношеских играх происходило. А тот факт, что игры эти, столь поразившие истинных римлян своей вопиющей новизной, были привязаны к древнему римскому обычаю отмечать обритие первой бороды, не мог многим не казаться даже кощунственным.

Должно заметить, что иные номера во время Ювеналий могли поразить и куда менее впечатлительных людей, не привыкших особенно чему-либо удивляться. Чего стоил только танец на сцене восьмидесятилетней Элии Кателлы! Кстати, благодаря этому скандальному номеру прыткая старушка и ухитрилась войти в историю. Слава, конечно, не геростратова, ни по поступку, ни по известности, но из близкой категории.

Дух молодости на играх все же присутствовал. В роще Луция и Гая Цезарей близ вырытого по приказанию Августы большого пруда, где он устраивал для римлян самый грандиозный вид гладиаторских боев — навмахии, подобие морских сражений, Нерон повелел построить многочисленные и просторные крытые помещения, где участники и участницы игр могли весело развлекаться, отведывая различные яства и предаваясь обильным возлияниям. Посетителям, дабы они не испытывали затруднения из-за безденежья, там же выдавались деньги, кои можно и нужно было немедленно потратить на увеселение.

Здесь мы видим уже действительно не римскую, но восточную, эллинистическую традицию. Так организовывали празднества для прославления радости жизни, вина, духа и вновь обретенной молодости в эллинистическом Египте времен Птолемеев. Там они проходили на берегу одного из рукавов дельты Нила и посвящались богу Серапису, богу, культ которого был установлен еще славным соратником Александра Македонского Птолемеем Лагом, ставшим впоследствии первым царем эллинистического Египта. Серапис соединял в себе как египетские черты, так и греческие, будучи одновременно и Осирисом, и Зевсом. Супругой Сераписа считалась египетская богиня Исида, чей культ в Риме времен Нерона был весьма популярен.

Центральный момент празднества наступил, когда на сцену вышел Нерон. К своему выходу он готовился чрезвычайно тщательно. До этого он продолжительное время занимался с лучшими учителями пения, добросовестно выполняя все их

предписания. Кифара, которую он держал в руках, была отменно настроена. Важно помнить то, что музыке и пению Нерон не был чужд с самого детства. Музыку он изучал вместе с другими науками, а когда стал принцепсом, то тут же пригласил к себе лучшего кифареда Рима Терпна. Сначала он только слушал его игру много дней подряд от обеда до поздней ночи, а затем и сам стал брать у него уроки, упражняясь в игре на кифаре. И к пению его отношение вполне можно назвать профессиональным. По словам Светония, *«он не упускал ни одного из средств, каким обычно пользуются мастера для сохранения и укрепления голоса: лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой, воздерживался от плодов и других вредных для голоса кушаний»*.[96] Светоний, правда, утверждал, что голос Нерона все равно оставался слабым и сиплым, но другой античный автор, Лукиан Самосатский, писал о голосе Нерона пусть и не как о явлении выдающемся, заслуживающем восхищения, но как о довольно приятном и насмешек не заслуживающем. Особо Лукиан выделял умение Нерона подчеркнуть достоинства своего голоса хорошей игрой на кифаре, умелым движением по сцене, согласованием жестов с песней. Отсюда можно заключить, что пение Нерона и его игра на кифаре вполне соответствовали добротным образцам тогдашнего сценического искусства певца и музыканта. Возмущение же Тацита, Светония, Диона Кассия его певческо-музыкальными выступлениями никак не связано с их истинными достоинствами, но определяется исключительно убеждением, что владыке Рима недостойно представать перед народом в качестве певца и кифареда.

Первое историческое открытое выступление Нерона на юношеских играх состоялось все-таки перед когортой преторианцев (около тысячи человек) в полном составе во главе со своими центурионами и трибунами. Здесь же были удрученные необходимостью присутствовать при выступлении своего воспитанника Бурр и Сенека, внешне тем не менее выражавшие одобрение царственному музицированию и пению. Тогда же впервые Нерон организовал специально подготовленную публику, дабы обеспечить своему выступлению воистину громоподобный успех. Это были молодые люди отменной внешности, рослые, статные, их задача — выражать восторг пением цезаря, рукоплескать и возглашать восторженные эпитеты в честь исполнения песен и самого августейшего исполнителя. Потому-то и прозвание они получили августианцы.

Так Нерон совершил переворот в мировой театральной практике, создав первое в человеческой истории объединение

клакёров — наемных зрителей, коим вменяется либо поспособствовать успеху представления, либо организовать провал, в зависимости от пожелания того, кто клакёрам платит. Да, Нерон использовал зрителей-наймитов для обеспечения оглушительного успеха своих сценических дарований, но ему и в голову не приходило использовать августианцев для обеспечения провала или срыва выступления других певцов, музыкантов, актеров. Августианцы же и первый в мире своего рода клуб поклонников знаменитого артиста.

Естественно, выступление Нерона завершилось воистину триумфально. Августианцы честно отрабатывали свой хлеб. Их рукоплескания не прекращались ни днем ни ночью. Их «речевки» славили таланты Нерона, сравнивая его с богами и в первую очередь, конечно же, с Аполлоном. Нерон был в восторге от отождествления себя с Аполлоном, хотя мы знаем, что в глубине души он совсем не был уверен, что покровительствующий ему бог действительно очистил его от преступления матереубийства. Тем более надо служить ему своими талантами!

В служении Аполлону Нерон явно преуспел. Он сам стал появляться в виде его воплощения: Нерон, правящий колесницей-квадригой с кифарой-лирой в руках — чем не воскрешенный бог Аполлон, покровитель искусств?

Успех Ювеналий вдохновил Нерона на новой вид игр. Игр, уже не связанных ни с какими устоявшимися традициями, а организованных для народа римского только им, Нероном. Потому и название им он дал в честь своего имени — Неронии.

Первые Неронии состоялись год спустя после Ювеналий. 13 октября 60 года. День для их открытия был выбран не случайно: очередная годовщина принципата Нерона. Неронии были, очевидно, задуманы и как соединение римской и греческой традиций в организации игр. Подобно римским играм они должны были проводиться раз в пятилетие (греческие игры проводились раз в четыре года), но структура игр была сугубо эллинская. Игры состояли из трех отделений — музыкального, гимнастического и конного. Такая организация напоминала игры, проводимые греками в Дельфах и носившие название Пифийских. В Дельфах, как известно, находилось крупнейшее святилище Аполлона, и самого его часто называли Пифийцем. И здесь Нерон обращался к Аполлону!

Затея игр на греческий манер вызвала двоякую реакцию в римском обществе. Нельзя сказать, чтобы римляне вообще не имели представления об особенностях греческих игр. Таковые проводились даже на территории самой Италии — в Неаполе, по греческой традиции раз в четыре года. Но ведь это Неаполь, а не

Рим. Город этот не просто носил греческое имя, но и был, по сути, греческим, а не италийским. Греческое население превалировало в тех краях. Не случайно когда-то до римского завоевания эта область так и называлась Великая Греция, ибо число греков, проживавших там, позволяло воспринимать ее скорее как часть Эллады, нежели Италии. Потому Неаполитанские игры едва ли выходили по значимости за пределы игр местного значения, но никак не были явлением, характерным для Италии, тем более для Рима. Ведь это были игры неаполитанских греков, но не римлян. А ныне Нерон собрался жителей самого Рима заставить играть в эллинские игры! Понятно, что далеко не все жители Великого города, владычествующего над миром, могли с восторгом или хотя бы спокойно воспринять Нероново новшество.

Разноречивые толки, ходившие в Риме в дни учреждения Нероний, замечательно описал Тацит, сам весьма неравнодушный к этой проблеме и явно разделяющий первую из изложенных им позиций, что, однако, не помешало ему точно и объективно изложить и иной взгляд на нововведение принцепса-эллинофила.

Первый взгляд:

> «Пусть будут сохранены завещанные древностью зрелища, даваемые преторами, но без необходимости для кого бы то ни было из граждан вступать в состязания.
>
> А теперь, вследствие заимствованной извне разнузданности, уже расшатанные отчие нравы окончательно искореняются, дабы Рим увидел все самое развращенное и несущее с собой развращение, что только ни существует под небом, дабы римская молодежь, усвоив чужие обычаи, проводя время в гимнасиях (греческое название мест, предназначенных для физических упражнений), праздности и грязных любовных утехах, изнежилась и утратила нравственные устои, и все это — по наущению принцепса и сената, которые не только предоставили свободу порокам, но и применяют насилие, заставляя римскую знать под предлогом соревнований в красноречии и искусстве поэзии бесчестить себя на подмостках? Что же ей остается, как не обнажиться и, вооружившись цветами (так римляне называли обложенные железом или свинцом ремни, которыми кулачные бойцы обматывали себе руки), заняться кулачными боями, вместо того чтобы служить в войске и совершенствоваться в военном деле?»[97]

В логике противникам Нероний не откажешь: когда молодежь проводит воинские учения на Марсовом поле, дабы затем применить обретенное умение владеть оружием на полях сражений во благо Рима, — польза таких занятий для отечества очевидна. Но когда те же молодые люди будут нагишом в гимнасиях бездарно мутузить друг друга кулаками на потеху толпе черни, то увидеть в этом какую-либо государственную пользу дело, что и говорить, затруднительное.

В то же время патетически панические заявления о гибели добрых отеческих обычаев в результате насаждения чужих, да еще и разнузданно развратных выглядят эффектными, но скорее пустословными, нежели серьезными и по-настоящему убедительными.

Те, кто не противился новым играм, находили свои доводы, служившие для Нероний в глазах даже вполне консервативных римлян достаточно благовидными оправданиями. Для начала они обращались к историческому опыту, напоминая, что римляне с древнейших времен много заимствовали у иных народов как раз в деле организации разного рода игр. Лицедеев-мимов римляне позаимствовали у соседей этрусков, у жителей южно-италийского города Тури — конные состязания, а проводить игры, должным образом их обставляя, в Риме стали только после присоединения к римским владениям Греции и эллинистических царств Малой Азии. Важнейшим доводом в защиту игр было то, что все расходы на них брало на себя государство, не отягощая ими город Рим. Кроме того, и что, собственно, плохого в Состязаниях ораторов, поэтов? Их успехи только поощрят развитие этих достойных и необходимых Риму талантов. А разве судьям будет в тягость выслушивать достойные произведения и давать им заслуженную оценку?

Наконец, напоминали сторонники проведения Нероний, что из того, если всего лишь несколько ночей раз в пять лет будут отданы народному веселью? А разгула совершенно нечего бояться, поскольку игры будут озарены таким изобилием ярких огней, что ничто предосудительное при таком освещении не станет возможным. Для разгула дурных страстей как раз темнота необходима!

В здравом смысле и в убедительности, да и в справедливости доводов сторонников проведения Нероний сомневаться не приходится. Идея Нерона получила должную народную поддержку, ведь консервативные противники новых игр представляли в основном аристократию — слой населения, что и говорить, уважаемый, но не самый многочисленный.

И вот игры начались в специально построенном гимнасии —

месте для гимнастических и атлетических состязаний, а для гостей игр термы — бани. Дабы особо отличить знатных римлян, каждому сенатору и представителю всаднического сословия можно было маслом для умащивания тела пользоваться бесплатно. Термы и гимнасии перед началом игр были освящены. Для обозначения значимости Нероний судьи для состязаний назначались по жребию из лиц консульского звания.

Неронии прошли успешно, без всяких эксцессов. В латинских стихах и речах состязались самые достойные граждане, что подтвердило правоту сторонников проведения игр. Правда, победителем в состязании в красноречии был объявлен Нерон, хотя в ораторском искусстве никогда силен не был. Но когда ему присудили победу, он сам спустился в орхестру, где сидели сенаторы, и при единодушном одобрении всех участников принял венок. Затем Нерон получил венок победителя за игру на кифаре. Преклонив перед венком колена, он повелел возложить его к подножию статуи Августа. Этим он выразил почтение великому предку, некогда выведшему Рим из кровавой полосы гражданских войн и превратившему отжившую республику в Imperium Romanum, и благодарность за первое перенесение опыта греческих игр на италийскую почву. Не забудем и о заслугах Августа в служении Аполлону, что было особенно близко Нерону.

Даже такой строгий судья Нероний, как Публий Корнелий Тацит, вынужден признать, что игры прошли без всякого ущерба для благонравия.[98] Что ж, в этом случае великий историк, обличитель тирании и тиранов, безупречно соблюдал им самим выдвинутый девиз, лучше которого для всех, пишущих на исторические темы, ничего быть не может: «Sine irae et studio!» — «Без гнева и пристрастия!».

Если что и могло несколько смутить особо строгих ревнителей благопристойности, то разве что разрешение посещать состязания атлетов служительницам богини Весты — жрицам-девственницам весталкам, обязанным хранить целомудрие на протяжении тридцати лет служения божеству домашнего очага и огня, горевшего в нем. Атлеты-то по греческому обычаю состязались голыми… Сам Нерон приглашению на эти зрелища весталок дал несколько странное объяснение, напомнив, что в Олимпии на тамошних играх дозволено присутствие жриц богини Деметры (римляне отождествляли греческую Деметру со своей Церерой).[99] Почему примером для служительницы Весты должны быть жрицы богини земледелия и плодородия — осталось понятным только самому Нерону.

Нарушить благопристойность игр могли еще лицедеи-мимы,

чьи фарсы обычно носили формы, весьма далекие от приличия, чем, собственно, и привлекали толпу. Здесь Нерон проявил осторожность: лицедеи были допущены на подмостки, но не на состязания. Таким образом, священный характер игр не пострадал.

Сама по себе история отношения Нерона к мимам и их веселым, но малоприличным фарсам достаточно любопытна. В самом начале своего правления он изгнал лицедеев-мимов из Рима именно за непристойность их представлений и только спустя шесть лет, ко времени начала Нероний, дозволил им возвратиться в столицу. У современных историков, обращающихся к тем временам, это порой вызывает иронию: Нерон карает за непристойность? Но в том-то и дело, что не мог Нерон жаловать убогие и примитивные с его точки зрения уличные фарсы, способные лишь забавлять римскую чернь. Разрешил он им вернуться в Рим и вновь давать уличные представления исключительно для того, чтобы доставить удовольствие той самой римской черни, популярностью среди которой он вовсе не собирался пренебрегать. Коллегами-артистами он мимов никак не мог считать. Его театральные вкусы лежали совсем в другой плоскости: Нерон был страстным поклонником греческой трагедии времен расцвета Эллады, когда творили свое высокое искусство великие Эсхил, Софокл, Еврипид. Это была его стихия!

По окончании игр все, казалось, в Риме вернулось на свои места. Тацит не без иронии заметил: *«Греческая одежда, в которую в те дни многие облачались, по миновании их вышла из употребления»*[100]

Греческая одежда после Нероний вновь уступила место в столице империи традиционным римским одеяниям, но дух Греции в правление Нерона никогда не умирал, а наоборот, постоянно креп. Одним из ярчайших его проявлений было неприятие Нероном любимого зрелища римлян — гладиаторских боев, история которых в Риме к началу правления его насчитывала уже более трех столетий (начало гладиаторским боям в Риме было положено в 264 году до христианской эры). Светоний сообщает, что *«в гладиаторской битве, устроенной в деревянном амфитеатре близ Марсова поля — сооружали его целый год, — он не позволил убить ни одного бойца, даже из преступников»*.[101] Для того чтобы привычка к таким бескровным сражениям на арене цирка стала для римлян делом обыкновенным, *«он заставил сражаться даже четыреста сенаторов и шестьсот всадников, многих — с нетронутым состоянием и незапятнанным именем; из тех же сословий выбрал*

он и зверобоев, и служителей на арене».[102]

Устроил Нерон римлянам и оригинальную форму навмахии — морского сражения: *«Показал он и морской бой с морскими животными в соленой воде».*[103] Таким образом, гладиаторский бой в представлении Нерона, — это форма публичного проявления умения обращаться с оружием и на крайний случай демонстрация его умелого применения против диких животных. Но без человеческих жертв! Потому Нерон, наслаждающийся человеческим кровопролитием на цирковой арене, каким он представлен в знаменитом романе Генрика Сенкевича «Quo vadis?» («Куда идешь?»), не более чем авторский вымысел, не имеющий ничего общего с историческими реалиями.

Все это опять-таки может показаться парадоксом: один из величайших кровопийц в истории — противник кровопролития? В действительности противоречия здесь не было. Кровавые зрелища Нерон не терпел, но пролитием крови тех, кого полагал опасным для своего правления, никогда не брезговал. Но, напомним, что в этом, согласно наставлениям мудрого своего учителя Луция Аннея Сенеки, он вправе был видеть государственную необходимость, у него не могло быть уверенности, что в случае успеха заговорщиков или тех, кто таковыми казался, он сам останется жив. Наконец, он никогда не желал присутствовать при кровавых расправах, что, конечно же, совсем таковые не оправдывает.

Неприятием гладиаторских боев Нерон явно выделялся среди своих современников и совсем не в худшую сторону.

Это опять звучит парадоксом, но его единомышленники среди римлян — знаменитые мыслители, философы. Это в первую очередь великий Марк Туллий Цицерон, писавший, что *«игры гладиаторов многим кажутся жестокими и бесчеловечными».*[104] («Многие» здесь относится, разумеется, к просвещенной элите, но не ко всему римскому народу.) Учитель Нерона Сенека также не жаловал гладиаторские бои, что вполне могло оказать и положительное влияние на Нерона. Знаменитый философ Дион Хрисостом (40–112 гг.), чья молодость прошла в годы правления Нерона, считал гладиаторские бои явлением постыдным. Подобного мнения об этом явлении был и философ более позднего времени Флавий Филострат (170–244 гг.). Не жаловал гладиаторские бои император-философ Марк Аврелий, но он не жаловал и самого Нерона.

Взамен сражениям вооруженных людей на аренах Нерон предложил римлянам пляски воинов и здесь вновь прибег к греческому опыту. Римлянам были продемонстрированы воинские пляски отборных эфебов, молодых воинов-греков. Дабы

все увидели, сколь высоко цезарь оценил танцевальное мастерство отважных эфебов, он после представления лично вручил каждому из них грамоту на римское гражданство.

К сожалению, не все представления на греческий манер оставались бескровными. Театрализация мифа об Икаре и Дедале оказалась столь же трагической, как и сам мифологический сюжет. «Икар при первом же полете упал близ императора и своею кровью забрызгал и его ложе, и его самого».[105]

Не все представления на греческий лад были и благопристойны. В одной из эллинских плясок во время представления, данного Нероном римлянам, инсценировался миф о Пасифае. Напомним, согласно греческой мифологии, Пасифая была женой царя острова Крит Миноса. Бог моря Посейдон, прогневавшись на Миноса, изобрел для него страшную кару: Пасифая воспылала статью к быку! По иной версии, правда, сама Пасифая была столь страстной натурой, что действительно влюбилась в быка и родила от него ребенка с бычьей головой — знаменитого Минотавра.[106]

В данном Нероном зрелище «в одной из этих плясок представлялось, как бык покрывал Пасифаю, спрятанную в деревянной телке, — по крайней мере, так казалось зрителям».[107]

Здесь должно заметить, что подобного рода зрелище вовсе не представлялось людям Римской империи той поры чем-то из ряда вон выходящим. В знаменитом повествовании II века о юноше, силою волшебства превращенном в осла, но сохранившем человеческий разум — сюжет повести «Лукий, или Осел», принадлежащей перу Лукия Патрского,[108] и известнейшего античного романа Апулея[109]«Метаморфозы, или Золотой осел», — прямо описывается эпизод публичного «бракосочетания» осла и женщины: для развлечения публики в театре осел должен овладеть преступницей, приговоренной к смерти — осужденной на съедение дикими зверями. И вот как должно было выглядеть такого рода представление (повествование ведется от имени юноши, превращенного в осла):

> «Наконец, когда настал день, в который… решили, как меня привести в театр. И я вошел следующим образом: было приготовлено большое ложе, отделанное индийской черепахой с золотыми скреплениями; меня уложили на нем и рядом поместили женщину. Потом в этом положении нас поставили на какое-то приспособление и внесли в театр, на самую середину, а зрители громко закричали и захлопали в ладоши, приветствуя меня. Перед нами поставили стол,

уставленный всем, что подается у людей на роскошных пирах. И вокруг нас стояли красивые рабы — виночерпии и наливали вино из золотого сосуда».

Разумеется, гротескность этой сцены очевидна, но фантастичен в ней прежде всего осел с человеческим разумом, злосчастный юноша Лукий, жертва волшебства. Но то, что подобного рода представление было возможно, особых сомнений не вызывает. Кстати, зрелище пляски, имитирующей страсть Пасифаи к быку, которое было представлено Нероном римлянам, выглядело все же поскромнее, чем то, что представлялось на тему «ослиной Пасифаи» в самой Греции. У Апулея ведь действие происходит в славном Коринфе. Впрочем, такого рода представления давались Нероном нечасто; страстью его, подлинной и всеобъемлющей любовью был настоящий театр, подлинно высокое искусство!

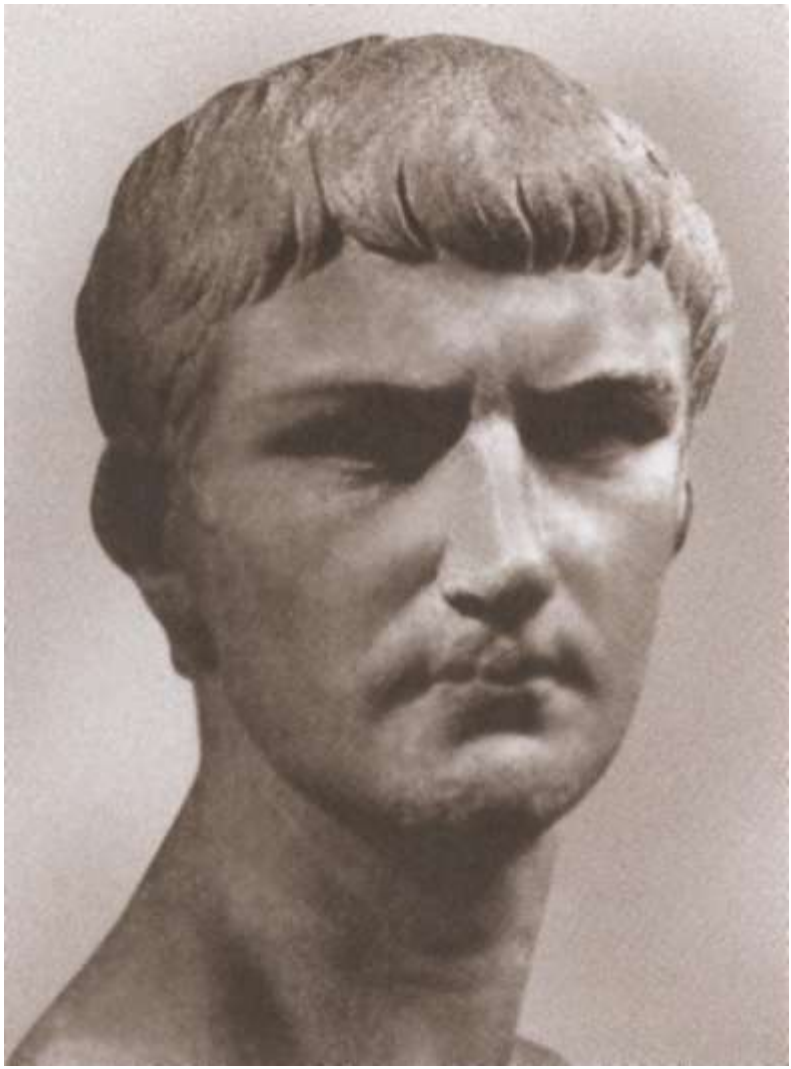
Начать свои публичные выступления Нерон решил с пения. Петь в узком кругу для немногих слушателей казалось ему делом для истинного артиста бессмысленным. Он многократно повторял по этому поводу греческую пословицу: «Чего никто не слышит, того никто не ценит». Но оценить его должны были прежде всего люди греческой культуры. Потому он избрал местом своего дебюта Неаполь, крупнейший город области, некогда именуемой самими эллинами Великой Грецией, город, бывший как бы столицей италийской Эллады. Именно там публика могла по достоинству оценить и голос, и искусство пения императора-артиста. После этого экзамена он мог уже не волноваться перед любой публикой.

Надо сказать, что со своей премьерой Нерон не спешил. Его выступление в Неаполе состоялось только в 64 году.

Император Нерон (правление 54–68 гг.).

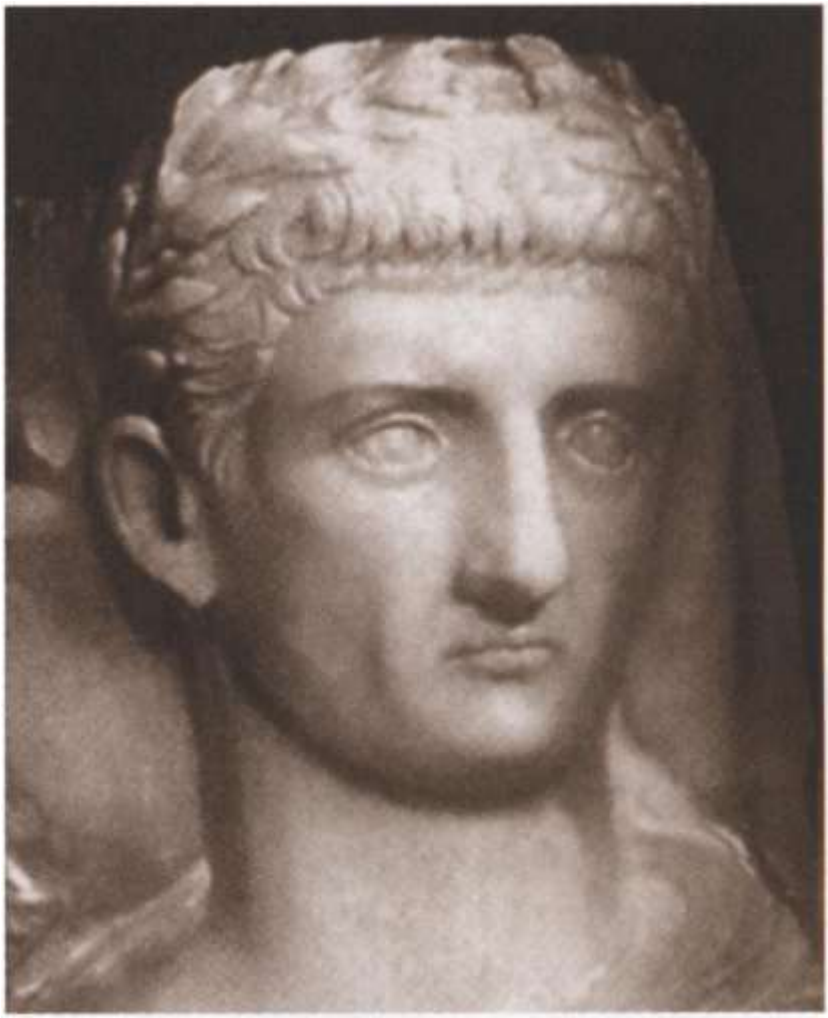
Юный Нерон

Агриппина Младшая, мать Нерона.



Император Калигула (правление 37–41 гг.).

Убийство Калигулы.



Император Клавдий (правление 41–54 гг.).

Валерия Мессалина, жена Клавдия.

Британник, сын Клавдия и Мессалины.

Водопровод Клавдия в Риме.

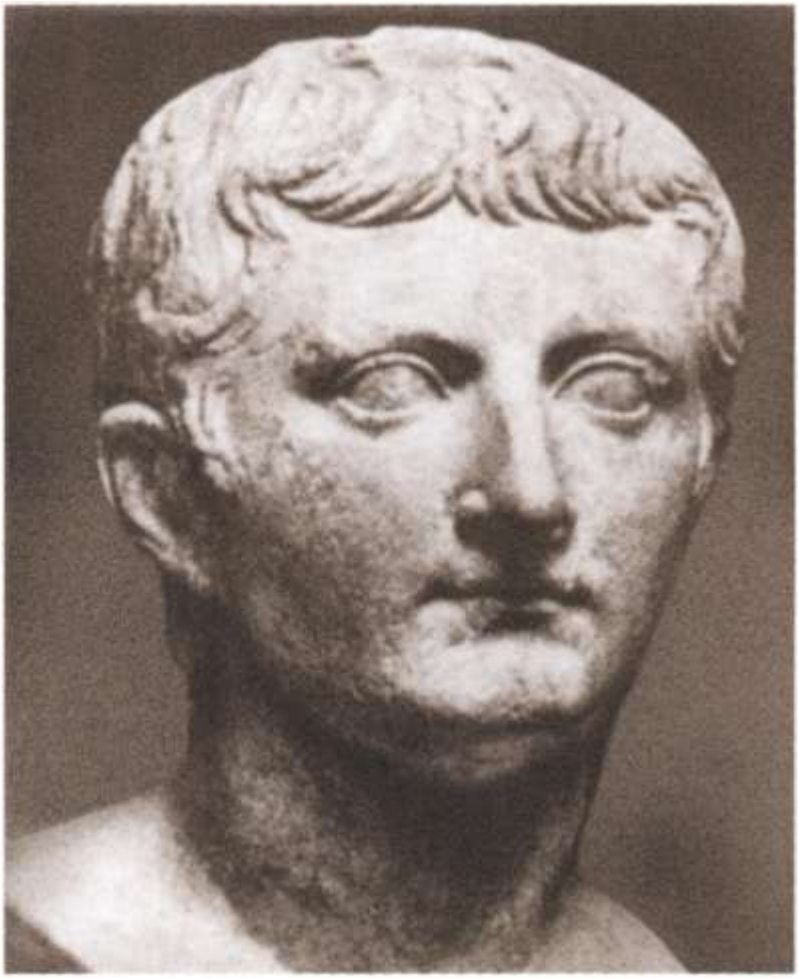
Клавдий, Агриппина Младшая, Ливия и Тиберий

Изображение на монетах:

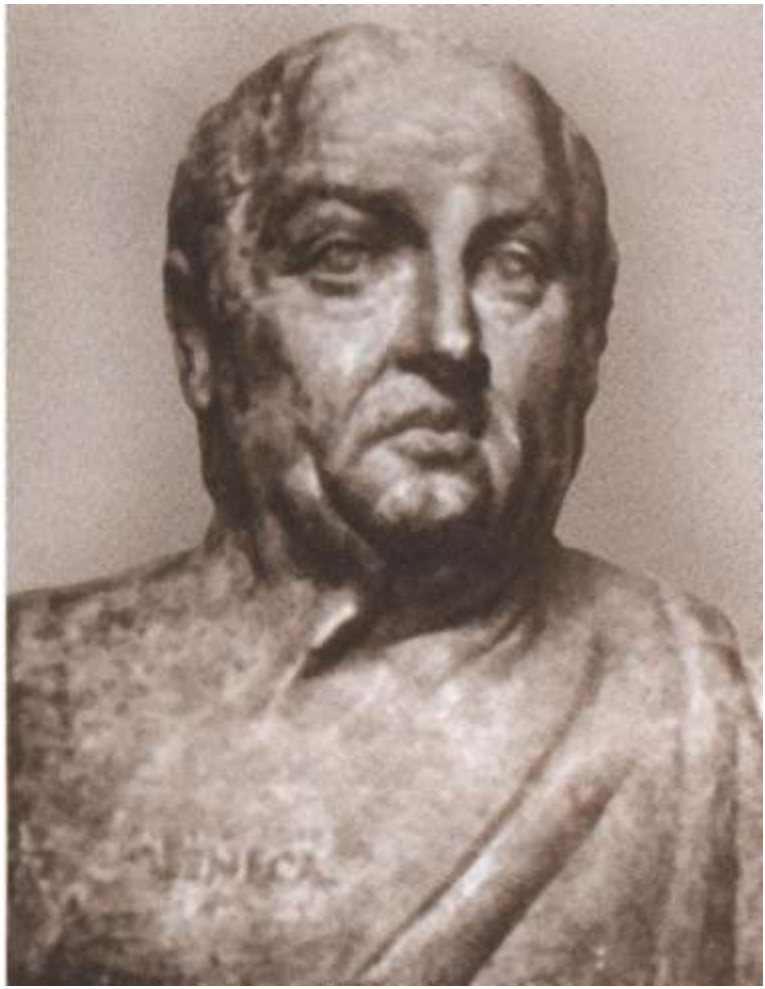
1 — Август Клавдий; 2 — Август Нерон; 3 — Август Веспасиан.

Рим при императорах.

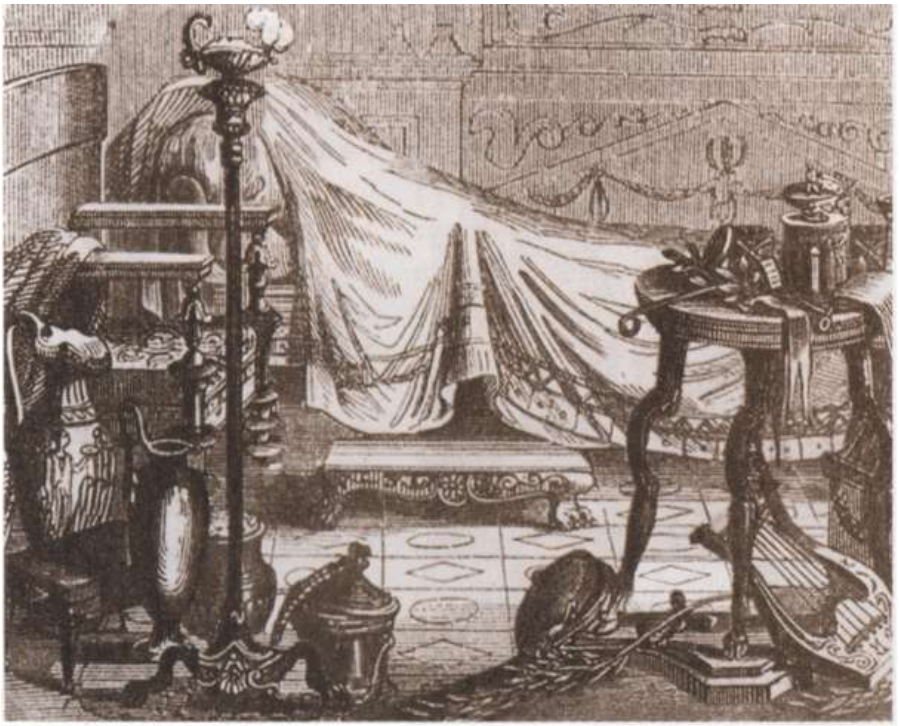
Император Тиберий (правление 14–37 гг.).



Германик, знаменитый полководец, отец Калигулы и Агриппины Младшей, дед Нерона.



Сенека, философ, поэт, наставник Нерона.



Комната знатного римлянина.

Вилла на берегу моря.

Инсула, дома, предназначенные для сдачи квартир внаем бедным.

Цирковые бега.

Главный вход в дом зажиточного горожанина.

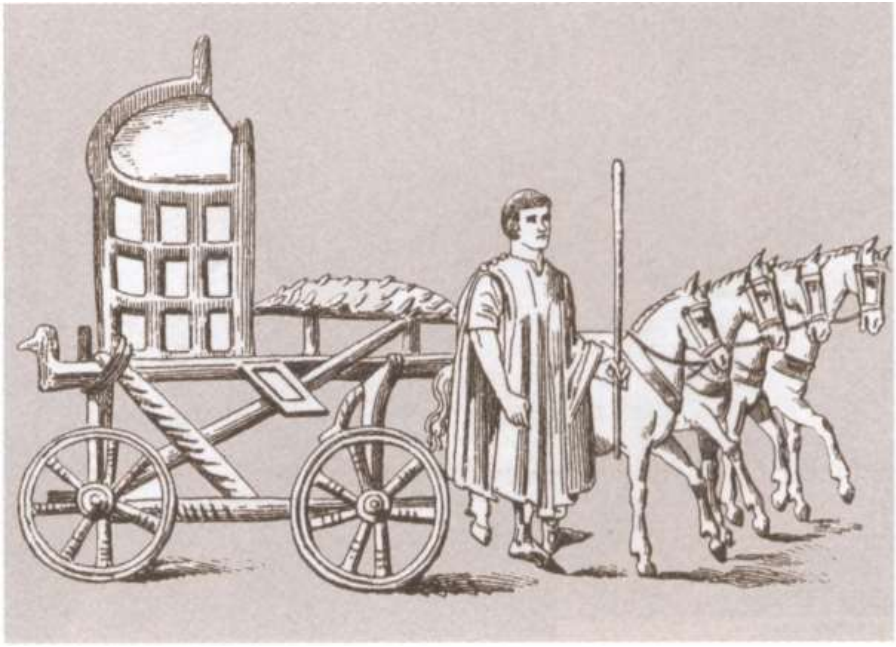
Аллегория Аравии.

Гладиаторские бои.

Римские скаковые колесницы.

Храм Весты на форуме.

Луций Домиций Агенобарб, дед Нерона.



Повозка префекта Рима.

Остатки былого величия.

Центр Рима в наши дни.

Октавия (?), дочь Клавдия и Мессалины, первая жена Нерона.

Первое же выступление Нерона выглядело знаковым: во время его пения театр дрогнул от неожиданного землетрясения, но Нерон мужественно продолжал начатую песнь до самого конца. Таковы сведения Светония.[110]

В этом случае землетрясение можно было истолковать как одобрение Зевсом пения Нерона. Можно вспомнить греческое предание о том, что когда Фидий, изваявший одно из чудес света — статую Зевса в Олимпии, вошел в храм, где она была установлена, и воскликнул, обращаясь к воплощенному в скульптуре божеству: «О, Зевс, доволен ли ты?» — то загремел гром, случилось землетрясение и по полу храма прошла трещина. Так Зевс ответил: «Да!»

Тацит описывает происшедшее в Неаполе иначе:

> «Тут произошло нечто такое, в чем большинство увидело зловещее предзнаменование, а сам Нерон — скорее свидетельство заботы о нем благосклонных богов: театр, оставшийся пустым после того, как зрители разошлись, рухнул, и никто при этом не пострадал».[111]

По этому поводу, согласно тому же сообщению Тацита, Нерон сочинил стихи, в которых приносил благодарность богам и прославлял счастливый исход недавнего происшествия.

Кто более точен в описании в полном смысле слова потрясающих обстоятельств дебюта Нерона-певца перед массовой аудиторией — Светоний или Тацит, сказать уверенно невозможно, да, наверное, это и не столь важно. Важно то, что в любом случае Нерон воспринял случившееся как безусловную поддержку бессмертных богов, как явное одобрение своего не имеющего аналогов артистического выступления.

Пение Нерона в Неаполе отнюдь не стало разовым мероприятием. Император пел перед многочисленной публикой, каковую составили не только жители города, но и те, кто прибыл из соседних мест и даже из далекой Александрии. Уроженцы интеллектуальной столицы эллинистического мира оказались в Неаполе в эти дни случайно, но их присутствие произвело на Нерона особое впечатление. Дело в том, что александрийцы умели аплодировать с особым искусством. Современники называли это «мерными рукоплесканиями». Вот они-то и восхитили Нерона и он распорядился доставить в Неаполь побольше гостей из Александрии, дабы они могли и порадовать

цезаря-певца своим дивным умением рукоплескания, и поучить таковому италийцев. Таким образом, неаполитанские гастроли Нерона затянулись. Он давал себе короткий отдых для восстановления сил и голоса, но не выдержал долго разлуки с публикой. Из бани он вернулся в театр, где посреди орхестры велел накрыть пиршественные столы. К народу, заполнившему театр, Нерон обратился по-гречески, проявляя тем самым уважение к родному языку большинства присутствующих и почтение к Греции — родине высокого искусства пения. С присущим ему остроумием Нерон объявил, что сначала он как следует промочит горло, а затем уже споет что-нибудь во весь голос.

Кстати, слова «промочить горло» здесь вовсе не обязательно воспринимать как употребление вина, хотя к таковому цезарь с ранней юности был совсем не равнодушен. Скорее речь шла о так называемом «напитке Нерона», который являл собою всего лишь кипяченую воду, охлажденную снегом. Ее-то Нерон и использовал для того, чтобы *«промочить горло» перед пением. По совершенно справедливому замечанию одного медика-историка, «как жаль, что сие изобретение было незаслуженно забыто: мир не знал бы большей части желудочно-кишечных инфекций»*.[112]

Завершилось выступление императора-певца в Неаполе формированием уже целого легиона профессионально-восторженных зрителей, тех самых предшественников позднейших клакёров. Напомним, что право считаться изобретателем этого явления в мировом искусстве, пусть и малопочтенного, безусловно, принадлежит Нерону, равно как и открытие полезных свойств кипяченой воды. Здесь же Нерон установил достижение, каковое, можно уверенно сказать, впоследствии не перекрыл ни один тщеславный артист, прибегавший к помощи аплодирующих наймитов-клакёров. *«Он сам отобрал юношей всаднического сословия и пять тысяч дюжих молодцов из простонародья, разделил их на отряды и велел выучиться рукоплесканиям разного рода — и «жужжанию», и «желобкам», и «кирпичикам», а потом вторить ему во время пения. Их можно было узнать по густым волосам, по великолепной одежде, по холеным рукам без колец; главари их зарабатывали по четыреста тысяч сестерциев»*.[113]

Пять с лишним тысяч высокопрофессиональных клакёров! Это больше легиона воинов республиканской поры (4500 человек) и почти легион полного состава эпохи Римской империи (6000 человек). Добавим, что ни в одном легионе ни трибуны, ни тем более центурионы не могли мечтать о жалованье в 400 000 сестерциев! Да что трибуны и центурионы, легаты,

командовавшие легионами, проконсулы, которым вверялись провинции с целыми армиями на их территории, таких сумм от принцепса не удостаивались. Но то, что император предводителей клакёров ценил выше тех, кто командует легионами и управляет провинциями империи, не могло не произвести соответствующего впечатления и со временем должно было жестоко аукнуться Нерону.

Но пока Нерон ликовал. Его пение оценили, пора выступать в Риме. Покорить столицу своим пением — вот какая задача представлялась Нерону в то время наиважнейшей.

В столице провели соответствующую подготовку и, когда император ввернулся на Палатинский холм в свой дворец, его ждали толпы народа, кричавшие, что они просто жаждут услышать божественный голос обожаемого цезаря. Что ж, «Vox populi — vox Dei» — «Глас народа — глас божий». Нерон милостиво согласился спеть для желающих его послушать в дворцовых садах, но когда к жаждущим насладиться августейшим пением в нарушение всякой воинской дисциплины присоединись даже воины-преторианцы, несшие караульную службу в императорском дворце на Палатине, Нерон явил народу свое великодушие, согласившись петь немедленно.

Данная импровизация не могла, разумеется, быть просто единичным явлением. Народу надо было явить подлинный праздник, и потому, хотя до объявленного срока проведения очередных Нероний оставался еще целый год, Нерон объявил о их возобновлении немедленно.

На сей раз он повелел внести свое имя в список кифаредов-состязателей и вместе с другими как рядовой музыкант и певец бросил в урну свой жребий. На сцене он появился согласно очередности, жребием установленной, но само появление его было организовано воистину по-царски: кифару его несли начальники преторианцев Фений Руф и Софоний Тигеллин, далее шли командиры когорт, воинские трибуны-преторианцы, рядом с принцепсом шествовали его друзья. Выйдя на сцену и произнеся положенные вступительные слова, он через консуляра (бывшего консула) Клувия Рифа объявил, что будет петь «Ниобу», и пел до самой темноты, почти до десятого часа.

Чем мог привлечь Нерона этот сюжет? Очевидно, что образ Ниобы, миф о ней чрезвычайно волновали Нерона. Для своего знаменательнейшего выступления перед римлянами, каковое он вправе был почитать важнейшим событием в своей артистической жизни, выбор сюжета не мог быть случайным. И здесь проявилась тяга Нерона к наиболее трагическим сюжетам греческой мифологии. Напомним, дочь царя Лидии Тантала и супруга царя

Фив Амфиона Ниоба была счастливой матерью семи сыновей и семи дочерей. Все счастье в ее жизни, богатство, власть, прекрасные дети, все это было дано Ниобе бессмертными богами, но она не испытывала к ним должной благодарности. Преисполненная гордости, она однажды отказалась принести положенные жертвы богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды. В отместку за надменность дочери Тантала Латона измыслила ей жесточайшую кару: ее дети, Аполлон и Артемида, золотыми стрелами из луков поразили всех детей Ниобы. Аполлон перебил всех сыновей, дочерей пронзила стрелами сестра его Артемида. Муж Ниобы, царь Амфион, увидев бездыханные тела своих сыновей, сам пронзил свою грудь мечом. Окаменела от горя Ниоба, только слезы по-прежнему лились из ее каменных глаз. Поднявшийся бурный вихрь перенес ее в Малую Азию, на ее родину, в Лидию, где с тех пор на горе Сипиле стоит превратившаяся в камень Ниоба и льет слезы вечной, неизбывной скорби.

Здесь нельзя не вспомнить о семейном горе самого Нерона. В январе 63 года Поппея Сабина родила Нерону дочь Клавдию, которую вскоре унесла болезнь. Смерть маленькой августы стала великим горем для императора. Потому чувства Амфиона и Ниобы, внезапно лишившихся своих детей, были ему близки и понятны.

Сольные выступления в роли певца-кифареда стали только прелюдией подлинно актерской деятельности Нерона. Теперь он стал петь в трагедиях, выступая, как настоящий актер, в масках богов и героев, богинь и героинь — ведь в греческом театре все роли как мужские, так и женские исполняли актеры. Профессии театральной актрисы античный мир не знал. Женщины, правда, могли все же появляться на театральной сцене, когда устраивались театрализованные представления по наиболее знаменитым мифам и где требовалось изображать богинь. Вот как в «Золотом осле» Апулея описано представление «Суда Париса», когда троянский царевич выбирал прекраснейшую из трех богинь:

> «На сцене высоким искусством художника сооружена была деревянная гора, наподобие той знаменитой Идейской горы, которую воспел великий Гомер…Вот показался прекрасный отрок, на котором, кроме хламиды эфебов на левом плене, другой одежды нет, золотистые волосы всем на загляденье и сквозь кудри пробивается у него пара совершенно одинаковых золотых крылышек; кадуцей указывает на то, что это Меркурий. Он приближается, танцуя, протягивает тому,

кто изображает Париса, позолоченное яблоко… знаками передает волю Юпитера и, изящно повернувшись, исчезает из глаз. Затем появляется девушка благородной внешности, подобная богине Юноне: и голову ее окружает светлая диадема, и скипетр она держит. Быстро входит и другая, которую можно принять за Минерву: на голове блестящий шлем, а сам шлем обвит оливковым венком, щит несет и копьем потрясает — совсем как та богиня в бою.

Вслед за ними выступает другая, блистая красотою, чудным и божественным обликом своим указуя, что она — Венера, такая Венера, какой она была еще девственницей, являя совершенную прелесть тела, обнаженного, непокрытого, если не считать легкой шелковой материи, скрывавшей восхитительный признак женственности. Да и этот лоскуток ветер нескромный, любовно резвясь, то приподымал, так что был виден раздвоенный цветок юности, то, дуя сильнее, плотно прижимал, отчетливо обрисовывая сладостные формы».

Понятое дело, так изображать олимпийских богинь никакой актер не мог по определению. Другое дело — трагические роли, где артист облачался в женскую одежду и имел маску с чертами женского лица.

Зрители замечали, что черты масок, в которых выступал на сцене Нерон, напоминали либо его собственное лицо, либо лица женщин, которых он любил. Нетрудно догадаться, что это были в первую очередь лица Акте и Поппеи Сабины. Об убедительности актерского дарования Нерона говорит известный анекдот, приводимый Светонием: один молодой воин-новобранец, стоявший на страже в театре, увидел Нерона в цепях. Не сообразив, что император оказался в оковах согласно исполняемой им роли, отважный часовой бросился спасать обожаемого цезаря.

В каких трагедиях чаще всего играл Нерон? Весь его репертуар до нас не дошел, но Светоний,[114] рассказывая о нем, выделяет «Роды Канаки», «Орест-матереубийца», «Ослепление Эдипа», «Безумный Геркулес». Подбор, что и говорить, знаменательный. Тема инцеста — любовь брата и сестры — в «Родах Канаки» и там же тема детоубийства! Римляне, правда, с юмором комментировали исполнение Нероном главной роли в этой трагедии: «Чем ныне занят Нерон? — У него роды!»

«Орест-матереубийца» — почему эта трагедия привлекала Нерона, более чем очевидно. Образ Ореста, убившего свою мать

Клитемнестру, но спасенного от гнева мстительниц — Эриний Аполлоном и Афиною и оправданного мудрым ареопагом, был близок Нерону и давал ему надежду, что его преступление будет оправдано подобным же образом.

Пристрастие к образу Ореста было, разумеется, замечено римлянами и по достоинству оценено впоследствии в беспощадной сатире Ювенала. Прямо сравнивая Нерона и Ореста, великий бичеватель пороков и преступлений писал:

> «Сын Агамемнона то же содеял, но повод другой был: разница в том, что по воле богов за родителя мстил он. Был Агамемнон убит среди пира; Орест не запятнан кровью Электры — сестры, ни убийством супруги — спартанки. Он не подмешивал яд никому из родных или близких. Правда, Орест никогда не пел на сцене, «Троады» не сочинял».

С Ювеналом невозможно спорить: Нерон никак не похож на мстителя Агриппине за смерть своего пусть и отчима Клавдия, Орест в отличие от Нерона не подливал яд родному человеку, а Нерон отравил Британника. Орест счастливо зажил после всех своих бедствий с возлюбленной женой спартанкой Гермионой, а Нерон повинен в гибели двух своих жен. Как истинный римлянин, Ювенал вовсе не склонен почитать за достоинство публичное выступление Нерона на сцене, а также сочинение трагического песнопения, посвященного гибели Трои.

Уже говорилось, что среди любимых трагических персонажей Нерона был царь Эдип. Ослепление Эдипа — сюжет, исполненный наивысшего трагизма. Эдип, узнав, что он — убийца отца, муж родной матери, по ней же брат собственных детей, потрясен и впадает в отчаяние. Когда же он узнает, что мать и жена его Иокаста, не вынеся открывшегося ей всего ужаса происшедшего, покончила с собой, то, сорвав с одежды Иокасты пряжки, несчастный, совсем обезумевший царь Фив выколол себе глаза. Эдип больше не желал видеть солнца, детей, родные Фивы, радости в жизни для него уже быть не могло!

Тема потери разума на первом плане и в трагедии «Безумный Геркулес». Известно, что один из вариантов трагедии на эту мифологическую тему принадлежал перу Сенеки. Не в ней ли и исполнял на сцене главную роль воспитанник великого философа?

Здесь сюжет связан с безумием и с пролитием родной крови — детоубийством. Богиня Гера не могла простить Алкмене, что та была возлюбленной Зевса и родила от него Геракла (Геркулеса по римской традиции). Пылая к Гераклу ненавистью, Гера наслала

на него безумие. Обезумевший и впавший в неистовство Геракл перебил всех своих детей и детей брата своего Ификла. Но и здесь, как и в случае с безумием Ореста из-за гнева Эриний, на помощь пришел Аполлон. Он очистил Геракла от скверны убийства, повелел ему покинуть Фивы, где он до своего безумия счастливо жил в браке с Мегарою, дочерью фиванского царя Креонта. В священном городе Дельфы Аполлон объявил Гераклу, что ему следует отправиться на свою родину в город Тиринф.

Здесь он должен был двенадцать лет служить царю Эврисфею. Тогда же Аполлон устами пифии Дельфийского оракула предсказал Гераклу, что тот станет бессмертным, совершив двенадцать подвигов, каковые извелит ему Эврисфей.

И вновь мы видим спасительную роль Аполлона.

Пристрастие к подобным трагическим сюжетам говорит о многом. Внутренний мир Нерона представляется мрачным. Он, безусловно, был мучим страхами за последствия своих деяний, потому и искал себе в мифологических историях оправдание и надежду на милосердие богов, в первую очередь любимейшего из них — Аполлона. Невольно приходит в голову ядовитая мысль, что Аполлон должен был быть немало утомлен Нероном. Ведь поскольку он очищал людей от скверн убийства, то Нерон со своей стороны делал все, чтобы солнечный бог постоянно пребывал в таковой ипостаси. Кто же еще так преданно служил сыну Латоны? Небескорыстно, правда, а постоянно испрашивая очередного очищения. Но это было как раз в исконном русле римских представлений о взаимоотношении человека и божества. Римляне вывели чеканную формулу отношений людей и богов: «Do ut des!» — «Даю, чтобы ты дал!» Смысл ее предельно ясен, замечательно практичен и, как были уверены в том сами римляне, совершенно взаимовыгоден: мы приносим богам жертвы, воспеваем их, посвящаем им свои деяния, а они, в благодарность за наши щедрые подношения, должны исполнять наши пожелания. Воистину великое служение Нерона Аполлону замечательно укладывается в эти традиционные латинские слова — «Do ut des!».

Разумеется, сводить всю артистическую деятельность Нерона исключительно к служению Аполлону, дабы тот даровал очищение от скверны убийства, а в первую очередь матереубийства, было бы большим упрощением. Нерон был артистом по натуре. Для него пение, игра на сцене были не только данью служения солнечному божеству, не просто развлечением, но главным делом жизни. Светоний с изумлением отмечает: *«Он даже подумывал, не выступить ли ему на преторских играх, состязаясь с настоящими актерами за награду в*

миллион сестерциев, предложенную распорядителями».[115]

Конечно же, не денежная награда побуждала Нерона посостязаться с подлинными профессионалами. Ему важно было утвердить себя как истинного мастера своего дела, настоящего профессионала, искусно владеющего своим ремеслом. А то, что Нерон искренне полагал себя человеком, владеющим ремеслом артиста, совершенно очевидно. Светоний выделяет слова Нерона, сказанные им, когда он узнал о предсказании астрологов, что рано или поздно он будет низвергнут: *«Прокормимся ремеслишком!»*[116] Так он, по утверждению биографа, пытался оправдать свои занятия кифареда, для правителя забавные, для простого человека необходимые.

А вот это уже совершеннейший шок для римской аристократии. Принцепс, похваляющийся владением ремеслом артиста — для этого просто нет слов. Ремесло — удел черни. Служение отечеству на ниве гражданских и военных дел римляне, кстати, никогда с презренным ремеслом не отождествляли. Нерон же откровенно ставил ремесло артиста выше служения Риму!

А этим в душе не могли не возмутиться даже самые раболепные его подданные, из римской знати происходящие. Чернь в вину Нерону его необычные пристрастия никогда не ставила, ее могло разве что огорчить неприятие Нероном кровопролитных гладиаторских боев.

Неприятие просвещенными римлянами сценической деятельности Нерона очень хорошо чувствуется в описании Светонием и Тацитом поведения цезаря-артиста:

> «Когда он пел, никому не дозволялось выходить из театра, даже по необходимости. Поэтому, говорят, некоторые женщины рожали в театре, а многие, не в силах более его слушать и хвалить, перебирались через стены, так как ворота были закрыты, или притворялись мертвыми, чтобы их выносили на носилках. Как робел и трепетал он, выступая, как ревновал своих соперников, как страшился судей, трудно даже поверить. Соперников он обхаживал, заискивал перед ними, злословил о них потихоньку, порой осыпал их бранью при встрече, словно равных себе, а тех, кто был искуснее его, старался даже подкупать. К судьям он перед выступлениями обращался с величайшим почтением, уверяя, что он сделает все, что нужно, однако всякий исход есть дело случая, и они, люди премудрые и ученые, должны эти случайности во внимание не принимать. Судьи просили его мужаться, и он отступал, успокоенный, но все-таки в тревоге:

молчание и сдержанность некоторых из них казались ему недовольством и недоброжелательством, и он заявлял, что эти люди ему подозрительны.

При соревновании он тщательно соблюдал все порядки: не смел откашляться, пот со лба вытирал руками, а когда в какой-то трагедии выронил и быстро подхватил свой жезл, то в страхе трепетал, что за это его исключат из состязания, и успокоился тогда лишь, когда второй актер ему поклялся, что никто этого не заметил за рукоплесканиями и кликами народа. Победителем он объявлял себя сам, поэтому всякий раз он участвовал и в состязании глашатаев. А чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти, все их статуи и изображения он приказывал опрокидывать, тащить крюками и сбрасывать в отхожие места».[117]

Это слова Светония. С ними вполне согласуется и то, что писал Тацит:

«Следует указать, что еще до того, как начались пятилетние состязания, сенат, пытаясь предотвратить всенародный позор, предложил императору награду за пение и в добавление к ней венок победителя в красноречии, что избавило бы его от бесчестья, сопряженного с выступлением на подмостках. Но Нерон, ответив, что ему не нужны ни поблажки, ни поддержка сената и что, состязаясь на равных правах со своими соперниками, он добьется заслуженной славы по нелицеприятному приговору судей, сперва декламирует поэтические произведения; затем по требованию толпы, настаивавшей, чтобы он показал все свои дарования (именно в этих словах они выразили свое желание), он снова выходит на сцену, строго соблюдая все принятые между кифаредами правила: не присаживаться для отдыха, не утирать пота ничем, кроме одежды, в которую облачен, не допускать, чтобы были замечены выделения изо рта и ноздрей. В заключение, преклонив колено, он движением руки выразил свое глубочайшее уважение к зрителям, после чего, притворно волнуясь, застыл в ожидании решения судей. И римская чернь, привыкшая отмечать понравившиеся ей жесты актеров, разразилась размеренными возгласами одобрения и рукоплесканиями. Можно было подумать, что она охвачена ликованием; впрочем, эти люди, равнодушные к общественному бесчестью, пожалуй, и в самом деле

искренне ликовали.

Но прибывшим из отдаленных муниципиев все еще суровой и оберегавшей древние нравы Италии и обитателям далеких провинций, приехавшим в качестве их представителей или по личным делам и непривычным к царившей в Риме разнузданности, трудно было взирать на происходившее вокруг них; не справлялись они и с постыдной обязанностью хлопать в ладоши: их неумелые руки быстро уставали, они сбивали со счета более ловких и опытных, и на них часто обрушивали удары воины, поставленные между рядами с тем, чтобы не было ни мгновения, заполненного нестройными криками или праздным молчанием. Известно, что многие всадники, пробираясь через тесные входы среди напиравшей толпы, были задавлены, а других, проведших день и ночь на своих скамьях, постигли губительные болезни. Но еще опаснее было не явиться на зрелище, так как множество соглядатаев явно, а еще большее их число — скрытно запоминали имена и лица входящих, их дружественное или неприязненное настроение. По их донесениям мелкий люд немедленно осуждали на казни, а знатных впоследствии настигала затаенная на первых порах ненависть принцепса».[118]

Сложно сказать, чего больше в приведенных строках римских историков: подлинных фактов, всякого рода бытовых и исторических анекдотов, позднейших наслоений, характер каковых определил в целом враждебный настрой римлян последующих эпох к Нерону. Безусловно, отношение Нерона ко всем правилам актерских выступлений, ко всем требованиям артистического мастерства было наисерьезнейшее. Он хотел не просто казаться, но и быть настоящим великим артистом. Потому его поведение на состязаниях скорее должно вызывать уважение, нежели иронию и даже злую насмешку. Недоброжелательность к соперникам — но ведь это качество всегда и везде во все времена присуще всем участникам сколь-либо серьезных состязаний, какие бы слова о теплых чувствах к конкурентам они при этом ни говорили. Не стоит подвергать сомнению и волнение Нерона. Оно естественно для начинающего артиста, небезразличного к уровню своего выступления и желающего справедливой и благодарной его оценки. Нерон был артистом до мозга костей и потому не мог не думать о будущем своей славы. Ему, конечно, хотелось, чтобы потомки знали, что император — певец, кифаред, актер соблюдал все правила сценического искусства и побеждал не потому, что он

властный потомок божественных Юлия и Августа, но потому, что он был воистину великим актером!

С такими стремлениями на первый взгляд никак не сочетается то, как обходились с публикой на его выступлениях. Но здесь, сдается, более всего разного рода анекдотов и вымыслов. Театры вмещали тысячи человек, цирки — десятки тысяч, и потому откуда взяться опасности для тех, кто не ходил на выступления Нерона? В Риме-то проживало много более миллиона человек… да и зачем держать публику в театре день и ночь? Нерон ведь не пел круглосуточно, а уверенность в том, что на следующее выступление августейшего артиста десятки тысяч римлян, безусловно, пожелают прийти сами без всякого понукания, была достаточно основательной. И уж совсем странным выглядят сообщения о репрессиях против тех, кто не одобрял пение Нерона. Как раз чернь, о чем тот же Тацит пишет, более всех была в восторге от императора-артиста. Расправляться же с мелким людом было совсем не в духе Нерона. Скажем прямо: быть сенатором, постоянно бывающим на Палатине, было в Риме во времена Нерона много опаснее, нежели скромным обитателем небогатых домов в Субурре, где как раз проживала в массе своей римская беднота, тот самый «мелкий люд». С ним Нерон никогда не воевал.

Напоследок нельзя не удержаться от, пожалуй, самого любопытного из исторических анекдотов, посвященных пению Нерона.

Однажды, когда Нерон пел в кругу своих приближенных, вдруг обнаружилось, что один из них, Тит Флавий Веспасиан, самым вульгарным образом заснул. Император пришел в ярость от такой непочтительности и, главное, от неспособности оценить подлинно высокое искусство. Злосчастному Веспасиану могла грозить серьезная опасность, ибо Нерон, очевидно, ощущал себя оскорбленным в лучших своих чувствах. Положение спас один находчивый придворный, который со смехом напомнил, что величайший певец Орфей своим пением тоже усыплял диких зверей. Прямое сравнение со славным Орфеем, сыном речного бога Эагра и музы — покровительницы эпической поэзии Каллиопы, с которым никто в мире не мог сравниться в искусстве пения, не могло не польстить Нерону. Он успокоился и решил великодушно простить невежу. Веспасиану, правда, было запрещено сопровождать и приветствовать императора и велено удалиться в дальний маленький городок. Но обида на него у Нерона все же прошла, свидетельством чего впоследствии стало новое и весьма высокое назначение Веспасиана.

Так своевременная острота спасла для истории будущего

императора и основателя династии Флавиев.

Страсть к публичным выступлениям у Нерона не ограничивалась только сценой театра. Арена цирка влекла его не меньше. Напомним, что искусство возницы квадриги — колесницы, запряженной четырьмя лошадьми, — Нерон ставил чрезвычайно высоко, памятуя и поясняя окружающим, что оно с древнейших времен было достойным занятием царей и героев.

Скачки были чрезвычайно популярны у римлян. Сложились четыре команды гонщиков — Зеленые, Синие, Красные и Белые. Каждая команда имела своих преданных постоянных поклонников. Нерон был верным поклонником Зеленых. Присутствуя на гонках в Большом цирке, он одевался в зеленые тона, а беговую дорожку при этом посыпали зеленой медной пылью.

Страсть к скачкам владела им с раннего детства. Хотя учителя пытались запретить ему постоянно говорить о скачках, он неустанно думал о них и только о них и вел разговоры. Однажды в цирке он стал свидетелем трагического происшествия: кони сбросили и проволокли по арене «зеленого» возницу, который при этом погиб. Маленький Нерон горько оплакивал смерть несчастного гонщика. Когда же учитель сделал ему замечание, то мальчик, поскольку ему запрещали чрезмерно увлекаться скачками, сказал, что плакал над судьбою Гектора — колесница влекла за собою тело несчастного возницы, как некогда Ахилл влачил убитого Гектора за своей колесницей.

Случай интересный вдвойне: в детстве Нерон был способен глубоко переживать чужую беду и жалеть трагически погибшего человека; в Троянской войне его симпатии при всей увлеченности эллинской культурой не на стороне греков-ахеян, но на стороне троянцев — ведь римляне их потомки! Потому-то Нерон и предпочитает Гектора Ахиллесу, наверняка действительно скорбя о его судьбе.

Увлечение Нерона скачками уже в сане цезаря подробно описано Светонием:

> «…Став императором, он продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости, и на все цирковые игры, даже самые незначительные, приезжал со своих вилл — сперва тайно, потом открыто, так что уже все знали, что в положенный день он будет в Риме. Он не скрывал намеренья увеличить число наград; поэтому заездов становилось все больше, скачки затягивались до вечера, и сами хозяева колесниц не соглашались выпускать своих возниц иначе, чем на

целый день. Потом он и сам пожелал выступить возницей, и даже всенародно: поупражнявшись в садах, среди рабов и черного народа, он появился на колеснице перед зрителями в Большом цирке, и какой-то его вольноотпущенник с магистратского места подал знак платком к началу скачек»[119]

Нерону нравилось находиться в центре внимания, самому участвовать в любых состязаниях. Он увлекался не только театром, пением под кифару, непростым ремеслом возницы, но и атлетизмом. Римляне, как уже говорилось, не очень-то почитали атлетические упражнения в гимнасиях, предпочитая им оттачивание воинского мастерства на Марсовом поле. Нерон же был постоянным посетителем гимнасия. Причем появления его там вовсе не были скрыты от глаз окружающих. Автор знаменитого романа «Жизнь Аполлония Тианского» Флавий Филострат (170–244 гг.), рассказывая о пребывании в Риме известного философа-киника Деметрия, сообщает, что когда тот однажды посетил гимнасий, то видел там Нерона, который, будучи в одной набедренной повязке — дань римским приличиям, поскольку греки упражнялись в атлетизме нагишом, — громко распевая, демонстрировал свою ловкость в выполнении различных физических упражнений.[120]

Театр, цирк, гимнасий — их справедливо будет считать не местами развлечений Нерона, но полем реализации его истинно глубоких пристрастий, каковые в жизни молодого цезаря занимали главенствующее место. Эта сторона жизни Нерона не заслуживает осуждения или брезгливой иронии. Многое здесь способно скорее вызвать уважение и свидетельствует о немалых человеческих достоинствах, об определенной одаренности, способности долго и напряженно работать над собой, развивать свои способности, профессионально совершенствоваться. Наконец, редкой во все времена решимости быть выше предрассудков своего времени, своего традиционного круга. Последнее, правда, современники чаще всего склонны расценивать как попрание исконных нравственных устоев, достойных традиций предков. Римляне в этом вовсе не были исключением.

Рассказ о служении Нерона музам будет неполным, если не коснуться еще одной творческой сферы, в каковой Нерон не достиг столь значительного совершенства как в искусстве артиста, но которая также относилась к числу любимых его занятий — поэзии.

Публий Корнелий Тацит оценил поэтические увлечения

Нерона не менее сурово, нежели его пристрастие к сценическим и цирковым выступлениям.

> «Но желая прославиться не только театральными дарованиями, император обратился также к поэзии, собрав вокруг себя тех, кто, обладая некоторыми способностями к стихотворству, еще не стяжал себе сколько-нибудь значительной славы. Пообедав, они усаживались все вместе и принимались связывать принесенные с собою или сочиненные тут, же строки и дополнять случайные слова самого императора. Это явственно видно с первого взгляда на эти произведения, в которых нет ни порыва, ни вдохновения, ни единства поэтической речи. После трапезы уделял он время и учителям философии, дабы позабавиться спорами между отстаивавшими противоположные мнения. И среди них не было недостатка в таких, кто своим глубокомысленным видом старался доставить императору подобные развлечения».[121]

Тацит не осуждает Нерона за обращение к поэзии. Он не был первым цезарем, к ней обратившимся. Известно, что стихи писал и сам божественный Август. Тиберий писал стихи и по-латыни, и по-гречески. Образцом поэзии для него служили стихи александрийских поэтов, а известно, что александрийский поэтический стиль почитался наиболее изысканным. Славились александрийские поэты и своей ученостью. За Нероном же Тацит никаких поэтических дарований не признает, полагая стихи императора всего лишь плодами стихоплетства его не шибко-то одаренных приятелей, складывающих некоторое стихотворное подобие на основе случайных слов псевдопоэта-императора.

Мнение Тацита не разделял Светоний, уверенно писавший, что Нерон *«обратился к поэзии, сочиняя стихи охотно и без труда. Не правы те, кто думает, будто он выдавал чужие сочинения за свои: я держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой, и видно было, что они не переписаны с книги или с голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись, — столько в них помарок, поправок и вставок. С немалым усердием занимался он также живописью и ваянием»*.[122]

Светоний имел доступ к императорским архивам, использовал их и потому его суждение представляется справедливым и обоснованным в отличие от явно предвзятой тацитовской оценки поэтического творчества Нерона.

Значит, Нерон был поэтом. Но насколько хорошим — легко и

охотно можно сочинять и слабые стихи, каковые никакие поправки и вставки не спасают, — мы не знаем, поскольку сочинения его не сохранились за исключением немногих случайных обрывков, а современники и римские авторы позднейшей эпохи, знакомые с творчеством Нерона, часто были к нему предвзяты. Уверенно можно утверждать, что стихи Нерона пользовались достаточной известностью. В биографии цезаря Вителлия Светоний рассказывает, как, овладев Римом, новый император сначала совершил поминальные жертвы по Нерону, а затем во дворце *«на праздничном пиру, наслаждаясь пением кифареда, он при всех попросил его исполнить что-нибудь из хозяина* (дворец был построен для Нерона), *и когда тот начал песню Нерона, он первый стал ему хлопать, и даже подпрыгивал от радости»*.[123]

Флавий Филострат сообщает, что Аполлоний Тианский проходил мимо уличного музыканта, исполнявшего песни Нерона, и едва не пострадал за то, что недостаточно восторженно рукоплескал.[124]

Если тексты самих стихов Нерона до нас не дошли, то сюжеты их известны. Мы знаем, что Нерон обладал развитым чувством юмора и потому неудивительно, что писал и шутливые стихи, высмеивая слабости и пороки окружающих. Иногда сатирические опыты Нерона могли иметь неожиданные последствия. Так, сенатор Афраний Квинциан стал инициатором крупнейшего заговора против императора. Тацит прямо утверждает, что *«Квинциан, ославленный из-за своей телесной распущенности и опозоренный Нероном в поносном стихотворении, хотел отомстить за нанесенное ему оскорбление»*.[125]

Здесь «жертва» Нерона сочувствия не вызывает, ибо осуждение и осмеяние телесной распущенности — дело вполне справедливое и Квинциан должен был бы исправить свое явно предосудительное поведение, а не обижаться на того, кто таковое осудил в своих стихах.

Легко, кстати, сделать вывод, что стихи были недурны и производили достаточно сильное впечатление, поскольку иначе не было бы столь сильной обиды.

Высмеивал Нерон не только современников-римлян, но и людей из иных земель и иных времен. У Светония мы читаем, что Нерон за пристрастие к управлению лошадиной упряжкой в одном стихотворении порицал царя Митридата».[126]

А вот это сообщение не может не вызвать законного недоумения. Во-первых, сам Нерон обожал править колесницей, а во-вторых, кто, если не он, объяснял Бурру и Сенеке свое пристрастие к искусству возницы ссылкой на примеры царей и

полководцев древности?

Митридат-то как раз царь, пусть и не самый древний. Может, из владык исторических Нерон признавал это право только за собою?

Посвящал Нерон стихи и событиям, с ним самим происшедшим. Так, известна строка: «Словно бы гром прогремел над землей!» — она единственная дошла до потомков из стихотворения, посвященного землетрясению, случившемуся во время первого публичного выступления Нерона в Неаполе.

Известен поэтический эпитет, каковой Нерон употребил, восхищаясь волосами своей возлюбленной Поппеи Сабины: «янтарный цвет». Одна из строк Нерона, посвященная перышкам голубка, взъерошенных ветром, была одобрена самим Сенекой, полагавшим ее изысканной.[127]

Уроки Сенеки, должно быть, отразились и в единственном дошедшем до нас трехстишии Нерона. В своем трактате «О природе» он писал, что река Тигр в середине своего течения постепенно иссякает, уходит под землю, где пропадает надолго, появляясь, наконец, на поверхность земли далеко от того места, где ушла под землю. Вот эти строки, к которым есть перевод одного из биографов Нерона А. С. Горского:[128]

> Quique perenratam subductus Persida Tigris deserit et longo terrarium tractus hiatus reddit quaestias iam non quaerentilus undas.
>
> Тайно влекомый, и Тигр покидает Персиду,
> Расселиной долгой поглочен, он возвращает
> Волы искомые тем, кто их уж не ищет.

Крупнейшим поэтическим произведением Нерона была поэма, посвященная гибели Трои. Для римского поэта, особенно после «Энеиды» Вергилия, сюжет достаточно традиционный, если не сказать избитый. Впрочем, все великие авторы античной эпохи писали свои произведения на известные всем мифологические сюжеты. Новизны фактологической никто от их произведений не ждал, важно было другое: как воплощен в новом исполнении всем известный знаменитый миф. Потому поэма Нерона вовсе не должна рассматриваться как некое подражание иным более известным поэтическим произведениям на троянскую тему. Поэт, драматург по античным представлениям имел право вносить свои поправки в известные мифы. Так, в первой части своей трилогии «Орестея» трагедии «Агамемнон» Эсхил изображает убийцей микенского царя, предводительствовавшего ахеянами под

стенами Трои, единственно супругу Клитемнестру. В традиционном же мифологическом рассказе Клитемнестра убивала Агамемнона с помощью своего любовника Эгисфа.

Свой взгляд на события Троянской войны был и у Нерона. Самым великим троянским воином у него представлен не традиционный Гектор, но брат его Парис, тот самый царевич Парис, кто присудил Афродите золотое яблоко как прекраснейшей из трех богинь, предпочтя ее Гере и Афине. Парис же, похитив прекрасную Елену, супругу спартанского царя Менелая, дал грекам повод к нападению на Трою. У Гомера Парис вовсе не является великим воином, хотя от его метко пущенной стрелы погибает уязвленный в пяту Ахиллес. И сам Парис погибает от стрелы, которой поражает его мститель — сын Ахиллеса Неоптолем.

В поэме Нерона Парис стал центральным пёрсонажем и храбрейшим из троянцев. Известно, что был в ней эпизод, где Парис на воинских состязаниях превзошел самого Гектора, приведя того в ярость.

Чем руководствовался Нерон в такой трактовке образов героев-троянцев, мы никогда не узнаем. Можно лишь предполагать, что образ Париса вдохновлял Нерона прежде всего потому, что без него не было бы и самой Троянской войны. Кроме того, он все же сразил Ахиллеса, победителя Гектора, отомстил за брата!

Заметим, однако, что Ювенал, явно не одобряя написание Нероном «Троады», ни слова не говорит о ее поэтической слабости. Так что, возможно, «Троада» была и недурна.

«Троада» вдохновила Нерона на совершенно грандиозный замысел стихотворной эпохи, долженствующей прославить все великие деяния римлян. Осуществление замысла требовало продолжительных трудов, и число книг могло здесь исчисляться сотнями. Когда в окружении участников своих традиционных уже бесед на поэтические и философские темы Нерон высказал волнение по поводу невиданных объемов задуманного им великого труда, один из льстецов посоветовал написать четыреста книг. Но тут же другой собеседник императора философ-стоик Аней Корнут, прибывший в Рим из города Лептис, что в Северной Африке, непочтительно заметил, что столько никто не прочтет. Дабы сгладить неловкость, последовало замечание, что философ-стоик Хрисипп написал куда больше. Однако упорствующий в своем неверии в величие замысла Нерона Корнут совеем уже бестактно заявил: *«Но от них людям есть польза в жизни»*.[129]

Нерон отправил несдержанного на язык философа в изгнание, но Аней Корнут своим ответом стяжал себе славу на

века. Собственно, этим он и вошел в историю. Ради оставления своего имени в памяти человечества стоило пережить какую-то пустячную ссылку! Написанные по-гречески труды философа-стоика особой славы ему не принесли, но и эти труды он смог написать и издать исключительно благодаря поддержке Нерона. [130]

К поэмам Нерона порой относят песни, посвященные Аттису и вакханкам. Однако Дион Кассий, сообщающий, что Нерон пел «Атгиса» и «Вакханок», ни слова не говорит о его авторстве.

Петь Нерон мог на самые разные темы. Учитывая продолжительность его пения и завидную регулярность выступлений, мы вправе предположить, что исполняемые им песни охватывали многие десятки, если не сотни мифологических сюжетов и вовсе не обязательно было императору ограничиваться песнопениями собственного сочинения. Выбор сюжетов об Аттисе и Орфее не представляется случайным. Их часто использовали поэты Александрийской школы, высоко ценимой Нероном. Кроме того, его могла привлекать необычность самих повествований, поскольку сюжеты эти трагичны, кровавы и посвящены ярким проявлениям самых сильных чувств.

Миф об *Аттисе* рассказывал о прекрасном юноше, в которого была влюблена сама великая богиня Кибела, культ которой пришел в Рим из малазийской области Фригия еще во время войны с Ганнибалом. Кибела была великой и грозной богиней, почитавшейся матерью богов. Узнав, что Аттис изменил ей, влюбившись в прекрасную ручную нимфу, она в гневе покарала его безумием, и потерявший разум юноша оскопил себя в канун собственной свадьбы с возлюбленной.

Миф об *Орфее* и вакханках повествовал о несравненном певце и музыканте, который тяжело переживал смерть своей горячо любимой жены Эвридики, погибшей от укуса змеи. Отчаявшись вернуть ее из царства мертвых, Орфей так глубоко скорбел, что стал совершенно равнодушен ко всем другим женщинам. Вакханки — женщины, справлявшие веселый праздник Вакха, покровителя всяческого веселья, возмущенные его равнодушием к женской красоте и полагая несчастного скорбящего вдовца просто ненавистником женщин, буквально растерзали его, разорвав на части. Сама природа горько оплакивала Орфея, его золотую лиру боги поместили на небе — вот происхождение созвездия Лиры. Душа Орфея в обители мертвых встретила душу Эвридики, и с той поры они были уже неразлучны в царстве теней.

Будучи сам поэтом, Нерон достаточно великодушно относился к собратьям по перу, писавшим злые стишки, прямо направленные против него. А стишки-то были беспощадны и

касались самых болезненных для Нерона событий. Вспомним хотя бы одно двустишие, где Нерон сопоставлялся с матереубийцами Орестом и Алкмеоном, другое, где он противопоставлялся Энею, поскольку тот спаситель отца, а Нерон — погубитель матери. Были двустишия, напоминавшие о неудачах Рима в войне с Парфией, причиной которых прямо называлось пристрастие Нерона к струнным инструментам.

> Наш напрягает струну, тетиву напрягает парфянин:
> Феб песнопевец — один, Феб дальновержец — другой.

Здесь присутствует и издевка над поклонением Нерона Фебу-Аполлону. Император видит в нем только песнопевца, забывая об умении солнечного бога посылать и убийственные стрелы.

Не пощадила поэтическая сатира и строительства Нероном невиданного дотоле по своим размерам императорского дворца. Жителям Рима в этом стишке предлагалось поспешать в находившиеся неподалеку от столицы Вейи, поскольку сам Вечный город уже превратился во дворец:

> Рим отныне — дворец! Спешите в Вейи, квириты,
> Если и Вейи уже этим не стали дворцом.

Насмешки, что и говорить, презлые, бьющие не в бровь, а в глаз. Однако Нерон не приказывал разыскивать сочинителей возмутительных виршей. А по свидетельству Светония, когда на некоторых из них поступил донос в сенат, то он запретил подвергать виновных строгому наказанию.[131]

Что на самом деле крылось за этим великодушием? Нерон действительно мог рассуждать, что расправляться поэту с поэтами негоже. Кроме того, он и сам был мастер сочинять острые стишки, ядовито высмеивающие окружающих. Надо помнить, что в римской традиции стишки и песенки, высмеивающие высокопоставленных лиц, имели многовековую историю. Солдаты, проходившие по улицам Рима в триумфальном шествии, открыто высмеивали своего полководца в самых непочтительных выражениях. Великий Гай Юлий Цезарь в своем триумфе «удостоился» от легионеров и напоминания о своей постыдной связи с царем Вифинии Никомедом, и о растраченных им деньгах, занятых в Риме, и, наконец, был припечатан характеристикой «лысого развратника», от какового добродетельным римлянам стоит прятать своих жен.

Едва ли такая традиция для римлян ограничивалась только

триумфальными шествиями победоносных полководцев. И даже закон Тиберия «Об оскорблении величества» — «Crimen laesi maiestatis» — не мог переломить сознание римлян, тем более что Нерон совершенно явно пренебрегал законом преемника Августа. Обещал-то он править как раз в духе Августа, но никак не Тиберия.

Нерон был совершенно беспощаден к тем, в ком видел опасность для себя. Таковыми в первую очередь были знатнейшие римляне, реально способные составить заговор с целью устранения неугодного им принцепса и замены его другим, более подходящим для них кандидатом в цезари. Сочинители же самых ядовитых двустиший были, безусловно, людьми не знатными, заговоров не устраивали, никаких претендентов на императорский престол не выдвигали. А то, о чем они говорили в стихах, все равно все знали — этого Нерон не мог не понимать. Потому он мог оставить без сурового наказания не только кем-то сочиненные и кем попало, где угодно распеваемые песенки, но и прямые оскорбления, совершенные при нем, даже брошенные ему в лицо. Пишет Светоний:

> «Однажды, когда он проходил по улице, киник Исидор громко крикнул ему при всех, что о бедствиях Навилия (греческий воин, несправедливо обреченный на смерть — жертвоприношение — во время Троянской войны. — И. К.) он поет хорошо, а с собственными бедствиями справляется плохо; а Дат, актер из Ателланы, в одной песенке при словах: «Будь здоров, отец, будь здорова, мать, показал движениями, будто он пьет и плывет, заведомо намекая при этом на гибель Клавдия и Агриппины, а при заключительных словах — «К смерти путь ваш лежит!»— показал рукою на сенат. Но и философа, и актера Нерон в наказание лишь выслал из Рима и Италии — то ли он презирал свою дурную славу, то ли не хотел смущать умы признанием обиды».[132]

Добавим, что в первом случае Нерон мог как поэт оценить по-своему эффектный каламбур, а во втором случае слова о том, что к смерти лежит путь сенаторов, могли ему даже импонировать, поскольку он давно уже не испытывал никакого почтения к сенату, а среди самих «отцов отечества» вправе был предполагать немалое число опасных для себя людей.

Возвращаясь к великодушию Нерона в отношении сочинителей порочащих его стишков должно заметить, что таковое могло объясняться и тем, что как поэты эти люди не

представляли собою ничего значительного и потому не могли вызывать сколь-либо сильных чувств у императора, покровителя искусств.

Покровительство поэзии было одной из заметных черт времени царствования Нерона. Вопреки злым и явно несправедливым утверждениям Тацита, что поэтическое окружение Нерона составляли люди, лишенные порыва и вдохновения, неспособные к единству поэтической речи, на самом деле молодого цезаря окружали незаурядные мастера поэтического слова, включая имена, составившие славу не только греко-римской, но и мировой культуры. Долгие годы в литературном окружении Нерона царил великий Петроний, автор блистательного «Сатирикона», одного из самых замечательных произведений античной литературы. Он удостоился от Нерона почтительного титула: «Arbiter Elegantiarum» — «законодатель изящного вкуса». Рядом с Нероном творил высокоталантливый поэт Лукан, автор поэмы «Фарсалия», посвященной памятным для римлян событиям войны между Цезарем и Помпеем, когда в битве при Фарсале решалось, кому из них владычествовать в Риме. Достойны упоминания такие поэты, как Луцилий, Леонид Александрийский. Первый был более всего знаменит своим остроумием, грек Леонид воплощал высокую гармонию прославленного александрийского стиха.

К кругу поэтических друзей Нерона принадлежал и молодой сатирик, бичевавший пороки своего времени, Персий Флакк. И конечно же, всю литературную жизнь той эпохи осенял своим величием Сенека, философ, поэт, творец трагедий, чью значимость как мыслителя и мастера слова не может умалить его сомнительнейшее с нравственной точки зрения участие в политических интригах эпохи.

Поэты высоко ценили покровительство Нерона литературе. Луцилий в одном из своих стихотворений прямо писал, что без денег, коими цезарь одарил его, он бы попросту пропал. Лукан в поэме, посвященной гражданской войне, полностью оправдывал братоубийственное кровопролитие, ибо конечным следствием его стал принципат Нерона в Риме. Он ведь один из потомков великого Юлия, исторический наследник его победы.

Нерону столь незаурядное, подлинно сверкающее талантами окружение было, конечно же, приятно. Его артистическая натура наслаждалась таким общением. Да и кто из его предшественников мог похвалиться таким кругом друзей?

Во времена Августа в римской литературе царили подлинно великие имена — Вергилий, Гораций, Овидий. Но покровителем искусств был не сам император, от его имени таковым был

приближенный Меценат. Ему-то и досталась на все времена слава величайшего благодетеля служителей муз, сделавшая его имя нарицательным. Великие имена «золотого века» римской литературы не составляли ближнего круга друзей Августа, и здесь Нерон вправе был ставить себя выше основателя принципата! Не случайно потому Лукан, в то время любимец Нерона, своей «Фарсалией» прямо бросал вызов самому Вергилию, автору бессмертной «Энеиды».

В то же время взаимоотношения в литературном кружке Нерона были далеки от идиллических. Нерон был чрезвычайно ревнив к достижениям других в тех видах деятельности, какие он полагал главными в своей жизни. Он совершенно не завидовал военной славе Александра Македонского или Гая Юлия Цезаря, слава великого устроителя дел государства, каковая сопутствовала Августу, также не была предметом его мечтаний. А вот ревность и зависть к людям искусства, превосходившим его одаренностью, — это было присуще Нерону и многократно проявлялось в его жизни. Вспомним и сообщение Светония о его приказе разрушить и подвергнуть глумлению статуи победителей состязаний певцов-кифаредов былых времен! Не выдержал он и присутствия рядом с собой явно более высокого, нежели его собственное, поэтического дарования Лукана.

Однажды во время одной из традиционных встреч поэтов литературного кружка Нерона Лукан декламировал свое лучшее сочинение, посвященное гражданской войне. Поэт бросал вызов Вергилию, но задели его высокоталантливые строки не покойного творца «Энеиды», а действующего императора. Слушая чтение Лукана и видя, какое впечатление оно производит на присутствующих, Нерон настолько возревновал к несравненно более высокому поэтическому дару, нежели его собственный, что повел себя резко и откровенно недоброжелательно. Он объявил, что срочно созывает заседание сената и под этим явно надуманным предлогом покинул чтения, тем самым сорвав их. Более того, Нерон даже не позаботился о каком-либо правдоподобии изобретенного им предлога для ухода. Всем стало известно, что никакого заседания сената так и не состоялось, а император просто вышел освежиться.

Тонкая поэтическая душа Лукана не выдержала столь явного пренебрежения к его дару и с того дня из восторженного почитателя Нерона Лукан становится его ярым ненавистником. В прологе «Фарсалии» Лукан прямо сравнивал Нерона с Юлием Цезарем, предрекая, что Нерону суждено воздвигнуть свой небесный чертог близ созвездия Близнецов, в летнем доме Солнца, то есть стать звездою после смерти, превратившись в

бога. Так, после гибели Цезаря утверждалось, что на небе появилась яркая звезда, каковой была душа великого Юлия, ставшего богом. А в книге VII «Фарсалий» он уже предрекал, что боги накажут римлян помутнением рассудка — таковым Лукану уже представляется время правления недавно обожаемого Нерона. Более того, если поначалу Лукан оправдывал гражданскую войну, поскольку ее итогом стало правление династии Юлиев-Клавдиев, венчающееся Нероном, то затем его любимым героем вдруг становится Марк Юний Брут, убийца Цезаря.

Ненависть к Нерону заходит у Лукана столь далеко, что начинает проявляться в убого вульгарном виде. Чего стоит цитирование им строки Нерона «Словно бы гром прогремел над землей!» в общественной уборной!

Такое озлобление объясняют и тем, что в это время состоялась отставка Сенеки, а поскольку Лукан был его племянником, то он не мог не быть огорчен этим событием и перейти в оппозицию Нерону.[133] Но не могла опала дядюшки так потрясти Лукана. Для поэта, поэта истинного, а Лукан подлинно великий поэт, оскорбление его таланта во сто крат непростительнее любых политических обид.

Тем не менее, хотя до Нерона не могли не доходить сообщения о разного рода дерзких выходках Лукана и его непочтительных высказываниях в адрес императора и поэтических намеках, он не предпринимал никаких мер против непокорного поэта. Лукана погубит не словесная и поэтическая оппозиция, но прямое причастие к заговору против Нерона. Но это уже не взаимоотношения императора и поэта…

Глава IV
Нерон развлекается

Если артистические и спортивные занятия Нерона нельзя считать предосудительными, пусть они и далеко выходили за рамки традиционной римской морали, то развлечения молодого императора — а до зрелых лет дожить ему было не суждено — оставили у современников и у потомков однозначно мрачные воспоминания.

Любовь к удовольствиям, доставляемым разного рода развлечениями, к радостям жизни почиталась людьми античной эпохи делом обыкновенным и совершенно естественным. Филеб — любитель удовольствий, непременный участник философских сократических диалогов, в которых упражнялись мудрецы Греции и Рима. Он олицетворял в них весьма важный взгляд на смысл жизни и никогда не выглядел персонажем сугубо отрицательным. Люди античности осуждали ненасытные желания, но разумное, умелое использование данного человеку дара жизни с тем, чтобы провести его с наибольшим доступным удовольствием, никогда за порок не почитали.

Нерон, обладавший, как и все люди искусства, неспокойной натурой, был совсем не чужд жизненных удовольствий и любил развлекаться. С ранних лет зная о своих возможностях в этой приятнейшей из жизненных сфер, каковые ранг пасынка цезаря, а вскоре и обретенная власть цезаря ему предоставляли, он никогда не стремился себя особо в чем-то ограничивать. Будучи учеником философа и потому наверняка знакомый с наиболее известными философскими сочинениями мыслителей прошлого, Нерон мог в них немало почерпнуть для убежденности в своем неотъемлемом праве получать любое удовольствие, не очень-то сообразуя их с общественными нравами и устоями. Как-никак, но в знаменитом диалоге «Горгий», написанном самим Платоном, один из диспутантов, некто Калликл, утверждал, что *«от природы прекрасно и справедливо, чтобы сильный человек ни в нем не сдерживал себя, чтобы он удовлетворял свои желания».* Отсюда *«своеволие, необузданность и свобода — вот в чем заключается добродетель и счастье».*[134] Конечно, слова Калликла не стоит отождествлять со взглядами самого Платона, но то, что они могли на многих производить впечатление и формировать их жизненную позицию, несомненно.

Мы не можем знать, насколько Нерон был знаком со многими выводами греческих софистов. Но учитывая получение им

определенных начатков философских знаний, да еще под руководством великого знатока этой науки, можно предполагать, что, будучи поклонником греческой цивилизации, Нерон мог многое усвоить из трудов греческих мыслителей, что соответствовало его собственным представлениям о жизни. Нерон явно почитал себя сильной личностью. В силу, правда, властных возможностей, но не действительных черт характера. Время покажет, сколь сильно он в этом заблуждался.

Сильная личность по представлениям философов-софистов совсем не обязательно должна была ограничивать свои желания людскими законами. Софист Гиппит из Элиды полагал закон тираном для людей, который сдерживает их, заставляя поступать вопреки природе. Подобный взгляд четко сформулирован другим известным философом-софистом Горгием из Леонтины:

> «Ведь таков закон природы, что более сильное не может быть удержано более слабым, но более слабое подчиняется более сильному и им управляется, более сильное руководит, и более слабое следует за ним».

Справедливо отнести эти слова к обоснованию права сильного человека на власть, согласно природе.[135] Но можно истолковать их и в бытовом смысле, как право на получение любых жизненных удовольствий сильным человеком, не считаясь с мнением или интересами более слабых окружающих.

Такая позиция решительно противоречила одному из важнейших постулатов римского общества: «Dura lex, sed lex!» — «Суров закон, но закон!» Но, как мы знаем, для Нерона сковывающие его римские традиции и даже законы там, где дело касалось его личного интереса, мало что значили.

При всем почтении к интеллектуальным достижениям Луция Аннея Сенеки считать его даровитым воспитателем не приходится. Во все времена суть воспитания сводилась к тому, чтобы развить в воспитуемом добрые начала, подавить по возможности дурные наклонности. Если верить Диону Кассию, то в случае с воспитанием Нерона Сенека и его помощники пошли по совершенно противоположному пути и потому не следует удивляться весьма печальным итогам их воспитательной деятельности:

> «Они предоставили Нерону возможность отдаться страстям для того, чтобы, утолив их без чрезмерного ущерба для государства, он изменил затем образ жизни. А то что душа молодого человека, предоставленная себе самой и подталкиваемая к

> удовольствиям и распутству, оставшись без порицания, не только не может никогда насытиться, но останется навсегда ими испорченной, — они игнорировали… Нерон посещал пирушки, чревоугодничал, пьянствовал, вступал в беспорядочные любовные связи и, видя, что дела государства идут одинаково хорошо, пришел к убеждению, что это было именно то, что от него хотели, и уже без удержу отдался все возрастающему разврату». [136]

Надежды Сенеки на то, что Нерон, пресытившись разгулом в юные годы, затем отринет порочный образ жизни и сам обратится в добродетели, оказались наивными. О результатах воспитания и о нравственных убеждениях взрослого Нерона мы лучше всего можем судить со слов Светония:

> «От некоторых я слышал, будто он твердо был убежден, что нет на свете человека целомудренного и хоть в чем-нибудь чистого и что люди лишь таят и ловко скрывают свои пороки, поэтому тем, кто признавался ему в разврате, он прощал и все остальные грехи». [137]

Роковым образом на нравственности Нерона сказался и ранний неудачный брак. Став в пятнадцатилетием возрасте супругом тринадцатилетней Октавии, Нерон ни дня не был счастлив в этом навязанном ему браке. Будучи еще ребенком, несчастная девочка никак не соответствовала чувственному молодому супругу. Любви между ними не было и быть не могло, и потому страсть Нерона к чувственным утехам реализовывалась в разврате. Привыкнув с юных лет к такому образу жизни, он и повзрослев уже не мог измениться. И это при том, что по природе своей Нерон был способен на глубокое чувство к женщине, о чем прямо свидетельствуют и его отношения с Ахте, и пылкая, с годами не ослабевающая любовь к Поппее Сабине.

Не зря говорится, что привычка — вторая натура. Даже самая большая любовь не могла заставить Нерона отказаться от привычки к разврату. Дело здесь даже не в обостренной чувственности его артистической натуры, но в полном неприятии каких-либо нравственных ограничений. Похоже, Нерон в самом деле был убежден, что все люди подобным образом порочны. Вернее сказать, он не считал порок пороком, а полагал его нормой жизни. Этим он радикально отличался от своих предшественников. Тиберий до старости умело скрывал свои пороки и, когда старческая похоть вконец овладела им, удалился на остров Капрею, дабы было как можно меньше свидетелей его

развратных наклонностей.

Гай Калигула и его чудовищный разврат — очевидная патология. Но ведь и она замыкалась, прежде всего, в пределах императорского дворца на Палатине. Похождения же Нерона очень быстро стали достоянием не только его окружения…

> «Пиры он затягивал с полудня до полуночи, время от времени освежаясь в купальнях, зимой теплых, летом холодных; пировал он и при народе, на искусственном пруду или в Большом цирке, где прислуживали проститутки и танцовщицы со всего Рима. Когда он проплывал по Тибру в Остию или по заливу в Байи, по берегам устраивались харчевни, где было все для бражничанья и разврата и где одетые шинкарками матроны отовсюду зазывали его причалить».[138]

Справедливости ради заметим, что Нерон вовсе не был одинок в своих похождениях. Было много желающих ему сопутствовать, а переодетые матроны вовсе не по принуждению зазывали к себе веселых путников.

Греческие пристрастия проявились и в сексуальной жизни Нерона — он не пренебрегал и однополой любовью, каковая в Греции и эллинском мире не вызвала осуждения. Более того, греки были склонны насаждать эту не лучшую сторону своей цивилизации и среди соседних народов. Современник Нерона, известный философ I века Дион Хрисостом (Златоуст), оказавшийся в правление Домициона (81–96 гг.) в городе Ольвии на берегах Понта Эвксинского, то есть на самой окраине греческого мира, писал о нравах ее жителей, которых он именовал борисфенитами, по имени реки Борисфена, нынешнего Днепра, протекавшего невдалеке от этой греческой колонии:

> «Этот обычай — любовь к юношам — борисфениты унаследовали от коренных уроженцев своей греческой метрополии, по-видимому, они и некоторых варваров приучили к тому же, — конечно же, не к их благу, — тем более что варвары переняли это на свой варварский лад, в грубоватой форме».[139]

Что ж, если даже скифы, кочевавшие в степях Северного Причерноморья, воспринимали необычные сексуальные пристрастия эллинов, то что уж говорить о Риме, который еще во II веке до новой эры был покорен покоренной Грецией?

Римляне все же не почитали такую связь как истинную любовь. В верхах римского общества такого рода отношения

почитались позорными. Сам Гай Юлий Цезарь претерпел немало издевок и насмешек за юношеское «приключение» с царем Вифинии Никомедом. Тиберий до старости скрывал свои пристрастия к отрокам. Нерон первый в Риме не просто возвел их в норму, но и сделал это столь демонстративно, что шокировал римлян всерьез и надолго. Мало того, что он, по словам Светония, жил «со свободными мальчиками», он *«мальчика Спора сделал евнухом и даже пытался сделать женщиной: он справил с ним свадьбу со всеми обрядами, с приданым и факелами, с великой пышностью ввел в свой дом и жил с ним как с женой. Еще памятна чья-то удачная шутка: счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена! Этого Спора он одел, как императрицу, и в носилках возил его с собой и в Греции по собраниям и торжищам, и потом в Риме по Сигилляриям, то и дело его целуя»*.[140]

Впрочем, женитьбе на мальчике предшествовало «замужество». После роскошного празднества, устроенного ему префектом претория Тигеллином в 64 году, он совершенно потряс римлян.

Обратимся к Тациту, оставившему подробнейшее описание этого невиданного дотоле праздника и его неожиданного финала:

> «Стараясь убедить римлян, что нигде ему не бывает так хорошо, как в Риме, Нерон принимается устраивать пиршества в общественных местах, и в этих целях пользуется всем городом, словно своим домом. Но самым роскошным и наиболее отмеченным народной молвой был пир, данный Тигеллином, и я расскажу о нем, избрав его в качестве образца, дабы впредь освободить себя от необходимости описывать такое же расточительство. На пруду Агриппы по повелению Тигеллина был сооружен плот, на котором и происходил пир, и который все время двигался, влекомый другими судами. Эти суда была богато отделаны золотом и слоновою костью, и гребли на них распутные юноши, рассаженные по возрасту и сообразно изощренности в разврате. Птиц и диких зверей Тигеллин распорядился доставить из дальних стран, а морских рыб — от самого Океана. На берегах пруда были расположены лупанары, заполненные знатными женщинами, а напротив виднелись нагие гетеры. Началось с непристойных телодвижений и плясок, а с наступлением сумерек роща возле пруда и окрестные дома огласились пением и засияли огнями. Сам Нерон предавался разгулу, не различая дозволенного и недозволенного; казалось, что

> не остается такой гнусности, в которой он мог бы высказать себя еще развращеннее, но спустя несколько дней он вступил в замужество, обставив его торжественными свадебными обрядами, с одним из толпы этих грязных распутников (звали его Пифагором); на императоре было огненно-красное брачное покрывало, присутствовали присланные женихом распорядители; тут можно было увидеть приданое, брачное ложе, свадебные факелы, наконец, все, что прикрывает ночная тьма и в любовных утехах с женщиной».[141]

Светоний описывает историю с «замужеством» Нерона несколько иначе, называя «супруга» другим именем:

> «А собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член остался неосквернённым. В довершение он придумал новую потеху: в звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору: за этого Дорифора он вышел замуж, как за него — Спор, крича и вопя, как насилуемая девушка».[142]

При ряде расхождений Светоний и Тацит совершенно едины в главном: развращенность Нерона не знала границ. Собственно, Нерон был не развратнее Калигулы или Тиберия в старости, но так выставлять на публику свой разврат — в этом было что-то новое для римлян, хотя преувеличивать их потрясение таким наглядным повреждением нравов не стоит. Празднества Нерона не вызвали каких-либо видимых протестов современников. Великолепная шутка относительно того, сколь счастливы были бы римляне, когда б отец Нерона заключил однополый брак, — свидетельство остроумия, но не глубокого возмущения. Опять-таки массовость участия в таком празднестве и отсутствие явного общественного осуждения говорит о том, что многим происходившее доставляло удовольствие. Во всяком случае, возмутительных виршей на тему развратных развлечений Нерона современники почему-то не оставили. Должно быть, это и есть наиболее убедительное свидетельство общего падения нравов в Риме эпохи цезарей.

Некогда Цицерон воскликнул: «O temporal O mores!» — «О времена! О нравы!» Тогда это эффектнейшее заявление, кстати, вовсе не относилось к нравам римлян. Великий оратор всего

лишь возмущался тем, что ненавистный ему Луций Сергий Каталина до сих пор не осужден как преступник, хотя иных доказательств его преступности кроме совершенно голословных обвинений из уст Цицерона и не было. А вот ко времени Нерона знаменитые слова Марка Туллия как раз подходили по существу.

Поразил римлян молодой Нерон и другими своими развлечениями. Они были много удивительнее для них, нежели самый оголтелый разврат. Употребляя современную терминологию, их следовало бы именовать злостным хулиганством. Эти проявления буйства беспокойной натуры восемнадцатилетнего Нерона подробно описаны как Тацитом, так и Светонием и, подобно описанию ими же безобразий Нерона в сфере сексуальной, очень хорошо согласуются, что свидетельствует об их подлинности.

> «В консульство Квинта Велузия и Публия Сципиона (56 г. — И. К.) на границах Римского государства царили мир и покой, а в самом Риме — отвратительная разнузданность, ибо, одетый, чтобы не быть узнанным, в рабское рубище, Нерон слонялся по улицам города, лупанарам и всевозможным притонам, а его спутники расхищали выставленные на продажу товары и наносили раны случайным прохожим, до того неосведомленным, кто перед ними, что и самому Нерону порою перепадали в потасовках удары и на его лице виднелись оставленные ими следы. В дальнейшем, когда открылось, что бесчинствует не кто иной, как сам цезарь, причем насилия над именитыми мужчинами и женщинами все учащались, и некоторые, поскольку был явлен пример своеволия, под именем Нерона принялись во главе собственных шаек безнаказанно творить то же самое, Рим в ночные часы уподобился захваченному неприятелем городу. Принадлежавший к сенатскому сословию, но еще не занимавший магистратур Юлий Монтан как-то в ночном мраке наткнулся на принцепса, но, узнав Нерона, стал молить о прощении, что было воспринято как скрытый укор, и Монтана заставили лишить себя жизни. Впредь Нерон, однако, стал осторожнее и окружил себя воинами и большим числом гладиаторов, которые оставались в стороне от завязывавшейся драки, пока она не отличалась особой жестокостью, но, если подвергшиеся нападению начинали одолевать, брались за оружие. Попустительством и даже прямым поощрением Нерон

превратил необузданные выходки между поклонниками того или иного актера в настоящие битвы, на которые взирал таясь, а чаще всего открыто, пока для пресечения раздоров в народе и из страха перед еще большими беспорядками не было изыскано целебное средство, а именно все то же изгнание из пределов Италии вызывавших распри актеров и возвращение в театр воинских караулов» — так писал о развлечениях восемнадцатилетнего Нерона Тацит.[143]

А вот описание тех же событий у Светония:

«Наглость, похоть, распущенность, скупость, жестокость его поначалу проявлялись постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения, но уже тогда всем было ясно, что пороки эти — от природы, а не от возраста. Едва смеркалось, как он надевал накладные волосы или войлочную шляпу и шел слоняться по кабакам или бродить по переулкам. Забавы его были небезобидны: людей, возвращавшихся с ужина, он то и дело колотил, а при сопротивлении наносил им раны и сбрасывал их в сточные канавы; в кабаки он врывался и грабил, а во дворце устроил лагерный рынок, где захваченная добыча по частям продавалась с торгов, а выручка пропивалась. Не раз в таких потасовках ему могли выбить глаз, а то и вовсе прикончить: один сенатор избил его чуть не до смерти за то, что он пристал к его жене. С этих пор он выходил в поздний час не иначе, как в сопровождении войсковых трибунов, неприметно держащихся в стороне. Иногда и средь бела дня он в качалке тайно являлся в театр и наблюдал распри из-за пантомим, а когда дело доходило до драк и в ход пускались камни и обломки скамеек, он сам швырял в толпу чем попало и даже проломил голову одному претору. Когда же постепенно дурные наклонности в нем окрепли, он перестал шутить и прятаться, и бросился уже не таясь в еще худшие пороки».[144]

Расходятся здесь римские историки только в одном: Тацит называет имя человека, сильно толкнувшего Нерона, опознавшего цезаря и неосторожно признавшегося в этом, да еще и попросившего прощения. За это Юлия Монтана принудили покончить с собой. У Светония речь идет о покушении на Нерона за честь жены не названного по имени сенатора, который за это

неузнанного Нерона совершенно справедливо крепко оттузил. Из текста следует, что никакого наказания здесь не последовало, наверное, потому, что Нерон не пожелал явно постыдной для себя огласки. Но то, что речь у обоих авторов идет об одном и том же случае, — очевидно. Именно после него, сообщают и Тацит, и Светоний, Нерон стал выходить на ночные похождения в сопровождении вооруженной охраны. Кто из историков более точен в пересказе эпизода с оказанием сопротивления Нерону — определить невозможно. В любом случае Нерон выглядит отвратительно, но у Тацита ему свойственна еще и злобная мстительность, следствием каковой является гибель злосчастного Юлия Монтана.

Когда читаешь об уличных похождениях молодого Нерона, непременно вспоминаешь, что в истории он совсем не одинок. На протяжении веков немало монархов, даже в более солидном возрасте, но чаще все же в таком же юном, жестоко безобразничали на ночных улицах своих столиц, доставляя множество неприятностей своим ни в чем не повинным подданным. Гарун аль-Рашид, прогуливавшийся по ночному Багдаду в переодетом виде и совершавший добрые дела, — историческое исключение. Обычно монархи-гуляки вели себя в подобных случаях просто отвратительно. Вовсе не обязательно думать, что они здесь старались уподобиться Нерону, хотя иные были начитаны и могли знать о его ночных похождениях в молодые годы. Скорее их вдохновляли на сомнительные «подвиги» те же чувства, что и римского цезаря: жажда острых ощущений, желание дать выход переливающейся через край юношеской энергии, каковую в дневное время так сковывали придворные условности, и, главное, упоение своей безнаказанностью. Последнее — главное и самое постыдное во всех подобных историях во все времена.

Можно привести наиболее знаменитые исторические анекдоты о монархах — ночных проказниках. Проспер Мериме в самой знаменитой своей новелле «Кармен» рассказывает о кастильском короле Педро Жестоком, который обожал шататься по ночной Севилье в поисках приключений и однажды даже совершил убийство. Король, однако, был опознан одной старушкой, бывшей случайной свидетельницей трагедии и сообщившей об этом начальнику ночной стражи. Когда тот докладывал королю о ночном происшествии, то Педро Жестокий как ни в чем не бывало потребовал покарать убийцу по закону, то есть обезглавить. Остроумный и смелый начальник стражи буквально исполнил королевский указ: на месте преступления была выставлена отпиленная голова королевской статуи.

Согласно народному преданию, король оценил поступок находчивого стража закона и не покарал его за очевидную дерзость.

Развлекался ночными прогулками по Парижу инкогнито французский король Карл IX, правда, главное свое ночное действо он совершил в ночь на 24 августа 1572 года в канун праздника святого Варфоломея…

«Последний викинг», воинственный шведский король Карл XII, до того как обнаружил в себе талант великого полководца, обожал, пропьянствовав день, бродить по ночному Стокгольму, бить стекла и пугать спящих горожан, что можно считать относительно безобидным развлечением.

За разбитие оконных и витринных стекол средь бела дня в начале XIX века в столице подвластного Французской империи Наполеона I королевства Вестфалии был задержан сильно нетрезвый человек. К изумлению полицейских он оказался… королем Вестфалии Жеромом Бонапартом, родным братом великого императора.

Подобных примеров можно привести еще немало. Получается, что Нерона должно считать своего рода зачинателем традиции хулиганских выходок монарших особ на улицах своих столиц на протяжении по меньшей мере восемнадцати столетий.

Если обратиться к истории театральных побоищ, то здесь тоже легко увидеть первое историческое проявление буйств поклонников тех или иных артистов, тех или иных спортивных команд, от которых будут временами стонать не только стадионы, но и города Европы и Латинской Америки уже в XX и XXI веках. Впрочем, такая историческая преемственность деяний молодого Нерона вовсе не оправдывает.

Стоит подчеркнуть, что уличные ночные буйства молодого Нерона происходили в самые лучшие годы его правления, традиционно именуемые «золотым пятилетием». Империя тогда действительно процветала, и римляне не воспринимали трагически прескверное ночное поведение нового цезаря. Советники принцепса уверенно держали в руках кормило власти, должным для державы образом его направляя. Потому-то выходки Нерона не воспринимались еще как хотя бы та самая ложка дегтя, способная испортить бочку меда. Да и были они недолги. Вскоре, пресытившись ночными похождениями на улицах Рима, Нерон предпочел им любовные утехи в покоях Палатинского дворца, в чем много более преуспел. Сенека и Бурр, фактические правители Римской империи в эти годы, вполне удовлетворялись невмешательством Нерона в государственные дела и его послушному следованию в таковых их премудрым советам. В

отличие от стороны нравственной на то они не обращали должного внимания.

Подвергать сомнению подлинность исторических сведений о безнравственном характере развлечений Нерона не приходится. То, что сообщают Дион Кассий, Тацит и Светоний, прекрасно согласуется и выстраивается в достаточно четкую и ясную картину. Отдельные факты, правда, могут вызвать сомнение. Сложно поверить в изнасилование Нероном весталки Рубрии, о чем сообщает Светоний.[145] Такое поругание жрицы богини Весты влекло за собой не только кару самой весталки, каковую подлежало заживо поместить в специальную камеру и засыпать выход из нее землей за нарушение обета целомудрия. Преступником считался и покуситель на жрицу. Для него было предусмотрено только одно наказание — смерть. Скрыть подобную историю было бы невозможно, и представить в извиняющем Нерона виде, пусть и очевидно лживом, но внешне имеющим некое правдоподобие, подобно истории с убийством Агриппины, совершенно нереально. Исходя из склонности Нерона играть любые роли, можно, конечно, предположить, что он изобразил собою бога Марса, овладевшего весталкой Реей Сильвией, следствием чего, как было известно каждому римлянину, стало рождение божественных братьев Ромула и Рема. Может быть, такого рода представление, бывшее, скорее всего, имитацией с участием настоящей весталки Рубрии и Нерона, изображавшего, возможно, вполне натуралистически, бога Марса, и послужило основой разговоров об изнасиловании цезарем служительницы Весты. Но это лишь наше предположение…

Нельзя не отметить следующее: оргии Нерона, подобно его же уличным буйствам в юношеские годы, не подорвали его престижа в народе. Празднества, подобные устроенному Тигелином в 64 году, были очевидной редкостью, да и участвовавшие в нем делали это никак не вопреки своим нравственным устоям. На фоне же массового разврата поведение самого Нерона не выглядело чем-то принципиально отличным от поведения остальных. «Свадьбы» со Спором и Дорифором — Пифагором могли быть своего рода спектаклями, а скорее Нерон, не желавший знать каких-либо ограничений в чувственных наслаждениях, желал «испытать все». Поразительно, вновь вернемся к этому, что при всей своей распущенности и даже развращенности Нерон сохранял способность к любви, ибо невозможно отрицать, что его чувства к Акте и Поппее были настоящей, глубокой и искренней любовью. Можно, конечно, вспомнить, что Акте была до встречи с Нероном куртизанкой, да

и Поппея не была знаменита добродетелью, хотя прямых известий о ее распутстве нет. Она совсем не походила на Мессалину. Но главное, что явственно следует из всех исторических источников: и та и другая любили Нерона и были верны ему.

Подводя итог, повторим следующее: нравственная распущенность Нерона — следствие не только его природной порочности, но и прямое следствие порочных методов воспитания юноши, каковые избрали Сенека и те, кто помогал ему в деле воспитания сына Агриппины. Такие воспитатели заслуживают того, чтобы указать им на результат их воспитания знаменитыми словами из русской классики XVIII столетия: «Вот злонравия достойные плоды!

Глава V
Явление Антихриста

Совсем не «золотое пятилетие»

Гибель Агриппины традиционно считается рубежной датой в истории правления Нерона. Она полагается концом «золотого пятилетия» и началом того времени, когда император-матереубийца окончательно раскрылся перед всеми во всех своих отвратительных качествах. Собственно, второе пятилетие принципата Нерона и есть время, когда он стал тем, кем и суждено ему было остаться в истории, — безжалостным тираном, убийцей достойнейших людей. Строго говоря, такое деление достаточно условно. Нрав Нерона как раз и сложился в то самое славное пятилетие, с легкой руки великого Траяна, именуемое «золотым». И в эти годы Нерон отвратительно безобразничал, развратничал, организовал убийство Британника, и потому бесчеловечная расправа над Агриппиною, задуманная и предрешенная в те самые «золотые годы», увенчала собой закономерный итог первого пятилетия Неронова правления.

Но разница между двумя пятилетиями все же есть, и она весьма существенна. В первое пятилетие Нерон не часто вмешивался в дела государственные, предоставляя управление империей надежным и многоопытным советникам, каковыми в первую очередь были Сенека и Бурр. Они прекрасно знали свое дело и держава римская благоденствовала в эти годы. В ней царил внутренний покой, успешно шли дела внешние. Разного рода безобразия Нерона не выходили за пределы дворца на Палатине и ближайших к нему римских улиц. Политические расправы были редкостью, убийства поражали именами жертв, но исчислялись единицами. Во второе же пятилетие все подспудно таившееся зло стало все более и более прорываться наружу. Изменилось и отношение римлян к Нерону. Матереубийце полного прощения быть не могло. Время, конечно, сглаживало жуткие подробности расправы Нерона с Агриппиной, восприятие трагедии становилось не столь острым, но полного забвения здесь быть уже не могло. Как матереубийца Нерон был уникален в римской истории и прощению не подлежал. Но здесь в первую очередь речь шла о собственно римлянах, жителях Вечного города и его окрестностей. Даже в остальной Италии, не говоря уже о провинциях необъятной Империи, злодеяния Нерона так остро не

воспринимались, если воспринимались вообще, поскольку никак их не затрагивали. Жизнь там оставалась вполне благополучной, исключая мятежные территории, да и там не Нерон ведь был причиною бедствий. Доходившие слухи о жестоких поступках Нерона, его экстравагантном поведении могли удивлять, шокировать, но массой населения воспринимались достаточно равнодушно. Перемены в Нероне замечались лишь теми, кого они непосредственно касались и кто мог знать о них не понаслышке.

Грозные намеки на возможные перемены в судьбе Нерона случились в 60 году, уже на следующий год после гибели августы-матери. Появилась комета, а она по распространенным представлениям римской толпы могла предвещать перемену власти. Тут же случилось еще одно необычное природное явление, мгновенно истолкованное в подтверждение слухов, порожденных явлением кометы: когда Нерон возлежал за трапезой в триклинии одной из загородных вилл, внезапно молния ударила прямо в стол, на котором были расставлены приготовленные для пиршества яства. В довершение всего Нерон неосторожно искупался в считавшихся священными водах Марциева источника близ Рима, после чего сильно заболел. В народе немедленно сочли, что Нерон заслужил гнев богов за осквернение священных вод Марциева источника и за это наказан ими жестокой болезнью.

Подобные сочетания — комета, молния, болезнь, посланная богами в наказание, — не могли не смутить души римлян. Будучи народом, весьма подверженным суевериям, а такая внезапная триада происшествий явно рокового оттенка могла смутить даже людей вполне чуждых обычным предрассудкам, римляне сделали напрашивающийся вывод: дни правления Нерона сочтены и пора задуматься о достойном его преемнике.

Что требовалось от преемника в первую очередь? Римляне той поры еще не предполагали прихода времени, когда любой удачливый полководец, опирающийся на преданные ему легионы, будет считать себя вправе претендовать на императорский пурпур. Современники Нерона пока еще полагали, что именоваться цезарем, августом, исполнять обязанности принцепса и гордо титуловаться императором может только человек, принадлежащий к славному роду Юлиев — тот, в котором действительно течет хоть какая-то толика крови божественного Юлия и божественного Августа. Потому-то славные квириты не особо утруждали себя гаданиями насчет имени возможного преемника обреченного, согласно всем знамениям, на уход от власти Нерона. Немедленно всплыло имя Рубеллия Плавта. Да, да, того самого Рубеллия Плавта, которого

уже не слишком давно подозревали в претензиях на власть, да еще как креатуру Агриппины!

Увы, не раз в человеческой истории бывало и бывает, что именно достойные качества становятся причиной бедствий ни в чем ином не повинного человека. Рубеллий Плавт мало того, что принадлежал к роду Юлиев, будучи таким же потомком Августа, что и сам правящий принцепс, был молод, а значит, подобно Нерону мог рассчитывать на историческую перспективу, но был еще и человеком, славным своими личными достоинствами. По словам Публия Корнелия Тацита, *«он чтил установления предков, облик имел суровый, жил безупречно и замкнуто, и чем незаметнее, побуждаемый осторожностью, старался держаться, тем лучше о нем говорили в народе»*.[146]

Для полного «счастья» отцовский род Плавта происходил из Тибура, близ которого молния и ударила в пиршественный стол Нерона! Немедленно пошли разговоры, что достойному Рубеллию самими бессмертными богами предназначается высшая власть в Риме, и *«многие, наделенные нетерпеливым и чаще всего обманчивым честолюбием, толкающим их преждевременно восторгаться новым и еще не определившимся, стали окружать его чрезмерным вниманием»*.[147]

И это при живом, пусть и опасно заболевшем, Нероне!

Впрочем, он быстро оправился от болезни — здоровьем от природы молодой цезарь, как известно, обладал отменным. Известия о слухах, предрекавших утрату им власти и переход ее в руки Рубеллия Плавта, Нерон встретил с обоснованной тревогой. Но на сколь-либо суровые меры в отношении человека, второй уже раз названного в качестве наиболее опасного претендента на высшую власть в Риме и, главное, имеющего на это не меньшие права по происхождению, Нерон вновь не решился. Он сам написал Плавту письмо, в котором предложил тому удалиться в провинцию Азия, где Рубеллий владел наследственными землями. Там он мог безмятежно наслаждаться своей молодостью, а его отсутствие лишило бы повода всякого рода злонамеренных людей распускать столь опасные слухи, угрожающие спокойствию Рима. Благоденствие державы — вот главное для каждого истинного римлянина. Плавту предлагалось проявить действительную преданность Риму, избавив его от угрозы гражданского противостояния из-за нелепых мнений, распространяемых в народе.

Плавт послушно последовал, надо сказать, вполне благоразумному и не обидному предложению Нерона. Из письма императора ведь явственно следовало, что самого Рубеллия Плавта Нерон ни в чем не винит и не подозревает в опасных

замыслах покушения на высшую власть. Он всего лишь жертва злонамеренных слухов… Потому-то и предложено ему скромно, по собственной воле и из уважения к доброму совету цезаря удалиться в свои же владения, пусть и достаточно далеко от Рима. Не ссылка ведь, а добровольный отъезд!

Конечно же, Нерон ничего не простил Плавту. Он не забыл и того, что тот фигурировал как претендент на власть еще в истории пусть и с мнимым, но всерьез перепугавшем Нерона заговоре Агриппины. Теперь Плавт был обречен и ему вместе со его женою Антистией и немногими домочадцами, покорно отправившемуся в родовые поместья к мало-азийским берегам, недолго оставалось наслаждаться жизнью. Нерон, только недавно потрясший Рим матереубийством, а ныне смущенный, как и все, роковым смыслом знамений, не мог сразу решиться на расправу со столь известным человеком. Но дело оказалось отложенным не в самый долгий ящик…

Расправой над несколькими сотнями людей Нерону пришлось заняться в следующем году, когда случились события, потрясшие Рим. Собственным рабом в собственном доме был убит префект Рима Педаний Секунд! Происшествие чрезвычайное. Гибель первого должностного лица столичного города Империи, да еще от руки раба — дело неслыханное. И разбирательство его неизбежно становилось делом высших властей Рима, не исключая особу принцепса.

Причина гибели Педания Секунда остается неясной. Оставивший наиболее подробное описание случившейся трагедии Тацит пишет, что *«префекта Рима Педания Секунда убил его собственный раб то ли из-за того, что, условившись отпустить его за выкуп на волю, Секунд отказал ему в этом, то ли потому, что убийца, охваченный страстью к мальчику, не потерпел соперника в лице своего господина»*[148]

Сопоставление указанных историком причин гибели римского префекта не позволяет сделать однозначный вывод в пользу одной из них. Но все же представляется маловероятным, чтобы раб, получивший неожиданный отказ в ранее обещанном отпущении на волю, стал бы убивать хозяина. Конечно, он был бы возмущен, ибо удар это жесточайший — человек, уже почти ощутивший себя свободным и вдруг обманутый в своих ожиданиях. Но убийство обманщика-хозяина здесь не лучшее средство добыть желанную свободу. Скорее в таком случае раб, скрепя сердце, попытался бы выяснить причину перемены намерений хозяина и сделал бы новую попытку вернуть его расположение и добиться желанного освобождения. Приступ умопомрачения и, как следствие его, убийство обманщика тоже

возможны, было бы странным это отрицать, но все же вероятность такой реакции выгладит недостаточно очевидной. А вот убийство в результате гомосексуальной ревности представляется более вероятным. Однополые связи обладают способностью ввергать людей в страсти подлинно безумные, при которых ревность толкает иного партнера на самые отчаянные действия, пролития крови не исключающие. Как, впрочем, это бывает и в обычной человеческой любви. Здесь можно вспомнить литературную классику: в новелле Бальзака «Златоокая девушка» объятая лесбийской страстью женщина убивает свою возлюбленную, не прощая ей измены… с мужчиной. В античные времена, когда однополые связи, особенно в греческом мире, считались в порядке вещей, из-за ревности в таковых приключались самые разные события, даже исторические переломы в судьбах целых государств.

Если верить великому Фукидиду, то началом падения тирании в Аттике стала:

> «Отважная попытка Аристогитона и Гармодия, вызванная случайной любовной историей. Более подробным изложением ее я докажу, что даже афиняне, не говоря уже о прочих эллинах, не имеют о своих тиранах и вообще о своем прошлом никаких точных сведений. Дело было так. Когда Писистрат в старости умер тираном (528 г. до н. э.), власть получил не Гиппарх, как думает большинство, но Гиппий, старший из сыновей. Был в то время Гармодий, блиставший юношеской красотой. Один из горожан, Аристогитон, гражданин среднего состояния, находился с ним в любовной связи. Гиппарх, сын Писистрата, покушался было соблазнить Гармодия, но безуспешно, что Гармодий и открыл Аристогитону. Тот, как влюбленный, сильно огорчился и, опасаясь, как бы Гиппарх в своем могуществе не овладел Гармодием силою, немедленно составил замысел, насколько был в силах по своему положению, ниспровергнуть тиранию».[149]

Что ж, возможно Педаний Секунд действительно пал жертвой своего пристрастия к мальчикам, когда стал на пути аналогичного пристрастия своего раба. Но в данном случае причина его смерти мало волновала окружающих. Все немедленно вспомнили соответствующий закон, необходимость использовать каковой не могла не вызвать замешательства у самых законопослушных римлян.

В 10 году до новой эры Август издал указ, опиравшийся на

более ранние постановления римского сената, согласно которому все рабы, проживавшие во время убийства под одним кровом с убитым хозяином, подлежали казни. В 57 году особым сенатским указом эта беспощадная мера наказания была подтверждена. Если применить закон в полной мере, надо было казнить четыреста человек, среди которых были и старики, и женщины, и дети, но, главное, сотни людей должны были заплатить жизнью за преступление одного человека.

С точки зрения римской традиции карать взбунтовавшихся рабов надлежало беспощадно, что римляне и демонстрировали в свое время в эпоху грандиозных восстаний рабов в Сицилии в 138–133 и 104–101 годах до новой эры, вспомним шесть тысяч распятых вдоль дорог плененных участников восстания Спартака в 71 году до новой эры. Но там были восстания, лилась кровь, и в необходимости беспощадного наказания бунтовщиков никто из римлян не мог сомневаться. Наказания многих, когда погибали и безвинные, римляне применяли не только к рабам, но и к собственным согражданам. Чего стоит только жестокий обычай децимации — казни каждого десятого, применявшийся в случае трусливого бегства с поля боя войска, если именно так определял случившееся полководец. Понятно, что далеко не все бежавшие были трусами, но слепой жребий при децимации часто падал как раз на тех воинов, которые честно исполняли свой долг и были лишь вовлечены в роковое бегство массой бегущих. Обычай в этом случае не делал никаких исключений. Сила его была как раз в абсолютной беспощадности. Но беспощадность эта диктовалась суровой военной необходимостью.

Здесь же шла речь о беспрецедентной казни нескольких сот совершенно безвинных людей, что и смутило души многих и многих римлян, даром что осужденные были рабами. Потому сочувствие множества простых римлян выплеснулось на улицы города. Как сообщает Тацит:

> «И когда в соответствии с древним установлением всех проживающих с ним (Педанием Секундом. — И. К.) под одним кровом рабов собрали, чтобы вести на казнь, сбежался простой народ, вступившийся за стольких ни в чем не повинных, и дело дошло до уличных беспорядков и сборищ перед сенатом, в котором также нашлись решительные противники столь непомерной строгости, хотя большинство сенаторов полагало, что существующий порядок не подлежит изменению».[150]

Здесь нельзя не коснуться положения рабов в тогдашнем Риме. Эпоха больших завоеваний, когда в римские владения

поступали десятки, а порой, возможно, и сотни тысяч рабов, была уже давно позади, «золотой век» притока рабов в Рим приходился на II столетие до новой эры со времени побед римлян над Карфагеном во II Пунической войне и над Македонией в войне 200–197 годов до новой эры и вплоть до окончательного завоевания Македонии и Греции к 146 году и взятия Карфагена в том же году. Наиболее массовые поступления рабов на невольничьи рынки были при окончательном завоевании Сардинии в 177 году до новой эры, когда в Риме оказалось так много рабов с этого острова, что они резко упали в цене и еще долгое время римляне употребляли поговорку: «Дешев, как сард». Когда в 167 году до новой эры был жестоко разграблен Эпир, то в рабство было продано 150 000 человек — число беспрецедентное. То ли это была историческая месть эпиротам за беды, причиненные Римской республике царем Эпира Пирром в войне 280–275 годов, то ли просто в небогатом Эпире не было более ценной добычи, нежели его жители, каковых можно было отправить на невольничьи рынки. Безжалостно были проданы в рабство 50 000 сдавшихся карфагенян, когда Сципион Эмиллиан овладел этим городом после трехлетней осады. Массы рабов тогда поступили в италийскую деревню и рабский труд вытеснил с полей римский сельский плебс, бывший основным поставщиком воинов в римские легионы. Это обстоятельство и вызвало к жизни трагически завершившуюся реформаторскую деятельность знаменитых братьев Тиберия и Гая Гракхов.

Эксплуатация недорогих в то время рабов носила весьма жестокий характер, что и вызвало уже упоминавшуюся серию рабских восстаний, участники которых исчислялись десятками тысяч. Считается, что в первом сицилийском восстании 138–133 гг. до новой эры участвовало до 200 000 мятежных рабов, под предводительством великого вождя восставших гладиаторов и рабов Италии Спартака в 74–71 гг. до новой эры по разным источникам сражалось от 70 000 до 120 000 человек. Ко времени Нерона положение сильно изменилось. Последнее заметное восстание рабов в Италии случилось в 24 году в правление Тиберия на юго-востоке Италии в областях Апулия и Калабрия, близ города Брундизий (совр. Бриндизи). Там восстали прежде всего сельские рабы, положение которых было наиболее тяжелым. Жизнь рабов городских заметно отличалась от участи их собратьев по несчастью, обреченных на нелегкий труд в латифундиях крупных землевладельцев. Поскольку в отсутствие новых больших завоеваний и победоносных войн приток рабов в римские владения в эпоху империи заметно сократился, стоимость рабов заметно возросла. В городах число рабов

возрастало прежде всего путем естественного прироста их в рабских семьях. В богатых домах, где число рабов могло достигать не одной сотни человек, как это было и в доме Педания Секунда, образовывались целые династии рабов. Необходимость более мягкого отношения к городским рабам диктовалась и их профессиональными занятиями домашней прислуги, врачей, учителей, умельцев в разного рода бытовых делах, а также и немалой их стоимостью. Для римлян времен Нерона поговорка «дешев, как сард» была свидетельством времен, давно минувших. Постоянное общение с рабами, которые жили семейной жизнью в доме хозяина, с теми, кого хозяева знали с младенчества, неизбежно приводило к относительно мягкому обращению с ними. Хозяева начинали видеть в них просто людей, по воле судьбы лишенных свободы. Тем более что среди хозяев-рабовладельцев в те годы было совсем немалое число либертинов, которые сами побывали в рабской шкуре. Даже собственная удачливость не заставляла их забыть о недавних временах. Не зря Петроний в «Сатириконе» приводит описание стены дома процветающего либертина Тримальхиона, не могущего забыть свое прежнее состояние и гордящегося его успешным преодолением:

> «Я же… не поленился пройти вдоль всей стены. На ней изображен невольничий рынок, и сам Тримальхион, еще кудрявый, с кадуцеем в руках, ведомый Минервою, торжественно вступал в Рим (об этом гласили пояснительные надписи). Все передал своей кистью добросовестный художник и объяснил в надписях: и как Тримальхион учился счетоводству, и как сделался рабом-казначеем. В конце портика Меркурий, подняв Тримальхиона за подбородок, возносил его на высокую трибуну. Тут же была и Фортуна с рогом изобилия, и три Парки, прядущие золотую нить».[151]

При всей очевиднейшей язвительности — Минерва, сопровождающая Тримальхиона на невольничий рынок, Меркурий, его возносящий, Парки, прядущие золотую нить его судьбы, — путь раба в либертины обрисован достаточно точно и убедительно. Стоит привести и слова самого Тримальхиона о рабстве.

> «Друзья, — сказал… Тримальхион, — рабы — тоже люди, одним с нами молоком вскормленные, и не виноваты они, что Рок их обездолил. Однако по моей милости скоро все они напьются вольной воды. их всех в

завещании своем отпустил на волю».[152]

Какую бы брезгливость ни вызывал в целом образ Тримальхиона, в убийственно сатирической манере созданный блистательным талантом Гая Петрония, его рассуждения о рабстве человечны, а готовность отпустить по завещанию всех своих рабов на волю едва ли осмеивается.

Нельзя не упомянуть, особенно в связи с трагической судьбой и самого Педания Секунда, и его рабов, и о сексуальной стороне, в данном случае, даже бисексуальной стороне пребывания рабов в хозяйском доме, о которой сообщает тот же Тримальхион:

> «И все же четырнадцать лет я был любимчиком своего хозяина; ничего тут постыдного нет — хозяйский приказ. И хозяйку ублаготворял тоже. Понимаете, что я хочу сказать».[153]

Доброе отношение к рабам звучало в Риме и на куда более высоком уровне. Еще в первой половине II века до новой эры во время наибольшего наплыва рабов в Рим, когда римляне никак не могли похвастаться по отношению к невольникам особым человеколюбием, знаменитый Марк Порций Катон Старший, прославивший себя не только бессмертными словами «Puto, Carthagenum delendum esse!» — «Полагаю, Карфаген должен быть разрушен», но и не менее знаменитым трудом о сельском хозяйстве, предупреждал современников:

> «Рабу не должно быть плохо: он не должен дрожать от холода и голодать».[154]

Современник Нерона Луций Юний Модераст Коллумела считал необходимым доброе отношение к рабам, как сельским, так и городским, нормой жизни:

> «С рабами нужно соблюдать следующее, и я не раскаиваюсь в том, что это соблюдал: что я со своими сельскохозяйственными рабами, поскольку они себя хорошо вели, разговаривал в непринужденной манере, как с городскими рабами, и так я заметил, что подобная дружелюбность господина облегчала продолжительную работу, я даже шутил с ними и, более того, разрешал шутить им. Нередко я обсуждал с ними какие-нибудь новые планы, как будто бы у них было больше опыта, этим я подчеркивал их ум и сообразительность. Я понял также, что они охотнее исполняли работу, если считали,

что она была задумана вместе с ними и осуществлялась по их совету».[155]

Наконец Сенека, первый ум той эпохи, прямо писал:

> «Это рабы, но еще и люди. Это рабы, но еще и друзья из скромного сословия. Это рабы, но и твои собратья, так как ты должен думать, что свобода и несвобода зависят от власти судьбы».[156]

Так мыслил философ Сенека. В реальной жизни он рассуждал жестко: *«Сколько рабов — столько врагов».*

Реакция множества простых римлян на беспощадность сената в отношении рабов убитого Педания Секунда однозначно свидетельствует, что человечное отношение к рабам среди населения столицы можно уверенно полагать широко распространенным, если не господствующим. Не без воздействия народных настроений многие сенаторы решительно воспротивились намеченной казни, но тут в дело вмешался истинный хранитель добрых традиций предков, потомок одного из главных убийц Гая Юлия Цезаря сенатор Гай Кассий Лонгин, чья горячая и пространная речь, скрупулезно приведенная в «Анналах» Тацита, решила окончательно судьбу четырехсот человек.

Аргументация Кассия носила четко построенный и предельно жесткий характер, что не могло не быть убедительным для сенаторов, для большинства которых мысль того же Сенеки, приводимая выше, «сколько рабов — столько врагов» вовсе не была абстракцией, а заключала в себе опаснейшую реальность. Если низы не отличались особо глубокой исторической памятью, то просвещенные верхи римского общества, а сенаторы — отцы отечества — тем более, прекрасно знали историю времен минувших, наполненную массовыми возмущениями рабов. С теми событиями сразу сопоставлялись любые осложнения в дни текущие и возникали сразу же пугающие параллели. Когда через пару лет произойдет возмущение гладиаторов в Принесте, то в Риме немедленно вспомнят о временах Спартака. Незначительность бунта здесь не должна вводить в заблуждение и наводить на ироническую мысль, что у страха-де глаза велики. Потрясшее всю Италию восстание Спартака начиналось-то с побега из школы гладиаторов в провинциальной Капуе каких-то семидесяти восьми человек… Потому необходимость держать людей рабского состояния в страхе и в наказании их руководствоваться беспощадностью верхам римского общества была очевидной. Кассий знал, к кому он обращается. Вот

наиболее яркие места его пространной речи:

> «У себя в доме убит поднявшим на него руку рабом муж, носивший консульское звание, и никто этому не помешал, никто не оповестил о готовящемся убийстве, хотя еще нисколько не поколеблен в силе сенатский указ, угрожающий казнью всем проживающим в том же доме рабам».[157]

Здесь Гай Кассий то ли передергивал факты, что скорее всего, то ли не знал действительных обстоятельств убийства Педания Секунда. Убийство префекта было делом одного человека, действовавшего, что очевидно, в приступе ярости из-за нанесенной ему жестокой обиды, и потому никто в доме не мог знать заранее о его намерениях и уж тем более предупредить убийство.

Кассий продолжал:

> «Постановите, пожалуй, что они освобождаются от наказания. Кого же тогда защитит его положение, если оно не спасло префекта города Рима? Кого убережет многочисленность его рабов, если Педания Секунда не уберегли целых четыреста? Кому придут на помощь проживающие в доме рабы, если они даже под страхом смерти не обращают внимания на грозящие нам опасности? Или убийца и в самом деле, как не стыдятся измышлять некоторые, лишь отомстил за свои обиды, потому что им были вложены в сделку унаследованные от отца деньги или у него отняли доставшегося от дедов раба? Ну что ж, в таком случае давайте провозгласим, что, убив своего хозяина, он поступил по праву».[158]

Признать убийство рабом хозяина правым делом? Нет, такого почтенные римляне вынести не могли.

Далее оратор обращался к исторической памяти, к заветам и обычаям предков, что для римлян всегда было особо значимо и часто служило руководством к действию:

> «Душевные свойства рабов внушали подозрение нашим предкам и в те времена, когда они рождались среди тех же полей и в тех же домах, что мы сами, и с младенчества воспитывались в любви к своим господам. Но после того как мы стали владеть рабами из множества племен и народов, у которых отличные от наших обычаи, которые поклоняются иноземным

святыням или не чтят никаких, этот сброд не обуздать иначе, как устрашениями. Но погибнут некоторые безвинные? Когда каждого десятого из бежавших с поля сражения засекают палками насмерть, жребий падает порою и на отважного. И вообще, всякое примерное наказание, распространяемое на многих, заключает в себе долю несправедливости, которая, являясь злом для отдельных лиц, возмещается общественной пользой».[159]

Заключительное рассуждение Гая Кассия Лонгина об общественной пользе массового наказания, не исключающего гибели и ряда безвинных, хорошо укладывается в пословицу, возникшую в иные времена и в очень далекой от Рима стране: «Лес рубят — щепки летят».

Речь потомка убийцы Цезаря произвела на отцов отечества должное впечатление. Сенат принял решение о казни рабов Педания Секунда. Но тут выяснилось, что население Рима вовсе не разделяет решимость верных заветам предков верхов. На улицах и площадях Рима собралась целая толпа, сочувствующая невинным жертвам чужого преступления, пусть они и были рабского состояния. Демонстрация грозила перерасти в бунт — в толпе многие готовы был взяться за камни и факелы. Положение спас Нерон. Он издал специальный указ, в котором жестоко разбранил тех, кто не желает повиноваться закону и, главное, велел выставить воинские заслоны на всем пути следования осужденных к месту казни.

Чем руководствовался император? Едва ли почтением к закону и уважением к сенату. И то и другое ему всегда были в тягость. Но император, уступающий воле мятущейся черни? Испугавшийся угрозы бунта? Это было бы вопиющим признанием слабости, как собственной, так и власти верховной вообще. Здесь Нерон не мог пойти на уступку. Возможно, и опытные советники Бурр с Сенекой подсказали ему, как должно действовать. Цезарь обязан был продемонстрировать всем решимость в отстаивании незыблемости даже самых суровых законов. Напомним, «суров закон, но закон» — вот краеугольный камень правового мышления истинного римлянина. Конечно, едва ли Нерон действовал здесь по убеждению. Тут уместно вспомнить другую поговорку времен позднейших: «Noblesse oblige» — «Положение обязывает». Чем Нерон решительно отличался от иных тиранов всех времен и народов, так это нелюбовью к казням и отвращением к кровопролитию, во всяком случае, к созерцанию такового. Его беспощадность относилась к тем, кто был, а порой просто казался опасным для его власти. Но здесь отказ от казни

рабов выглядел бы как испуг власти перед угрожающей мятежом толпой, что было для принцепса делом действительно опасным. Потому, проявляя решимость, Нерон показывал всем силу своей власти, а сенат должен был в очередной раз понять, что его постановление проводится в жизнь лишь потому, что его решительными мерами поддержал император.

В то же время Нерон не упустил возможности проявить великодушие и заодно пресечь инициативы не в меру ретивых в своей суровости сенаторов. Когда сенатор Цингоний Варрон внес предложение выслать из Италии всех вольноотпущенников, проживавших в доме Педания Секунда, то принцепс этому решительно воспротивился «дабы древнему установлению, которого не могло смягчить милосердие, жестокость не придала большую беспощадность».

Не забудем и о той незаурядной роли, каковую играли в Риме тех лет, не исключая и его политическую жизнь в самых высоких сферах, вольноотпущенники. Либертинов было много в окружении самого Нерона, и потому жестокость к ним, да еще и неоправданная, законом, кстати, и не предусмотренная, была бы явно неуместной. Великодушие Нерона в отношении либертинов не было делом случайным.

Еще в начале своего правления в 56 году Нерон не позволил сенату принять решение о безусловном праве патрона лишать своего либертина свободы, если тот перед ним в чем-либо провинился, вполне справедливо решив, что обвинения хозяевами своих бывших рабов должны рассматриваться в сенате всякий раз по отдельности. В отношении вольноотпущенников Нерон даже совершал поступки, рассматриваемые многими как *«умаление доброй славы принцепса»*.[160] Он лишил свою нелюбимую тетушку Домицию Лепиду патроната над вольноотпущенником Паридом, приказав суду признать Парида свободнорожденным.

Да, для либертинов время правления Нерона явно было не худшим. И среди них, конечно, было немало жестоко пострадавших, но это касалось лишь тех, кто пребывал в опасной близости к трону.

Начало нового 62 года сулило, казалось, продолжение великодушных и справедливых деяний Нерона, коими так прекрасно было ознаменовано «золотое пятилетие».

Претор Антистий, бывший ранее народным трибуном и запятнавший себя при этом злоупотреблением властью, распорядился освободить из-под стражи задержанных за всяческие буйства на улицах «неумеренно пылких поклонников актерских талантов» — обнаружил в себе дар стихотворства и стал сочинять стихи, поносящие Нерона. Творения свои он сделал

общественным достоянием, декламируя их на многолюдном пиршестве у некоего Остория Скапулы. Все это могло бы и обойтись без последствий, если бы присутствовавший на пиру зять Гая Софония Тигеллина Коссуциан Капитон, недавно тщанием тестя вновь обретший звание сенатора, не сделал бы по всей форме политический донос о чтении крамольных виршей, оскорбляющих правящего принцепса. Налицо было то, что попадало под изданный еще при Тиберии Закон об оскорблении величества («Criment laesae majestatis»). И, что особенно важно, это был первый случай применения этого страшного закона в правление Нерона. Закон карал дерзкого оскорбителя великого цезаря смертью, так что над Антистием нависла угроза. Сенатор Юний Марулл, которому предстояло в будущем году быть консулом, решительно предложил самый строгий приговор: Антистия долженствовало отрешить от претуры, а затем предать смерти в соответствии с установлениями предков — удавить петлей. Сенаторы дружно поддержали страшный приговор, предоставляя цезарю простор для великодушной его отмены, но тут все испортил вечный оппозиционер, сенатор Тразея Пет. Наверняка прекрасно понимая всю происходившую на его глазах игру, не испытывавший к Нерону никаких добрых чувств отважный сенатор внес предложение ограничиться конфискацией имущества виновного и ссылкой его на какой-либо отдаленный остров. При этом Тразея буквально рассыпался в восторженных оценках достоинств Нерона и его правления, сделав вывод, что при столь выдающемся принцепсе сенат, не связанный никакими посторонними соображениями, а следовательно, совершенно свободный в своих решениях, не имеет права выносить смертный приговор, пусть даже обвиняемый его по всем статьям заслужил. Это была, конечно же, изощренная издевка и над Нероном, и над раболепным сенатом, совсем недавно покорно внимавшим чудовищной лжи о самоубийстве Агриппины. Но придраться было не к чему. Тразея блестяще продумал и построил свое выступление! Конец его речи носил уже характер абсолютно серьезный и, можно смело сказать, программный:

> «Палач и петля уже давно отошли в прошлое, и мера наказания предусматривается соответствующими законами, на основании которых, а не в зависимости от свирепости судей назначается кара. И чем дольше, после того как имущество осужденного подвергнется конфискации, он будет влачить на острове отягощенную преступлением жизнь, тем более жалким станет он как личность, являя собой вместе с тем величайший пример

снисходительности со стороны государства».[161]

Достойно сожаления, что эта речь Тразеи Пета известна только в кратком пересказе Тацита. Сохранись она полностью — быть бы ей непревзойденным образцом римского политического красноречия!

Последствия выступления Тразеи были потрясающими: пораженные его речью сенаторы просто забыли, в какое время и при каком правителе они живут, и подавляющим большинством голосов поддержали предложение о замене Антистию казни на ссылку с конфискацией имущества. Какой силой духа и каким искусством красноречия надо было обладать, чтобы сломить такое раболепие! Оно ведь, казалось, уже давно было в крови всего этого собрания, по недоразумению продолжавшего именоваться сенатом римского народа. Поступок Тразеи на слушании дела Антистия воистину подвиг честного человека. Подвиг тем более значимый и удивительный, что произвел он столь неожиданное общественное воздействие. Конечно, можно вспомнить, что Тразея как бы ничем не рисковал, поскольку реальная казнь Антистию не грозила, и Нерон всенепременно его оправдал бы, как, собственно и было задумано. Но показать Нерону, что не один он может заставить сенат идти за собой, голосовать так, как ему угодно, — вот что вызывает наибольшее восхищение потомков. И это ведь при том, что Тразея был, по сути, явным оппозиционером — все помнили его вызывающий уход из сената в 59 году, когда шло заседание, посвященное заслушиванию послания принцепса о судьбе Агриппины. Значит, поддержать его — не угодить Нерону. И ведь поддержали!

Перепуганные столь внезапным поворотом дела консулы не решились оформить такое решение сената как законный Senatus consultum — постановление сената. Они предпочли осторожно проинформировать Нерона о подавляющем большинстве сенаторов, за данный приговор проголосовавшем. К чести Нерона, он, колеблясь между естественным в его положении гневом и сдержанностью, каковую диктовало ему благоразумие, предпочел после некоторого промедления отправить в сенат письменный ответ. В письме император напоминал, что Антистий не знал от него никаких обид, и потому тяжелейшие обиды были нанесены цезарю без всякого повода с его стороны. Такой проступок заслуживает воздаяния со стороны сената в полном соответствии со своей значительностью, что было бы только справедливо. Тут же Нерон прямо заявлял о своем намерении воспрепятствовать суровому приговору и потому он ни в коем случае не намерен воспрепятствовать сенаторам в проявлении умеренности.

Сенаторы, писал Нерон, могут решить дело Антистия так, как им будет угодно. Дабы показать всем, что его великодушие все равно простирается дальше того, к какому Тразея Пет склонил сенаторов, Нерон сообщал им, что они вообще могут полностью оправдать подсудимого.

Поведение Тразеи было, конечно же, вызовом Нерону, но тот пока не считал непокорного сенатора опасным для себя всерьез. Возможно, Нерона и смутила поддержка сенаторами Тразеи. Но самое главное было то, что формально к Пету нельзя было придраться: по форме речь его была к Нерону почтительна до чрезвычайности, по содержанию дерзновенно предвидела планы Нерона, но ведь не противоречила им.

Еще с одним важнейшим положением, прозвучавшим в речи Тразеи, Нерон был вполне согласен — протест против смертной казни он не мог осудить. Все знали, смертные приговоры он не жаловал. Беда была в другом: внесудебная расправа с опасными по его мнению людьми, убийства, представляемые как естественная смерть, приказы покончить с собой — все это оставалось в арсенале Нерона и по мере необходимости, насколько он это ощущал, пускалось в ход. Массовых репрессий Нерон не любил, да и смысла в них не видел, но жертвы его, пусть и не очень многочисленные, все были люди с именами громкими, способы расправы выглядели особо отвратительно из-за вопиющей лжи, каковой он пытался их прикрыть. Отсюда восприятие современниками и потомками злодеяний Нерона было куда более острым, нежели кровопролитий, совершенных другими цезарями, на совести которых гибель тысяч и даже десятков тысяч ни в чем не повинных людей.

Вернемся к событиям 62 года. Заслуживает внимания история ссылки Фабриция Вейентона. Он прославился написанием книги, из содержания коей следовало, что завещать ему потомкам нечего, кроме старательно собранных порочащих многих сенаторов и жрецов сведений. Наверняка далеко не во всех случаях подлинных, но являющих собою всякого рода грязные сплетни и наговоры. Выяснилось, однако, что Вейентон нечистоплотен не только в своих рукописных деяниях, но и в делах служебных: пользуясь до поры до времени расположением Нерона, он торговал высшими государственными должностями. Эта деятельность Вейентона была изобличена Туллием Гемионом, и Нерон, поскольку речь зашла о коррупции в самых верхах общества, лично вмешался в дело и довольно быстро и успешно в нем разобрался. Изобличенный Вейентон был с позором изгнан из Италии, а его пасквильную книгу Нерон повелел сжечь. Было бы несправедливо воспринимать этот поступок принцепса как

покушение на свободу слова. Это было противодействие разнузданности и клевете. Правда, огненный приговор «Завещанию» Вейентона поначалу прибавил книге популярности. Запретный плод всегда был и будет сладок, потому небезопасную для хранения книгу старательно разыскивали и внимательно читали. Должно быть, прежде всего те, кого Вейентон не упомянул в своем пасквиле. Ведь многим приятно читать пренеприятное об окружающих! Скорее всего, книга носила характер клеветнический, нежели разоблачительный. Когда запрет на нее минул, творение Вейентона быстро оказалось в забвении.

В деле Вейентона Нерон проявил себя достойно, и даже такой строгий его судья, как Публий Корнелий Тацит, пишет об этом не без одобрения.

Но вскоре произошли события, ставшие окончательным переломом в правлении Нерона, которые и современники, и потомки однозначно оценивают самым печальным образом.

Сначала тяжелая болезнь — опухоль горла — сразила префекта претория Афрания Бурра. Многие говорили об отравлении его по приказу Нерона, но убедительных доказательств этого нет. Здесь свою роль могла сыграть память современников об отравлении Британника и очевидная способность Нерона избавляться даже от самых близких к нему людей, особенно тех, перед кем он был в долгу.

На место Бурра Нерон назначил сразу двух префектов претория: одного для успокоения мнения народного, другого же, любезного себе. Первый — Фений Руф, отличившийся прекрасной организацией бесперебойного снабжения Рима продовольствием и потому, естественно, народом очень любимый. Второй, Софоний Тигеллин, известен тем, что был участником самых сокровенных развратных развлечений Нерона. Об этом человеке в истории не сохранилось ни одного доброго слова. Понятно, что такой дуумвират префектов преторианских когорт не мог быть продолжительным. Достоинства Руфа были столь же очевидны, как и порочность Тигеллина. Но поскольку любовь народа к Руфу не могла не раздражать Нерона, а Тигеллин был, что называется, наперсником, то нетрудно было предвидеть, кто из двух играет большую роль при императоре и кому вскоре предстоит уйти.

По смерти Бурра пало и влияние Сенеки. Видя явное ослабление позиции воспитателя принцепса, одни люди из его окружения ринулись возводить всевозможные обвинения на Сенеку. Другие пытались по-дружески предупредить воспитателя и пока еще главного советника принцепса о происках против него, о целом потоке опасных обвинений. Мудрый Сенека,

чувствуя уже по поведению Нерона, что его государственному служению вот-вот будет положен предел, решил предупредить такую развязку и сам обратился к цезарю с просьбой об отставке.

В своей пространной речи Сенека напоминал, что уже четырнадцать лет он является воспитателем Нерона и восьмой год Нерон держит в своих руках верховную власть. Он благодарил цезаря за почести и богатства, коими тот осыпал своего наставника. Осыпал до такой степени, что в счастье своем Сенека не знает только одного — меры. И дело не только в несметных деньгах, но и в беспредельном влиянии, каковое принцепс предоставил сам своему воспитателю. Лишь благодаря доброте августейшего воспитанника он, выходец из скромного всаднического рода, уроженец провинциальной Испании возвысился в Риме, блистая среди тех, кто из поколения в поколение занимал высшие должности по праву своей знатности. Памятуя об обвинениях в чрезмерном богатстве, Сенека великодушно передавал все свое имущество цезарю, скромно говоря, что не ввергает себя в бедность освобождая свою душу от забот о садах и поместьях. Главным в речи было, однако, не это. Сенека напоминал Нерону, как прадед его Август дозволил жить, удалившись от дел, ближайшим своим соратникам Марку Агриппе и Гаю Меценату. Эти выдающиеся сподвижники создателя политической системы принципата, отойдя от государственной деятельности, благополучно прожили остаток своей жизни. Философ недвусмысленно давал Нерону понять, что и он рассчитывает на то же, а Нерон, позволив Сенеке безбедно коротать свой век на заслуженном отдыхе, уподобится божественному Августу. Да будет правнук достоин прадеда!

Нерон в своем также достаточно пространном ответе показал себя достойным учеником. Во всяком случае, в плане хитроумия. Он только возражал Сенеке, как бы не принимая его отставки. Вспоминая дозволение Августом Агриппе и Меценату уйти на покой, удалившись от дел, он напоминал, что предок не отбирал у них пожалованного в награду. Велеречиво говорил о заслугах воспитателя:

> «…и твой меч, и твоя рука не оставили бы меня, если бы мне пришлось употребить оружие, но так как обстоятельства того времени требовали другого, ты опекал мое отрочество и затем юность вразумлением, советами, наставлениями. И то, чем ты меня одарил, пока я жив, не умрет…»

Разумеется, Нерон отверг дар Сенеки, не без остроумия, сдобренного ядом, заметив, что ему стыдно называть имена

вольноотпущенников, которые побогаче пресытившегося дарами цезаря философа. Нерон тонко подчеркнул свое понимание вынужденности просьбы Сенеки о разрешении уйти от дел. Он напомнил наставнику, что тот еще вовсе не в том возрасте, когда человек лишается возможности заниматься делами и наслаждаться плодами их — Сенеке лишь недавно минуло шестьдесят, возраст далеко не преклонный.

Встреча воспитанника и воспитателя завершилась объятиями и поцелуями, искренности в которых, понятное дело, не было. Отставка Сенеки вроде как не была прямо принята, но и не была по-настоящему отвергнута. Она просто стала реальностью. Сенека удалился от дел, перестал появляться в общественных местах, ссылаясь при этом на нездоровье и свои философские занятия.

Отставка Сенеки привела к немедленному возвышению Тигеллина, ставшего отныне второй персоной в государстве. Теперь от правления Нерона ждать чего-либо доброго не приходилось. Такого омерзительного соратника, напрочь лишенного каких-либо достоинств, не имеющего и подобия государственного ума, достигшего совершенства только в пороках, не было ни у одного принцепса! Все худшее, что было в натуре Нерона, теперь могло беспрепятственно проявлять себя.

В своих пороках Тигеллин был действительно человек одаренный. Он прекрасно понимал Нерона и замечательно использовал свойства его характера для упрочения своего положения. Видя, что цезарь постоянно опасается за свою власть, поскольку имеются еще родовитые люди, способные на нее по праву претендовать, Тигеллин толкает Нерона на немедленную расправу над Плавтом и Суллой. Дабы цезарь не тешил себя надеждой, что в качестве ссыльных эти люди для него безопасны, он напоминает ему, что Сулла находится вблизи легионов, располагающихся на германской границе, а Плавт близ легионов на Востоке. Строго говоря, от Массилии (совр. Марсель), где пребывал Сулла, и от провинции Азия, куда в свои поместья удалился Плавт, путь до легионов, стоявших на рубежах Империи, был совсем не близкий, но все же более короткий, нежели из Рима. Дабы у Нерона не осталось сомнений в необходимости скорейшего устранения Суллы и Плавта, Тигеллин нарисовал такую устрашающую картину пребывания опасных противников Нерона в провинциях, что у того не могло остаться сомнений в необходимости принятия самых беспощадных мер. По словам Тигеллина, и Галлия, и Азия взволнованы пребыванием в их пределах столь родовитых мужей, а сами они, пользуясь этим, только и делают, что готовятся к выступлению против цезаря. Сулла при этом прикидывается

бездеятельным, выжидая удобный случай для мятежа, а Плавт, тот даже не таится. Плавту Тигеллин приписывал преклонение перед героями древней римской истории, очевидно, перед тираноборцами, а также вызывающее самодовольство и высокомерие, свойственное приверженцу философского учения стоиков, — здесь заодно был и камень в огород Сенеки, крупнейшего философа стоической школы.

Нерон без особых колебаний доверился Тигеллину, и участь двух знатнейших римлян была решена. Их головы доставили в Рим и историки донесли до нас циничные слова императора, когда ужасные трофеи представлены были ему на глаза. Взглянув на голову Суллы, как сообщает Тацит, Нерон издевательски заметил, что ее портит ранняя седина.[162] Посмотрев на голову Плавта, согласно сообщению Диона Кассия, Нерон промолвил, как бы обращаясь к себе: *«…и ты боялся носатого человека?»*[163]

Убийство Суллы и Плавта Нерон умело использует как средство вновь приструнить сенат, расшалившийся в деле о злонамеренных стихах Антистия. Сенаторам принцепс отправил послание, в котором ни слова не говорилось о гибели Суллы и Плавта, но сообщалось, что они исполнены мятежного духа. Однако волноваться за спокойствие в государстве отцы отечества должны, ибо цезарь зорко следит за безопасностью государства. И вновь, как в истории с убийством Агриппины, сенаторы безропотно приемлют наглую ложь Нерона, назначают молебствия о его спасении от рук ужасных злоумышленников и исключают, как еще живых, Суллу и Плавта из состава сената. Тацит, конечно, прав, называя это исключение издевательством еще более гнусным, чем само злодеяние.[164]

Уничтожение Суллы и Плавта решительно укрепило положение Тигеллина при императоре. До этого он был только товарищем цезаря по развратным забавам и вознаграждение за это высокой должностью командующего преторианскими когортами выглядело несообразным его действительным достоинствам. Теперь же, избавив принцепса от двух заговорщиков разом, проявив глубокое понимание интересов безопасности императора и государства, он доказал свое право быть ближайшим помощником Нерона. Да и должность префекта претория принадлежала Тигеллину теперь по праву. Преторианцы ведь и охраняют особу императора!

Но Тигеллин не единственный человек, вдохновляющий Нерона в эти дни на злодеяния. Поппея Сабина, чей любовный роман с Нероном продолжался, решила, что настало время, когда она вправе рассчитывать на положение наконец-то законной супруги цезаря. Должно быть, при жизни Бурра, пока они с

Сенекой были рядом с Нероном, она не могла этого добиться. Советники императора не препятствовали его любви к Акте, спокойно воспринимали его страсть к Поппее, но полагали, что женой императора должна оставаться Октавия, в которой так же, как и в ее супруге, текла кровь славных Юлиев-Клавдиев.

Повод для развода с Октавией у Нерона был — брак их был бездетным. Правда, поскольку Нерон откровенно пренебрегал близостью с супругой, детей у них и не могло быть. Такими странными супружескими отношениями цезаря даже попрекали друзья, на что он отвечал, что с Октавии довольно и звания супруги.[165] Под предлогом бесплодия он и дал ей, наконец, развод, через двенадцать дней после которого женился на Поппее. Светоний сообщает, что разводу предшествовали несколько (!) попыток удавить Октавию, по непонятным причинам оказавшихся неудачными.[166]

Сам Нерон мог бы, пожалуй, удовлетвориться разводом с нелюбимой супругой и отправлением ее в ссылку. Но обнаружившаяся народная любовь к Октавии не могла не вызвать раздражения у Нерона и стремления у Поппеи решительным образом избавиться от той, у кого на Нерона долгие годы были законные права. Сабина и так уже пыталась уничтожить Октавию, возведя на нее ложное обвинение в сожительстве с неким рабом Эвкефом, александрийцем, искусным игроком на флейте. Подвергли пыткам рабынь Октавии, но они в большинстве своем героически отстаивали действительно безупречное целомудрие своей госпожи, отказываясь лжесвидетельствовать.

Знаменитым стал ответ одной рабыни руководившему пытками Тигеллину, что женские органы Октавии чище, чем его рот!

Октавия, несомненно, была глубоко порядочным и достойным человеком, если могла заслужить такую преданность со стороны тех, кто ей служил. Тигеллин пытать умел, но только немногие, не выдержав пытки, дали ложные показания.

Высылка Октавии в Кампанию, область от Рима не очень отдаленную, сохранила у многих надежду на ее возможное возвращение. В простом народе даже пошли слухи о ее предстоящем возвращении на Палатин. Так велики оказались симпатии римлян к несчастной отставленной супруге Нерона, что вскоре в Риме в открытую заговорили о раскаянии императора в своем дурном поступке и признании вновь Октавии своей супругой. Слух этот оказался совсем не безобидным. Ликующая толпа, всерьез поверившая разговорам о возвращении любимой народом Октавии звания супруги принцепса, устремилась на Капитолий, где вознесла к богам благодарственные молитвы.

Более того, были повержены статуи Поппеи, только что объявленной женою Нерона, а статуи Октавии восстановлены и осыпаны цветами. Спустившись с Капитолия, народ устремился на Палатин, дабы выразить цезарю благодарность за мудрое и справедливое решение. Цезарь, однако, встретил народ совсем неприветливо. По его приказу воинские отряды плетьми и угрозами применения оружия разогнали толпу, после чего статуи Поппеи, новой и законной супруги императора, были восстановлены, статуи же Октавии вновь убраны.

Статус Поппеи как жены цезаря сразу был установлен более высокий, нежели был у Октавии. Будучи супругой Нерона, Октавия не именовалась августой, хотя по крови была августейшей особой. В титуле Поппеи звание августы появилось немедленно. Таким образом, она приобрела тот же статус, который имела Агриппина.

Подобно изображению Агриппины портрет Поппеи появится на серебряных и золотых монетах, отчеканенных на монетном дворе Рима. Надпись «AUGUSTUS AUGUSTA» сопровождает изображения стоящих рядом Нерона и Поппеи. А в одной серии монет Поппею изобразят в облике богини Согласия, сопроводив его соответствующими словами «CONCORDIA AUGUSTA». Замысел очевиден: согласие в семье принцепса является залогом согласия во всем римском обществе. Но в действительности римское общество сей брачный союз как раз не жаловало, что для Поппеи секретом быть не могло.

Столь явное проявление народной любви к Октавии и соответственно явной нелюбви к своей особе Поппея Сабина не могла не воспринять крайне болезненно. Испытывая понятные опасения, что народ может еще раз подобным образом возмутиться, а Нерон может, испугавшись размаха волнений, уступить такому давлению, новая августа решила во что бы то ни стало уничтожить Октавию. Поппея несомненно обладала сильным характером, достаточно острым и злым умом. Чувствуя, что промедление может иметь роковые последствия, она явилась к Нерону и, припав к его коленям, произнесла возбужденную, но при этом тщательно продуманную речь. В ней были и эмоциональные всплески: в чем ее, Поппеи, вина? Кому и чем нанесла она обиду? Были высказаны страхи за свою жизнь, которой угрожают рабы и клиенты Октавии, изображающие собою мятежный народ, — здесь уже тонкая мысль: не народ заступился за брошенную Нероном супругу, но всего лишь ее клевреты. Тут не она пугала Нерона перспективой возвращения Октавии из недалекой Кампании в Рим, поясняя, что если в первом случае волнений они были легко подавлены, поскольку не было у них

вождя, то в случае повторения искомый вождь всенепременно найдется. Завершила Поппея свою речь аргументацией, для Нерона наиболее убедительной: если Октавия останется жива, а ее сторонники убедятся в отсутствии у Нерона намерений вернуть ее в законные супруги, то они сами найдут Октавии мужа, а значит, и претендента на власть. Дочь Клавдия вправе открыть дорогу к престолу своему супругу. Один раз такое уже случилось…

Поппея добилась своего: Нерон был и испуган, и разгневан, а значит, готов к принятию самых жестоких решений. Провал попытки Тигеллина приписать Октавии любовную связь с рабом тем не менее указал Нерону путь, по которому в этой ситуации следовало идти. Октавия вступила в преступную связь с человеком, стремящимся таким образом захватить верховную власть. Сыграть роль мнимого любовника Октавии и якобы претендента на звание принцепса согласился тот самый Аникет, командующий Мизенским флотом, который уже избавил Нерона от Агриппины. Понятное дело, дабы лже-любовник и лже-заговорщик не волновался за свое будущее, Нерон обещает ему негласное, но достаточно щедрое вознаграждение и приятное существование, правда, подальше от италийских берегов.

Слово свое Нерон сдержал. Доблестный префект Мизенского флота к сомнительной славе убийцы матери принцепса добавил столь же постыдную славу лжесвидетельства, приведшего к гибели его жену. После того как Аникет в присутствии собранных на совещание у императора приближенных подробно изложил то, о чем просил его Нерон, он получил обещанное вознаграждение и отправился в изгнание на остров Сардинию, где безбедно жил и умер своей смертью, чего не скажешь ни о Тигеллине, ни о Нероне.

На основании показаний Аникета Нерон издал указ, в котором утверждалось, будто Октавия, дабы подчинить себе флот, соблазнила его командующего. Далее из указа совершенно нелогично следовало, что побуждаемая преступным характером своей связи с Аникетом, она пресекла беременность… Нерон мог хотя бы вспомнить, что совсем недавно он развелся с Октавией как раз во всеуслышание объявив о ее бесплодности. Сразу видно, что не Сенека сочинял этот указ.

Октавия согласно приговору Нерона была заточена на острове Пандетерия, но заключение это долгим не было. Слово Тациту:

> «Прошло немного дней, и ей объявляют, что она должна умереть, хотя она уже признавала себя

> незамужней женщиной и только сестрою принцепса, взывая к именам их общих предков Германиков и, наконец, Агриппины, при жизни которой, пусть в несчастливом замужестве, она все же оставалась живою и невредимою. Ее связывают и вскрывают ей вены на руках и ногах; но так как стесненная страхом кровь вытекала из надрезанных мест слишком медленно, смерть ускоряют паром в жарко натопленной бане. К этому злодеянию была добавлена еще более отвратительная свирепость: отрезанную и доставленную в Рим голову Октавии показали Поппее».[167]

Не лучшее зрелище для беременной женщины, но молодая августа была довольна. Трагический треугольник — Октавия — Нерон — Поппея — вызвал к жизни спустя несколько десятилетий после гибели Октавии появление исторической драмы «Октавия», имя автора которой, увы, до нас не дошло. Трагедия не относится к числу высокохудожественных произведений римской литературы, но достаточно любопытна. В ней действуют исторические персонажи, среди которых и сам Нерон, и обе женщины — бывшая и будущая супруги — и Сенека. Все симпатии автора, естественно, на стороне несчастной Октавии. Сенека осуждает Нерона за его жестокость, но не в силах что-либо изменить. «Октавия» достаточно точно описывает атмосферу тех дней. В ней переданы и страхи Поппеи, давящей на Нерона, и страхи самого принцепса, расправляющегося с ни в чем перед ним не повинной женщиной. «Октавия» — единственная римская историческая трагедия, сохранившаяся до наших дней, написанная по достаточно свежим следам происшедших событий и потому достаточно точно передающая восприятие современниками Нерона его деяний.

К событиям этого года относится уход из жизни двух наиболее известных вольноотпущенников. Их смерть молва приписывала Нерону, якобы избавившемуся от неугодных более Дорифора и Палланта при помощи яда. Причины назывались следующие: Дорифор противодействовал браку Нерона с Поппеей, а Паллант обладал огромным состоянием. Если либертин Дорифор — тот самый Дорифор, который согласно утверждению Светония стал «супругом» Нерона, то его сопротивление женитьбе Нерона по-своему объяснимо. Еще одна роковая гомосексуальная ревность? Дорифор слыл человеком незаурядного ума и выдающихся способностей. Тацит называет его виднейшим из либертинов наряду с Паллантом, игравшим долгое время большую роль в управлении государством. Он же в

отличие от Светония называет сожителя Нерона Пифагором и относит карикатурную «свадьбу», где цезарь играл, и весьма убедительно, роль «невесты», к несколько более позднему времени.

Кто более точен из двух римских историков — сказать сложно. Паллант был очень стар и смерть его могла быть естественной. К тому же нет сведений о присвоении Нероном его огромного состояния. Противодействие Дорифора свадьбе Нерона и Поппеи и сам факт его отравления также, прежде всего, основаны на слухах.

Год следующий принес Нерону великую радость: он стал отцом. Поппея родила ему дочь, получившую имя Клавдия Августа, но прожила девочка совсем немного и спустя несколько месяцев Нерон испытал сильнейшее горе. Смерть маленькой августы император переживал очень сильно. Обрекая без колебаний на смерть неугодных людей, не исключая и родную мать, Нерон оставался способен глубоко переживать за судьбы людей, ему близких. Да и можно ли удивляться искренности горя отца, потерявшего первенца? Личная трагедия не извиняет Нерона, ставшего источником бедствий многих и многих людей.

И рождение, и смерть маленькой августы стали в Риме событиями общественной важности. Сенат заранее препоручил материнство Поппеи богам, а после родов помимо благодарственных молебствий было принято решение воздвигнуть в честь рождения дочери Нерона храм Плодовитости, на троне Юпитера Капитолийского должно было поместить золотые изваяния двух сестер Фортун. Помимо этого предлагалось учредить состязания по образцу тех игр, которые некогда Август учредил в честь победы над Марком Антонием при Акциуме. Приравнять рождение первенца императора к победе, давшей Октавиану власть над всей Римской республикой, — сенат воистину превзошел самого себя в раболепстве.

Клавдия родилась в Анции, на родине самого Нерона. Когда весть о ее рождении пришла в Рим, сенат в полном составе отправился поздравлять Нерона. Только один человек был лишен счастья лицезреть ликующего отца, новорожденную августу и счастливо разрешившуюся от бремени августу-мать. Тразея Пет был принужден остаться в Риме. Воспрещение поздравлять цезаря — не просто жестокое оскорбление, но, как многие не без основания полагали, предвестие гибели. Но когда Нерону стало известно, что Тразея перенес оскорбление с присущей ему непоколебимой твердостью духа, он сделал вид, что простил его на радостях и даже похвалился Сенеке, что отныне он помирился

со строптивым сенатором. Сенека, находившийся уже не у дел, но все еще близкий ко двору, от души поздравил Нерона с таким примирением.

Возможно, Нерон специально сообщил Сенеке весть о перемене к лучшему своих отношений с Тразеей, чтобы проверить его отношение к опальному сенатору. Отсюда, наверное, и грустный вывод Тацита, что из-за этого *«возросла слава этих выдающихся мужей и вместе с тем угрожавшая им опасность»*. [168] Впрочем, пока Нерон был далек от мыслей о принятии суровых мер к Тразее и Сенеке. Независимость Тразеи и симпатии к нему Сенеки, конечно же, раздражали его, но прямой опасности от этого он еще не видел. Потому мог играть в великодушие. Великодушнейшим правителем, неустанно радеющим о благе народном, Нерон сумел в 63 году представиться всему Риму. Год оказался крайне неудачным для поставок зерна в столицу Империи. Двести кораблей были уничтожены бурей, а сто других, уже вошедших в Тибр и плывших вверх по течению к Риму, погибли от пожара.[169]

Надо сказать, что называемые Тацитом цифры все же представляются несуразными. Непонятно, откуда в Средиземном море близ италийских берегов мог образоваться тайфун, ибо только такой природный катаклизм мог бы потопить двести кораблей разом. И уж совсем загадочен пожар, возникающий одновременно на ста (!) подряд кораблях зернового каравана.

Наверное, какие-то корабли могли действительно затонуть, на борту какого-то судна мог вспыхнуть и пожар. Недопоставка зерна в Рим вполне могла иметь место, но то, что она совсем не носила катастрофического характера, вполне очевидно. Накопленные запасы в Риме были очень велики и хранились в огромном количестве так долго, что Нерону даже пришлось распорядиться уничтожить, сбросив в Тибр испортившиеся от длительного хранения запасы зерна. Оставшихся запасов хватало настолько, что удалось даже удержать прежние цены на зерно. Дабы народ знал, что власть постоянно заботиться о благополучии государства и народа, Нерон назначил трех бывших консулов ведать сбором налогов в государственную казну. Назначение триумвиратом ответственных налогосборщиков Нерон сопроводил заявлением, что предшествующие ему принцепсы в своих непомерных тратах не знали границ, и потому их расходы превышали доходы государства от собираемых налогов. Нерон не только не уподобляется им, но, наоборот, жертвует из своей личной казны ежегодно государству шестьдесят миллионов сестерциев.

Римляне могли спать спокойно, ибо их благоденствие

находилось в надежных руках. Невольно, правда, закрадывается мысль: а не была ли неслыханная щедрость принцепса следствием того, что в его руках сосредоточились огромные состояния тех, кто погиб согласно его распоряжениям? Вспоминается и тетушка Домиция, и богатства Палланта… Все это, конечно, недоказуемо, но не задуматься над таким источником несметных сокровищ принцепса, позволяющим ему щедро подпитывать государственную казну, нельзя.

Демонстрируемое императором великодушие, объявленное через Сенеку стремление к искреннему примирению, возможно, и вдохновили Тразею Пета на очередную инициативу в сенате. Инициатива эта была выдержана в классическом староримском духе и ее должны были приветственно встретить сторонники сохранения и умножения достойных традиций предков.

В сенате разбирался случай непочтительного отношения некоего критянина по имени Клавдий Тимарх к римской государственной власти. Зарвавшийся провинциал, бывший на родном Крите, очевидно, весьма значимой фигурой, хамовато заявил, что только от него зависит, будет ли вынесена благодарность проконсулам, управляющим островом. Речь Тразеи стала своеобразным гимном старым римским обычаям, не позволяющим никому, кроме самих римлян, судить о достоинствах римской власти. Приведя ряд примеров благодетельных законов, пресекавших всякого рода необузданности и восходящих к временам весьма отдаленным — один из этих законов датировался 59 годом до новой эры, другой — 149 годом до новой эры, а третий даже 204 годом до новой эры — Тразея предложил: *«Итак, для пресечения невиданной доселе надменности провинциалов давайте примем решение, достойное прямоты и твердости римской; нисколько не ослабляя попечения о союзниках, нужно отказаться от представления, что оценка деятельности наших людей может зависеть от чего-либо кроме суждения римских граждан»*.[170]

Предложение Тразеи вызвало всеобщее сочувствие у сенаторов, но специального сенатского постановления, как и в предыдущем случае, когда речь шла о смягчении наказания злоязычному Антистию, не последовало. Бдительные консулы немедленно заявили, что по данному вопросу не был представлен надлежащий доклад. Сенатор Тразея Пет был ведь только выступившим в прениях, но не специальным докладчиком. С формальной стороны дела все обстояло именно так. Воистину «Videant consules!» — «Да бдят консулы!»

Постановление, полностью соответствующее предложениям Тразеи, было вскоре все же принято, но принято на основании

указания принцепса. Не дали строптивцу очередной раз предвосхитить мудрое решение цезаря.

Думается, Тразея, выступая с предложением, импонирующим всему сенату, не в нем видел главный смысл своей речи. Конечно, предложение полностью соответствовало его собственным убеждениям настоящего римлянина, верного отеческим заветам, но важнее было напомнить сенаторам о тех временах, когда сенат римского народа был действительным советом отцов отечества, самостоятельно решавшим все важнейшие для государства вопросы. Отсюда и напоминание о благодетельных законах Юлия, Ципция, Кальпурния. Законах времен республиканских…

Конечно, видеть скрытый республиканский дух в выступлениях Тразеи было бы неверным. Республика умерла давно и безвозвратно, что всем было ясно. Но напомнить о сенате былых времен для пробуждения чувства собственного достоинства — дело должное и необходимое и немалого гражданского мужества требующее.

Год 63-й был отмечен также природным катаклизмом: землетрясение сильно разрушило город Помпеи, расположенный близ Везувия. Своего рода предупреждение о более грозном бедствии, которое случится спустя полтора десятилетия…

Многие обратили внимание на событие, которое легко было воспринять как угрожающее благополучию будущего Нерона знамение: молния ударила в гимнасий, построенный по повелению Нерона, здание сгорело, а находящаяся в нем статуя цезаря расплавилась, прекратившись в бесформенный слиток. Год 64-й, когда завершилось второе пятилетие правления Нерона, принес величайшее бедствие, с него должно отсчитывать закат этого царствования.

Пожар Рима

Рим горел многократно. Только на памяти современников Нерона было три больших пожара, опустошивших целые кварталы столицы Империи. Первый случился при Августе в 6 году, второй при Тиберии в 28 году и последний раз Рим горел в год начала правления Нерона — в 54 году. Пожароопасность естественным образом вытекала из характера самого города, чье население в это время уже превышало миллион человек. Огромный по населению город занимал сравнительно небольшую площадь и потому отличался чрезвычайной теснотой. Да, в Риме было много прекраснейших зданий, украшавших Капитолий, Палатин, находившийся в низине между двумя холмами Форум. Но

большую часть города составляли узкие, извилистые улицы, на которых стояли густонаселенные пяти-шестиэтажные дома, именовавшиеся insulae — острова. Улочки Рима то спускались к низине, то вновь карабкались на холмы. Были они достаточно темны и не всегда там могли разъехаться две повозки, а иногда и всадники. Чистотой улицы в большинстве своем не отличались, несмотря на все усилия эдилов, в чьи обязанности входила забота о чистоте, порядке и благоустройстве в городе. Иной зазевавшийся прохожий мог споткнуться о недавно выброшенный на улицу прямо из окна мусор, а то и получить на голову тот же мусор или помои. Впрочем, если вспомнить «Римские рассказы» Альберто Моравиа, подобное вовсе не исключалось в окраинных кварталах Рима и во второй половине XX века. В нижних этажах инсул размещались бесчисленные лавчонки и мастерские, во дворах домов возникали разного рода пристройки, где чаще всего и возникали пожары. Инсулы были очень густо населены, и потому в случае, когда их охватывал огонь, человеческие жертвы могли быть немалыми. Хотя Август и похвалялся, что, застав Рим кирпичным, он оставил его мраморным, его слова были справедливы только для центральной части города, а кварталы, населенные простым людом, имели вид весьма неказистый и были очень пожароопасными, что действительность многократно подтверждала.

Казалось бы, Рим пожаром не удивишь. Печальное, но, увы, совсем не редкое явление. Но тот пожар, который начался в Риме в ночь с 18 на 19 июля 64 года, стал самым знаменитым пожаром во всей римской истории, а пожалуй, и наиболее известным в мировой истории гибели городов в огне.

Даже сама дата заставила суеверных римлян провести неприятную аналогию: 10 июля 390 года до новой эры галлы, захватившие Рим под предводительством вождя Бренна, сожгли город, предварительно разграбив его и перебив гордых сенаторов, отказавшихся покинуть свои дома, дабы не выказать страха перед захватчиками. Размах нового пожара невольно заставлял жителей проводить самые мрачные аналогии и находить самые удивительные объяснения случившемуся бедствию. Римские историки оставили подробные описания этого великого пожара. Тацит:

> «…Разразилось ужасное бедствие, случайное или подстроенное умыслом принцепса — не установлено (и то и другое мнение имеет опору в источниках), но во всяком случае самое страшное и беспощадное изо всех, какие довелось претерпеть этому городу от неистовства

пламени. Начало ему было положено в той части цирка, которая примыкает к храмам Палатину и Целию; там в лавках с легко воспламеняющимся товаром вспыхнул и мгновенно разгорелся огонь и, гонимый ветром, быстро распространился вдоль всего цирка. Тут не было ни домов, ни храмов, защищенных оградами, ни чего-либо, что могло бы его задержать. Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднявшееся затем на возвышенность и устремившееся снова вниз, опережало возможности бороться с ним и вследствие быстроты, с каковою надвигалось это несчастье, и потому, что сам город с кривыми, изгибавшимися то сюда, то туда улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей. Раздавались крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, беспомощных детей; и те, кто думал лишь о себе, и те, кто заботился о других, таща на себе немощных или поджидая их, когда они отставали, одни медлительностью, другие торопливостью увеличивали всеобщее смятение. И нередко случалось, что на оглядывавшихся назад пламя обрушивалось с боков или спереди. Иные пытались спастись в соседних улицах, а когда огонь застигал их и там, они обнаруживали, что места, ранее представлявшиеся им отдаленными, находятся в столь же бедственном состоянии. Под конец, не зная, откуда нужно бежать, куда направляться, люди заполняют пригородные дороги, располагаются на полях; некоторые погибли, лишившись всего имущества и даже дневного пропитания, другие, хотя им и был открыт путь к спасению, — из любви и привязанности к близким, которых они не могли вырвать у пламени. И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить свое жилище, вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром; а были и такие, которые открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле».[171]

Дион Кассий:

«Весь город охватило необычайное смятение, люди метались туда и сюда как безумные. Некоторые пытались помочь друзьям, хотя и опасались, что тем временем вспыхнет их собственный дом. Другие еще не осознали

до конца, что они находятся в опасности и что все гибнет. Те, кто находились внутри домов, устремились в узкие переулки, надеясь найти убежище снаружи; другие, наоборот, искали себе спасения в зданиях. Дети, женщины, мужчины, старики — все кричали и плакали. Из-за дыма и воплей ничего нельзя было ни увидеть, ни понять. Кто-то оставался там, где он находился, — онемевший и отупевший от страха. Многие из тех, кто спасал свое добро или грабил имущество других, устремились друг за другом и валились на землю под тяжестью узлов. Невозможно было двигаться вперед и вместе с тем невозможно было оставаться на месте, потому что все толкали и всех толкали, одни опрокидывали других и тут же были сбиваемы с ног сами. Многие задохнулись, затоптанные другими. И спастись было невозможно, потому что тот, кто избежал одной опасности, немедленно встречал другую — смертельную».[172]

Светоний в своем описании великого пожара Рима сделал упор на виновность в происшедшем Нерона:

«…И к народу, и к самым стенам отечества он не ведал жалости. Когда кто-то сказал в разговоре: «Когда умру, пускай земля огнем горит!» «Нет, — прервал его Нерон, — пока живу!» И этого он достиг. Словно ему претили безобразные старые дома и узкие кривые переулки, он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать; а житницы, стоявшие поблизости от Золотого дворца и, по мнению Нерона, отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежище в каменных памятниках и склепах. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, еще украшенные вражеской добычей, горели храмы богов, возведенные и освященные в годы царей, а потом — пунических и галльских войн, горело все достойное и памятное, что сохранилось от древних времен. На этот пожар он смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение Трои». Но и здесь не упустил он случая для

> добычи и поживы: объявив, что обломки и трупы будут сожжены за государственный счет, он не подпускал людей к остаткам их имущества; а приношения от провинций и частных лиц он не только принимал, но и требовал, вконец исчерпывая их средства».[173]

В упоминавшейся трагедии «Октавия», написанной скорее всего лет через двадцать — тридцать после происшедших событий, Нерон также уверенно называется виновником страшного пожара Рима.

Если современники великого пожара и писавшие о нем историки эпохи Римской империи не питали каких-либо сомнений в причастности Нерона к трагедии Вечного города, то исследователи времен позднейших, по сути, единодушно в невиновности Нерона не сомневаются.[174]

Убежденность самих римлян в преступности правящего принцепса основывалась, прежде всего, на потрясшем всех известии, что во время ужасного бедствия, когда столица империи пылала и в огне погибали не только бесценные исторические памятники, сокровища, жилища и добро горожан, но и тысячи людей, цезарь, вырядившись в театральный наряд, пел о погибели Трои! Столь нелепое и противоестественное для нормального очевидца страшного бедствия поведение не могло не поспособствовать появлению соответствующего слуха: поджег Рим, чтобы, любуясь, исполнить дурацкую песнь собственного сочинения! Что ж, «как аукнется, так и откликнется» или «каков привет, таков и ответ». Подобным образом люди мыслили во всех странах во все эпохи.

А уж когда убийственный слух широко распространился — в потрясенном бедствием народе прежде всего распространяются любые, даже самые удивительные слухи, — многие вспомнили, что какие-то люди вроде как мешали тушить пожар, а когда он все-таки начал стихать, то возобновился вновь близ дома Тигеллина, любимца Нерона. Кому же, как не ему, исполнять безумные прихоти безумного цезаря?

Конечно, вид пылающего города легко мог вызвать невольное сравнение его с гибнущей в огне Троей. В Риме хорошо знали и греческую «Илиаду», и свою римскую «Энеиду». Наиболее образованные люди приводили исторический пример, когда один из знаменитейших римлян, глядя на горящий перед ним громадный город, вспомнил трагическую участь града Приама: это был славный Публий Корнелий Сципион Эмилиан, под чьим командованием римские легионы овладели, наконец, Карфагеном, победоносно завершив Третью Пуническую войну и

почти стодвадцатилетнее противостояние двух великих держав. Преданный огню согласно постановлению римского сената Карфаген вызвал у Сципиона не чувство торжества, но скорбь и верные мысли о бренности всех держав, долго упивавшихся ранее своим могуществом. Не делал римский полководец здесь исключения и для своего отечества…

> «Говорят, Сципион при виде окончательной гибели города заплакал и громко выразил жалость к неприятелю. Долго стоял он в раздумье о том, что города, народы, целые царства, подобно отдельным людям, неизбежно испытывают превратности судьбы, что жертвою ее пали: Илион, славный некогда город, царства ассирийское, мидийское и еще более могущественное персидское, наконец, так недавно и ярко блиставшее македонское царство. Потом намеренно или невольно, потому что слово само сорвалось с языка, Сципион воскликнул:
>
> > Будет некогда день и погибнет священная Троя,
> > С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
>
> Когда Полибий, который был также и наставником его, прямо спросил Сципиона, как понимать его слова, тот, говорят, не постеснялся сказать откровенно, что боится за отечество при мысли о бренности всего человеческого».[175]

Нерона подобные высокие мысли не могли обуревать. Будучи способен на глубокую скорбь, если она его самого касалась, скорбеть по поводу чужих бедствий он не был особенно склонен. Давно он уже не был тем мальчиком, что плакал, увидев гибель возницы в цирке. Мысль о том, что в огне сейчас гибнут люди, что бедой охвачен почти весь миллионный город, не пришла ему как-то в голову. Но пришла мысль иная: ни один артист не пел еще и навряд ли когда-либо споет на таком подлинно потрясающем фоне! Петь о пожаре Трои на фоне пылающего города, равного сотне городов Приама, — величайшее счастье для подлинно великого артиста! Такое удалось только Нерону, и когда еще появится, если появится вообще, певец, который споет о погибающей в огне Трое при такой декорации?

Да, невозможно усомниться в том, что был Нерон артистом до мозга костей. Но в случае с пением «Крушения Трои» он

совершил роковую для артиста ошибку: истинный актер всегда знает заранее, как публика воспримет его выступление. Безнаказанность преступлений Нерона и потоки льстивых речей, их оправдывающих, заглушили у него здравый смысл. Императору-певцу и в голову не пришло, что народ, пребывающий в горе и беде, должен видеть своего правителя скорбящим вместе с ним, а не упивающимся своим артистическим видением мира. Когда же весть о том, что народ однозначно полагает виновником ужасного пожара и своих бедствий именно Нерона, дошла до изумленного цезаря, он постарался сделать все, чтобы поскорее отстроить Рим и помочь пострадавшим, но было уже поздно. Даже при восстановлении Рима Нерон, проявивший, наконец, казалось бы, достойную заботу о народе, сумел еще раз разозлить подданных, усугубив слухи о своей зловещей роли в пожаре. Принцепс и сам был среди жестоко пострадавших — как-никак сгорел его дворец со всем имуществом, что, разумеется, не могло Нерона не огорчить. Но когда началось строительство нового дворца, в знак особого его великолепия названного Золотым, римляне сразу заметили, что новая обитель имперского двора по размерам уж больно превосходит предшествующую. Грандиозная площадь нового дворца была достигнута благодаря расчистке ряда выгоревших кварталов, прежний дворец окружавших. Отсюда немедленный вывод недоброжелателей Нерона, число которых после великого пожара резко возросло: вот для чего этот бессердечный человек велел поджечь собственную столицу! Ему просто не хватало места для постройки нового дворца!

Все благодеяния Нерона, и щедрые раздачи денег и продовольствия, и действительно блестяще продуманное и прекрасно осуществленное восстановление Рима — в перестроенном при Нероне виде столица империи просуществует еще почти четыре столетия, вплоть до гибельного для нее нашествия вандалов конунга Гейзериха в 455 году — не могли спасти его навсегда подорванной репутации. Заботящегося о народе цезаря теперь не помнили, но к ужасному званию матереубийцы добавился еще и страшный титул поджигателя Рима. Что бы он ни делал, какую бы действительную общественную пользу ни приносили его деяния, все равно современники продолжали считать Нерона главным поджигателем Рима, а все последующие его дела полагали лишь попыткою загладить свою вину. Не помогало Нерону и быстрое отыскание тех, кого можно было обвинить в поджоге столицы. Более того, именно расправа с мнимыми виновниками пожара Рима и превратила Нерона в антихриста.

Немедленно принятые Нероном меры помощи пострадавшим от пожара были своевременными и вполне соответствовали ситуации. Для погорельцев были открыты Марсово поле, собственные сады Нерона. Спешно возводились временные строения дня тех, кто в результате пожара утратил свое жилье. А таких было множество. Из четырнадцати городских кварталов Рима пожаром оказались объяты десять, из которых три выгорели дотла, а в семи остальных *«сохранились лишь ничтожные остатки обвалившихся и полусожженых строений»*.[176] В город незамедлительно доставили продовольствие и цена на него была заметно снижена, учитывая бедственное положение сотен тысяч жителей Рима.

Но все эти действительно разумные и благодетельные меры никак не могли убедить народ в добрых намерениях принцепса. «Нерон — поджигатель!» — этот слух не только не прекращался, но, наоборот, стремительно распространялся. Известно, что именно среди бедствующего народа проще всего распространяются самые удивительные слухи, неожиданно объясняющие и конкретно указывающие виновника народных страданий. Чем поразительнее слух, тем скорее утвердится он во мнении народном, особенно если указывает на именитого виновника. Трудно было изобрести что-либо более удивительное, а потому для потрясенного бедствием и страдающего народа более убедительное, нежели утверждение, что сам цезарь велел поджечь Рим себе на потеху.

Нерону и его окружению стало очевидно, что надо принять ответные действия, простейшее — это жестокое преследование распространителей зловредных слухов, но поскольку число злоумышленников и злоречивых исчислялось по меньшей мере десятками, если уж не сотнями тысяч, то такой способ противодействия очернению светлого имени цезаря следовало сразу же признать негодным. Попытки наказывать распространителей чудовищной сплетни как раз окончательно убедили бы всех в совершенной подлинности слуха об императоре-поджигателе. Потому было решено отвлечь внимание народа, указав на «истинных» поджигателей, поиск которых оказался непродолжительным.

Далее слово Тациту, сообщившему потомкам уникальные сведения о событиях в Риме после великого пожара:

> «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, кто

> своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пришла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащим к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их обличали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязаниях колесниц. И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона».[177]

Действительно, обмануть никого не удалось. В вину христиан не поверили даже те, кто относился к ним с крайней недоброжелательностью. Если у Тацита безвинные страдания христиан даже пробудили сострадание к ним, то Светоний полагал наказание христиан справедливым и ставил его в заслугу Нерону: *«Наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия»*.[178] В то же время именно Светоний наиболее категорично возлагал на Нерона вину за поджог Рима…

Процитированные выше строки из пятнадцатой главы «Анналов» Тацита можно смело полагать самыми знаменитыми строками из его сочинений. Исторические споры вокруг них не утихают до настоящего времени и едва ли когда-либо прекратятся. Гиперкритиков античных авторов и особенно историков, следовавших или вынужденных следовать в узком русле воинствующего безбожия, они крайне раздражали и их вопреки всякому здравому смыслу даже объявляли «интерполяцией», то бишь позднейшей вставкой. Ведь

требовалось доказывать, что Иисуса Христа вообще никогда не существовало!

На деле же строки эти отразили событие, историческое значение которого переоценить не представляется возможным и смысл которого современникам, особенно римлянам, никак не мог быть понятен. Произошло первое столкновение Рима и христианства, великой Империи и юной религии, не вышедшей еще за рамки незначительной секты. Столкновение, ставшее началом великого противостояния, во многом предопределившим судьбы не только самой римской державы, но и всей античной цивилизации. Не случайно крупнейший историк заката Римской империи Эдвард Гиббон именно христианство полагал главной силой, сокрушившей Рим, а знаменитый философ Фридрих Ницше писал:

> «Imperium Romanum, каким мы знаем его, каким все лучше узнаем по истории римских провинций, это поразительнейшее творение в монументальном стиле — оно было только началом, строительство было рассчитано на века, которые оправдали и подтвердили бы его… С тех пор так не строили — не мечтали строить так, sub specie detemi (под знаком вечности). Организация была столь крепкой, что выносила и дурных императоров: случайной личности ничего не поделать с таким замыслом, — вот самый первый принцип архитектуры большого стиля. Но она была недостаточно прочной, чтобы противостоять наихудшему виду порчи — христианину».[179]

Разумеется, совершенно необязательно (скорее, и не нужно) соглашаться с немецким философом в характеристике христианина как наихудшего вида порчи, но то, что он оказался в непримиримом противоречии с римской цивилизацией, — несомненно.

Христианские мыслители античной эпохи именно Нерона полагали зачинателем гонений на свою веру. Вот что писал крупнейший историк христианской церкви Евсевий Памфил:

> «Когда власть Нерона окрепла, он устремился к делам нечестивым и восстал на веру в Бога Вседержителя. Писать о всех мерзостях; на которые он был способен, не наша нынешняя задача, да и многие оставили очень подробные рассказы о нем, кому любопытно, может ознакомиться с грубостью и безумием этого нелепого человека, безрассудно погубившего тьму

людей, не щадившего по своей кровожадности ни родных, ни друзей: он погубил мать, братьев и жену, словно злейших врагов своих, предав их различной смерти. Недоставало ему одного: стать первым императором — гонителем веры в Бога».[180]

Римлянин Тертуллиан так вспоминает об этом:

«Возьмите записи о вашем прошлом: вы найдете, что Нерон был первым, кто стал преследовать наше учение, когда, покорив весь Восток, стал особенно свирепствовать в Риме. Мы хвалимся таким зачинателем гонения, ибо кто же, зная его, не подумает, что Нерон не осудил бы христианства, не будь оно величайшим благом».

Тертуллиан писал на рубеже II–III веков, Евсевий — в IV веке, но еще ранее современник Нерона, один из первых христианских писателей Иоанн из Патамоса в своем знаменитом «Откровении» объявил Нерона антихристом. Знаменитое число 666, скрывающее антихристово имя, означает «цезарь Нерон». Это установили ученые еще в XIX веке.

Самое поразительное, что Нерон сознательно преследовать христиан за их веру не собирался и, пожалуй, не тронул бы их, не появись зловреднейший слух о нем как о поджигателе Рима, что вызвало необходимость в поиске тех, кому ужасный поджог можно было бы приписать. Думается, поиском мнимых виновников, конечно же, не сам цезарь занимался. Наверняка поручение было дано Тигеллину. Но почему наиболее удобными для обвинения в поджигательстве оказались христиане? Кто указал на них?

По поводу последнего у историков разногласия нет. На христиан могла указать Поппея Сабина, которую в свою очередь навели на эту мысль близкие к ней иудейские первосвященники, находившиеся в то время в Риме. О благосклонном отношении супруги Нерона к иудаизму писал Иосиф Флавий, знаменитый римско-иудейский историк I века, современник этих событий. Незадолго до пожара Рима в 63–64 годах он, будучи в Риме, добился от властей освобождения из тюрьмы нескольких иудейских священников и разрешения спора между прокуратором Иудеи Альбином и тетрархом Иродом Агриппой II в пользу последнего. Свой успех в Риме Иосиф напрямую связывал с расположением Поппеи к иудаизму.[181] Августа даже приблизила к себе иудейского первосвященника Измаила и казначея храма Соломона Хелкию. Скорее всего, эти люди и подсказали Поппее

Сабине, кого следует представить злонамеренными поджигателями, когда стало очевидным, что идет поиск тех, кого должно обвинить в пожаре Рима. Они могли здесь руководствоваться прежде всего совсем не простыми отношениями, сложившимися между иудаизмом и молодым христианством.

Новая религия, зародившаяся в недрах иудаизма, с самого начала бросила ему решительный вызов. Взяв от иудаизма важнейший постулат единобожия и приняв в основном традиции Ветхого Завета, христианство очень быстро пришло к мысли, изложенной святым Павлом: *«Несть [перед Богом] ни эллина, ни скифа, ни иудея»*. Вера, основанная на этом утверждении, неизбежно должна была распространяться среди всех народов без исключения, а это исключает самую возможность существования какого-либо богоизбранного народа. Иудаизм не мог выйти за рамки религии одного народа, тем более что в той сложной ситуации, в которой находилась Иудея, приверженность к вере отцов была и способом национального выживания. Для многочисленной уже на просторах империи иудейской диаспоры отказ от религиозной замкнутости мог означать угрозу растворения в других народах. Потому христианство, зародившееся в Иудее в иудейской же среде и так быстро обратившееся к проповеди своего учения среди самых разных народов, ни для кого не делая исключения, неизбежно должно было встретить противодействие со стороны ортодоксального иудаизма. Не могло не смущать правоверных иудеев и то, что основатель христианства согласно евангелической традиции говорил о неизбежном разрушении храма Соломона:

> «И вышел Иисус… от храма. И приступили к нему ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено». [182]

Согласно Евангелию именно обвинение в намерении разрушить храм, подкрепленное двумя лжесвидетельствами, стало основой смертного приговора синедриона Иисусу:

> «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили; и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля. И сказали: Он говорил: «Смогу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встав,

первосвященники сказали Ему: что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал».[183]

Богохульство против храма означало по иудейскому закону богохульство против самого Бога.[184]

Наконец то, что последователи Иисуса после его гибели продолжали считать своего вероучителя мессией, также не могло расположить к ним правоверных иудеев. Потому не случайно первой жертвой гонений на христиан стал святой Стефан, прямо обвинявший первосвященников, что они не признали в Иисусе мессию (Праведника) и преступно предали его смерти:

> «Жестокосердные! Вы всегда противитесь Духу святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы».[185]

Стефан был побит камнями. Событие датируется 36 годом. При казни его присутствовал молодой уроженец города Тарса в Киликии Саул, поначалу одобривший жестокую расправу над последователем Иисуса. Но вскоре он раскается в этом и позднее, приняв римское гражданство и имя Павла, станет крупнейшим проповедником нового учения во многих провинциях империи вплоть до самого Рима. Роль святого Павла признается в деле распространения христианства столь выдающейся, что один историк атеистического направления, написавший ряд ярких популярных работ на тему ветхозаветных и евангелических преданий, самым серьезным образом предлагал именовать христианство павлианством в память о заслугах славного апостола…

Выдающимся проповедником христианства стал и другой апостол, пути коего тоже привели его в Рим, — святой Петр. Именно его проповедь, возможно, впервые ввела в христианскую общину язычников:

> «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников: ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его побыть у них несколько дней».[186]

Первым же римлянином-христианином, согласно «Деяниям апостолов», можно считать знаменитого центуриона Корнилия, обращение которого связано с деятельностью святого Петра.

Следующей жертвой гонений из числа ведущих последователей Иисуса стал Иаков. Эта расправа была уже на совести иудейского царя Ирода Агриппы I:

> «В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом; видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра».[187]

Петру пришлось пробыть некоторое время в темнице, темницы не избежал и Павел за свою проповедь. Наконец спустя много лет оба апостола оказались в Риме, где правил Нерон.

Первые гонения на христиан были делом либо иудейских первосвященников, либо местных иудейских правителей. В то же время уже в I веке решительно противопоставлять иудеев и христиан было бы неверно, поскольку и сами проповедники учения Иисуса были иудеями и проповедь свою вели в первую очередь среди иудеев. Временами это приводило к столкновениям. Римские власти долгое время сторонились споров между иудеями и христианами, полагая их, должно быть, внутриудейским делом, римские интересы прямо незатрагивающим. Реагировали единственно в случае возникновения явных волнений. Так, еще в правление Клавдия (41–54 гг.) в Риме приключались беспорядки в иудейской общине, вызванные, возможно, христианской проповедью. И тогда «иудеев, постоянно волнуемых Христом, он изгнал из Рима».[188] Решение это принималось, похоже, в духе известных пушкинских строк: «Разбери… кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи». Ко времени Нерона данное происшествие было уже забыто, в Риме благополучно существовала вновь иудейская община, была и община христианская. Но первая имела немалое преимущество перед второй: ей покровительствовала сама августа. Расположением Поппеи Сабины и воспользовались, очевидно, недоброжелатели христиан из иудейской среды, дабы римскими руками покончить с этой еретической с их точки зрения сектой. Нерону оставалось только согласиться с предложением супруги, тем более что оно выглядело на первый взгляд вполне удачным: некая загадочная, мало кому понятная секта, а все малопонятное выглядит угрожающим, вполне подходила на роль гнезда злоумышленников. Удивляет другое: размах преследований, изуверство расправы — все это не в духе Нерона. Мы знаем, он никогда не жаловал кровавых зрелищ, расправляясь со своими

врагами, и действительными, и мнимыми, он не прибегал к особо жестоким и мучительным казням. Практиковались отравление, приказ вскрыть вены, на крайний случай простое убийство ударом меча, как в случае с Агриппиной. Да и все расправы носили одиночный характер. Одна только массовая казнь была до пожара Рима при Нероне — убиение четырехсот рабов Педания Секунда, но так этого требовал закон… Казни же христиан — травля зашитых в звериные шкуры людей собаками на цирковой арене, горящие осветительные факелы из живых людей — никак не согласуются с привычками императора-артиста. Кстати, и здесь известно лишь то, что он присутствовал в это время в цирке, участвуя в состязаниях колесниц в качестве возничего, а о том, что он был зрителем во время лютых казней христиан, нам ничего не известно.

Логично предположить, что в случае с христианами Нерон предоставил полную свободу Тигеллину. Он должен был изобрести примерную казнь для христиан, дабы народ, увидев заслуженную кару подлинных поджигателей, перестал болтать глупости о своем цезаре. Народ в отличие от цезаря кровавые зрелища обожал, из чего, похоже, и исходил Тигеллин. Префект претория был человеком крайне жестоким, злобным и, к несчастью, еще и не лишенным фантазии. Последнее он уже доказал, организовав совсем незадолго до повара Рима фантастический праздник Эроса для Нерона и всего императорского двора. Кошмарный сценарий казней христиан мог написать только такой человек, как Тигеллин.

Итак, иудейские священники подсказали Поппее, кого лучше всего обвинить в поджоге Рима, Тигеллин изобрел изуверские казни и расправился с множеством людей, далеко не все из которых были христианами, но вся вина за происшедшую трагедию пала на одного Нерона. Ему принадлежала верховная власть в Риме, он своей волей санкционировал и лживое обвинение, и бесчеловечную расправу над безвинными людьми. На нем и ответственность за все. Таков суровый суд истории.

Особую значимость расправе над христианами, случившейся при Нероне, придало присутствие в Риме в это время двух знаменитейших апостолов — Петра и Павла. Их гибель тоже пала на Нерона.

Вот что писал о судьбе двух проповедников учения Христа Евсевий Памфил в своей «Церковной истории»:

> «Итак, этот первый среди властителей богоборец горделиво поднял руку на апостолов. Рассказывают, что Павел был при нем обезглавлен в самом Риме, а Петр

распят; рассказ этот подтверждается именами Петра и Павла, уцелевшими на кладбищах этого города. Это же утверждает и клирик, именем Гай, живший при Римском епископе Зефирине. Писшенно возражая Проклу, главе катафригийской секты, он так говорил о тех местах, где положены священные останки упомянутых апостолов:

«Я могу показать тебе победный трофей апостолов. Если ты пойдешь в Ватикан или по Остийской дороге, ты найдешь трофей тех, кто основал эту Церковь».

Что оба апостола мученически скончались в одно и то же время, подтверждает Дионисий, епископ Коринфский, в письме своем римлянам: «Вы в вашем сообщении соединили питомники, насажденные Петром и Павлом в Риме и в Коринфе. Оба насаждали у нас в Коринфе, одинаково научая нас; одинаково они вместе поучали в Италии и мученически скончались в одно и то же время».

Это вот для того, чтобы еще больше подтвердить мой рассказ».[189]

Павел был римским гражданином и потому избежал лютой казни распятия на кресте. Привилегией римских граждан было право на быструю казнь, на не позорную смерть от меча.

Об обстоятельствах смерти Петра рассказывает знаменитая легенда об уходе апостола из Рима в разгар Неронова гонения. Согласно ей апостол Петр удалился из Рима, где продолжались жестокие казни христиан. Но когда он вышел за городские пределы и шел по Аппиевой дороге, ведшей на юго-восток из Рима в Капую, он вдруг встретил Иисуса Христа. Потрясенный апостол пал на колени перед Спасителем и спросил его: «Quo vadis, Domine?» — «Куда идешь, Господи?» На что Иисус ответил, что направляется в Рим принять новое распятие. Устыдившись своего бегства от гонителей, Петр вернулся в Рим и сам отдался в руки властей. По преданию, он был распят вниз головой.

Позднее на Via Appia (Аппиевой дороге) была построена часовня, находящаяся на том месте, где согласно легенде апостол Петр встретил Иисуса Христа.

Расправа Нерона над христианами не уничтожила христианство в Риме. Более того, после гибели Павла и Петра был по жребию избран первый епископ Рима. Им стал видный сподвижник Павла Лин. Лина Павел упоминал в своем Втором послании к Тимофею, передавая приветствия от своих ближайших соратников: *«Приветствуют тебя Евнул и Пуд, и Лин и Клавдия, и все братия»*.[190]

Так родилась Римская церковь.

Жестоко расправившись с христианами, обвиненными в поджоге Рима, Нерон скоро потерял к ним всякий интерес. Ему ведь надо было только найти тех, на кого можно было возложить вину за ужасное бедствие, постигшее Рим, дабы недалекие римляне не продолжали возводить напраслину на своего принцепса. Кто были на самом деле люди, которым Тигеллин учинил столь неслыханные по жестокости казни, Нерону было безразлично. Свидетельством этого является то, что в дальнейшем преследование христиан в империи со стороны римских властей прекратилось. Первый закон о преследовании последователей Христа появится в Риме только полвека спустя при императоре Траяне (98–117 гг.). Из него будет следовать, что «доказанный христианин подлежит смерти». А как система преследование христиан в Римской империи утверждается только в правление Марка Аврелия (161–180 гг.), великого императора, великого философа-стоика и величайшего ненавистника христиан. Самым же беспощадным гонителем христиан стал Диоклетиан, великий преобразователь Римской империи (284–305 гг.). В отличие от Нерона эти властители Рима преследовали христиан целенаправленно, но христианская традиция, как это ни удивительно, к ним куда более доброжелательна. К Траяну и Марку Аврелию христианские писатели никогда не испытывали ненависти, а на Диоклетиана вину за беспощадное гонение возлагали куда в меньшей степени, нежели на его соправителей Галерия и Максимиана. Нерон же — антихрист.

Дело, наверное, не только в том, что Нерон был первым гонителем. Его гонение, конечно же, носило случайный характер, было кратковременным, но изуверские формы казней, изобретенные богатой фантазией Тигеллина, превосходили все мыслимые пределы человеческой жестокости. Наконец, при Нероне в Риме погибли два великих апостола — Петр, бывший наряду с братом своим Андреем первым из учеников Иисуса, и Павел, сыгравший величайшую роль в распространении учения Христа в пределах империи и донесший его до самого Рима. В результате мученический ореол молодой христианской церкви, мужественно перенесшей безвинно жесточайшее гонение, стал свидетельством ее силы, ее несгибаемости перед любыми бедствиями. Отсюда память о первом гонении, ненависть к первому гонителю утвердились в христианстве навсегда.

Глава VI
Заговоры и казни

Рим после пожара

Минул великий пожар, минули казни христиан, и Нерон приступил к восстановлению Рима. Столица империи, на обновление которой Нерон не останавливался ни перед каким расходами — необходимость такой безграничной щедрости, впрочем, диктовалась двусмысленным положением, в котором Нерон после пожара оказался, — быстро приобретала новый облик. Дабы исключить повторение подобного пожара, город перестраивался не беспорядочно, как некогда после нашествия галлов Бренна, но согласно тщательно продуманному и детально разработанному плану. Вместо узеньких и кривых улочек, бесчисленных переулков, стали появляться широкие улицы, новые кварталы были точно отмерены. С целью уменьшения пожароопасности и облегчения тушения в случае возникновения пожара была запрещена застройка дворов, а высота самих зданий была ограничена.

> «Городские здания он придумал сооружать по-новому, чтобы перед домами и особняками строились портики с плоскими крышами, с которых можно было бы тушить пожар; возводил он их за свой счет». [191]

Участки для строительства домов предоставлялись владельцам расчищенными за счет государства, а за завершение строительства особняков и доходных домов в установленные сроки их владельцам сообразно их сословному происхождению и размерам доходов выплачивалась денежная награда.

Для свалки бесчисленного мусора, оставшегося после пожара, было согласно распоряжению Нерона отведено новое место в приморских болотах близ римской гавани Остим в устье Тибра. Все корабли, приходившие в Рим вверх по Тибру, на обратном пути обязаны были вывозить мусор. Так удалось быстро очистить город от следов пожарищ.

Новые дома приказал строить без применения бревен, исключительно из мрамора и туфа ввиду огнеупорности этого камня. Владелец каждого дома обязан был держать во дворе готовые к применению противопожарные средства. Была создана

специальная городская служба, следившая за тем, чтобы вода в городе была повсеместно в достаточном количестве и общедоступна. Были расставлены надзиратели, следившие за тем, чтобы никто из частных граждан не отводил в свое владение воду в ущерб другим. Дабы в случае пожара огонь не перекидывался от здания к зданию, было запрещено строить дома с общими стенами. Более того, каждому зданию надлежало быть наглухо отгороженным от соседнего.

Скажем прямо, Нерон имел много больше оснований, нежели Август, утверждать, что он принял Рим кирпичный, а оставил его мраморным. Август великолепно украсил центр Рима, оставив основную территорию города в убожестве, в каковом она пребывала веками. Потому-то и был старый Рим так подвержен жестоким пожарам. Нерон перестроил весь город, сделав его подлинно прекрасной столицей великой империи. Можно смело утверждать, что удивительно быстро построенный Рим стал самым рационально распланированным, удобным, комфортабельным и обеспеченным всем необходимым для достойного жилья городом в мире. Великих пожаров он более не знал…

Даже Публий Корнелий Тацит, убежденный ненавистник Нерона, не мог не признать: *«Все эти меры, принятые для общей пользы, послужили вместе с тем и к украшению города»*.[192] Правда, здесь он все же не удержался и разбавил комплимент:

> «Впрочем, некоторые считали, что в прежнем своем виде он был благоприятнее для здоровья, так как узкие улицы и высокие здания оберегали его от лучей палящего солнца, а теперь открытые и лишенные тени просторы, накалившись, обдают нестерпимым жаром».[193]

Ничего не скажешь, воистину глубокомысленное рассуждение! Ну конечно же, прежние узенькие, кривые, сырые улочки, куда даже в полдень не заглядывало солнце, высокие дома, лишенные водопровода и канализации, постоянный дурной запах от открытых желобов, по которым стекались помои и нечистоты, были куда более полезны для здоровья римлян? А уж какое развлечение доставляли частые пожары!

Думается, недовольных новым обликом Рима было все же немного. Если выбирать между смрадом и жаром, то любой нормальный человек предпочтет последнее, да и жара в Риме пусть и частое явление, но ведь не круглосуточное!

Строительные планы Нерона не ограничивались только пределами Рима. Он намеревался продлить городские стены до

самой Остии, вдохновляясь историческим опытом Афин, в которых ему так и не суждено было побывать, но о которых наверняка он знал многое. Столица Аттики соединялась с приморским городом Пиреем так называемыми «длинными стенами» — они обеспечивали безопасную связь города с морской гаванью. В условиях постоянных войн, которые вели афиняне чаще всего со спартанцами, порой глубоко вторгавшимися в пределы Аттики, длинные стены имели большое оборонительное значение, не позволяя противнику блокировать город. Для Рима, строго говоря, такое грандиозное сооружение было бы, конечно, очень эффектным, но полезность его более чем сомнительна. Последний раз неприятель — это был грозный Ганнибал — подходил, и то ненадолго, к стенам Рима еще в далеком 211 году до новой эры. Тогда и появилась у римлян пугающая поговорка: «Hannibal ante portos!» — «Ганнибал у ворот!» Актуальной ей суждено было стать лишь в 410 году, когда у стен Рима стояли готские полчища конунга Алариха. Во времена же Нерона, спустя 275 лет после Ганнибала, когда рубежи империи были отодвинуты до берегов Рейна и Дуная, даже появление неприятеля в пределах Италии было делом невозможным, тем более у стен Рима…

Впрочем, другие его планы были вполне разумными. Строительство канала от Остии к Риму должно было улучшить снабжение города, поскольку недостаточно многоводный Тибр был малопригоден для прохождения большего количества крупных кораблей. Правда, от этого, несомненно, полезного строительства его отвлекли планы более эффектные, но с точки зрения большинства римлян малополезные.

> «Кроме того, начал он строить купальню от Мизена до Авернского озера, крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвести все Байские горячие источники; начал и канал от Аверна до самой Остии, чтобы можно было туда ездить на судах, но не по морю; длиною он должен был быть в сто шестьдесят миль, а шириной такой, чтобы разойтись могли две квинкверны (самые большие корабли с пятью рядами весел). Для производства этих работ от приказал всех ссыльных отовсюду свезти в Италию, и даже уголовных преступников велел приговаривать только к этим работам».[194]

Эти грандиозные каналостроительные планы Нерону пообещали воплотить в жизнь два его главных архитектора Север и Целер. Тацит ядовито характеризует их как людей, *«наделенных*

изобретательностью и смелостью в попытках посредством искусства добиться того, в чем отказала природа, и в расточении казны принцепса».[195]

Строительство канала Авернское озеро — Остия оказалось неудачным. Нерон и его архитекторы не сумели учесть природные особенности местности, совершенно не подходящей для прорытия канала. Канал должен был идти по пустынному побережью через встречные горы к озеру, но кроме незначительных болот там не было влажных мест, способных заполнить канал водою, вокруг же были только отвесные кручи и сплошные пески. Архитекторы наверняка понимали бесплодность усилий по осуществлению этого вдохновившего Нерона проекта, но не решились перечить. Кроме того, людям творческим, одаренным часто свойственно решительно браться за пусть и несбыточные, но блистательные в замысле дела. Едва ли только перспектива поживиться за счет императорской казны привлекала этих двух, безусловно, великих строителей.

Строительство оказалось безуспешным. *«…Страсть Нерона к неслыханному побудила его предпринять попытку прорыть ближайшие к Авернскому озеру горы; следы этих бесплодных усилий сохраняются и поныне»*,[196] — писал Тацит.

Если канал Северу и Целеру не удался по природным причинам, то наивысшим их достижением должно считать создание первого в мировой архитектурной практике дворцово-паркового шедевра — Золотого дома Нерона. Римлян поражал здесь не сам новый императорский дворец, который, кстати, начинали строить еще до пожара, а то, что дворец окружало. К нему прилегали луга, пруды, разбросанные словно в сельском уединении, леса, пустоши, с которых открывались далекие виды. Все это было построено по планам и под наблюдением Севера и Целера. Эти великие люди предвосхитили на полторы с лишим тысячи лет появление подобных шедевров, где сочеталась дворцовая и садово-парковая архитектура, украсившая окрестности Парижа (Фонтенбло, Версаль) и Санкт-Петербурга (Петергоф, Царское Село, Павловск, Ораниенбаум). А если говорить о собственно садово-парковой архитектуре двух великих римских строителей эпохи Нерона, то они предвосхитили еще одно явление, только в XVIII веке получившее распространение в Европе, — английский парк, главной особенностью которого является воспроизведение нетронутой естественной красоты природы в отличие от парка французского, где задача архитектора показать изумленным посетителям, сколь причудливо можно изменить по своему желанию природу.

Благодаря Светонию мы имеем достаточно подробное и

точное описание гениального творения зодчих Нерона:

> «От Палатина до самого Эсквилина он выстроил дворец, назвав его сначала Проходным, а потом, после пожара и восстановления, — Золотым. О размерах его и убранстве достаточно будет упомянуть вот что. Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в сто двадцать футов (более 36 метров). Статую эту изваял скульптор Зенодор, о чем нам известно благодаря Плинию Старшему, знаменитому ученому, автору «Естественной истории» современнику Нерона. Площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной (1600 метров); внутри был пруд, подобный морю, окруженный строеньями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них— множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами; в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь наконец-то он будет жить по-человечески».[197]

При строительстве ансамбля Золотого дворца Север и Целер впервые использовали революционное открытие римских зодчих — бетон. Строительство зданий из бетонных блоков позволило строителям экспериментировать со сводчатыми и купольными конструкциями, каковых во дворце было немало. *«Север и Целер, насколько нам известно, были первыми архитекторами, которые продемонстрировали и использовали в широком масштабе понимание того, как использовать своды»,* — пишет один из крупнейших антиковедов современности.[198]

Золотому дворцу Нерона суждено было сыграть еще и выдающуюся роль в искусстве в эпоху Возрождения, когда в конце XV века в Риме началось строительство большого числа новых зданий и при этом неожиданно стали обнаруживаться огромные подземные пещеры, стены которых были покрыты поразительными по красоте рисунками. Эти несравненные по изяществу исполнения фрески являли собою целые живописные

панно, изображавшие как реалистические, так и фантастические картины, людям той эпохи крайне малопонятные. Изображались кентавры, сфинксы, сатиры, удивительные крылатые львы с орлиными головами переплетались с гирляндами цветов и плодов. Эти фантастические персонажи чередовались с изображениями зеленых лужаек, где располагались вполне обыкновенные животные, птицы, люди. Присутствовали и воинские атрибуты — изображение копий, мечей, доспехов, а также атрибуты театрального искусства: маски трагических актеров, музыкальные инструменты.

Открытые картины стали называть гротесками, поскольку они были обнаружены в пещерах, гротах. По-итальянски grottesco — пещерный. С тех пор словом гротескный и называются яркие, броские, жизнерадостные изображения, выполненные в необычном стиле, поражающие зрителей. Гротески римских пещер самым внимательным образом изучил великий Рафаэль со своими учениками. Росписи гротесков были воспроизведены им при работе над фресками в Ватикане. Вскоре гротески украсили замки Генуи, Милана, других знаменитых городов Италии. Поклонником гротескной живописи был французский король Франциск I, знаменитый своей любовью к искусству и прославившийся не только делами военными и державными свершениями, но и покровительством гению Леонардо да Винчи и Бенвенуто Челлини. Гротесками была украшена одна из галерей дворца Франциска в Фонтенбло.

Долгое время оставалось непонятным, кто и зачем в далекой древности расписывал фресками подземные гроты — никому до поры до времени не приходило в голову, что это вовсе не пещеры, а развалины, ушедшие со временем под землю. Развалины почти полуторатысячелетней давности. Лишь много позже выяснится, что это руины знаменитого Золотого дворца Нерона, воистину гениального творения римской архитектуры. Благодаря Тациту мы знаем имена обоих архитекторов, из живописцев, расписавших фресками внутренние стены дворца, до нас дошло только имя художника Фабулла.

Достойно сожаления, что время не сохранило это замечательное произведение римского зодчества, созданное по повелению Нерона.

Но все в жизни имеет свою оборотную сторону. Восстановление, и не просто восстановление, а полная перестройка города с миллионным населением да еще и в самые короткие сроки, потребовало колоссальных финансовых затрат. Едва ли много меньших затрат потребовал комплекс Золотого дворца — на такие деньги наверняка можно было выстроить

вполне приличный город. А сколько средств отнял так и неосуществившийся проект стошестидесятимильного канала? Никакая казна никакой империи не могла выдержать таких расходов. Пришлось прибегать к дополнительным денежным сборам, что в конце концов опустошило всю империю, не исключая и самой Италии. Дошло до того, что Нерону пришлось пойти на самые крайние меры пополнения казны: государство стало отбирать все золото у храмов, собранное там за долгое время. Это были пожертвования римского народа богам, что вызвало широкое недовольство, поскольку такой способ поправки имперских финансов сочли святотатственным. В Греции и Малой Азии — провинции Ахайя и Азия — посланные Нероном сборщики храмового достояния Акрат и Секунд Карринат додумались до изъятия из святилищ не только драгоценных даров и денег, но и статуй богов. Собственно, неудивительно, что именно в этих провинциях случилось такое. Там ведь находились самые знаменитые храмы греческого мира, где пребывали статуи богов, изваянные величайшими мастерами Эллады, и бывшие поистине бесценными. Понятно, что все происходящее не могло не вызвать самого широкого недовольства в народе. И если в Греции и в провинции Азия могли все объяснить произволом самих сборщиков ценностей, то в Италии, в Риме все недовольство обращалось против Нерона. Благодарность за прекрасно отстроенный Рим быстро уступила место раздражению по поводу строительства невиданного по размерам и богатству дворца. А тут еще и очевидное святотатство… Число недовольных Нероном множилось.

Настроения такого рода отражались и в окружении Нерона. Тацит приводит любопытный рассказ о поведении в эти дни уже три года как отставленного Сенеки. Бывший воспитатель и советник цезаря, хотя и был не у дел, но находился близ императорского двора. Когда он узнал, по чьему повелению изымались богатства храмов, то решил быть подальше от этого, дабы и на него не пала ответственность за происходящее, даром что Нерон давно уже не обращался к нему за советами. Узнав, что Сенека просит дозволения принцепса удалиться из Рима в деревенскую глушь, Нерон, верно, истолковал эту просьбу как нежелание находиться хотя бы в одном городе с императором, вершащим недостойные дела. Сенеке было отказано, и напуганный явным выражением Нероновой немилости старик сказался жестоко больным и вообще перестал выходить из своих покоев. Были даже разговоры — очевидная реакция на явную опалу отставного советника и знание многих случаев расправ Нерона с опальными людьми — о попытке отравления Сенеки по

приказу Нерона. Якобы либертин цезаря Клеоник даже изготовил яд для несчастного философа. Спастись Сенеке удалось то ли потому, что вольноотпущенник, устыдившись данного ему поручения, во всем философу открылся, то ли потому, что старик, хорошо зная привычки своего воспитанника и потому ожидая подобных его действий, предусмотрительно питался только самой простой пищей, не требующей приготовления, и пил проточную воду.

Тревожное состояние общества в Риме внезапно обострило незначительное происшествие в городе Пренесте. Там попытку гладиаторов вырваться на свободу пресекла приставленная к ним воинская стража. Общественная реакция, однако, оказалась громкой: все сразу вспомнили о восстании Спартака и иных былых потрясениях. В другое, более спокойное время, эпизод в Пренесте, скорее всего, в Риме бы вообще мало кто счел бы заслуживающим внимания. Тацит определил состояние народных настроений в Риме тех дней, как, с одной стороны, жажду государственных перемен, с другой стороны, страх перед ними. Историческая память о том, чем заканчиваются государственные перевороты, заставляла многих трепетать при мысли о таком повороте событий в Риме. В истории многократно бывало так: правителя, утратившего былую популярность, люди готовы винить во всех бедах страны вплоть до стихийных бедствий. И вот в эти дни пришло известие о гибели множества кораблей у Мизенского мыса. Согласно распоряжению Нерона флот в указанное время должен был вернуться из гавани в Формии к берегам Кампании. И надо же было случиться такому, что разразилась буря, когда корабли как раз огибали Мизенский мыс. Непреодолимый ветер, пришедший от берегов Африки и потому именуемый Африком, погнал корабли на берег близ города Кумы, разбив многие триремы (наиболее распространенные в римском флоте корабли с тремя рядами весел) и еще больше кораблей меньших размеров. Была ли в случившейся трагедии вина Нерона? Сомнительно. Если бы он мог предполагать бурю на море, то едва ли бы он стал рисковать флотом. Ведь нет сведений о том, что его предупреждали о предстоящем ненастье, а он этим-де пренебрег…

Тем не менее молва возложила вину за гибель кораблей на Нерона…

В довершение всего зловещее знамение: комета. А всем известно по предшествующему опыту, что Нерон привык умилостивливать грозное небесное знамение пролитием славной крови… Значит, можно ожидать новых расправ в верхах, где всегда могут обнаружиться люди, опасные для принцепса одним

своим существованием. Вспоминали, что совсем недавно, накануне великого пожара, Нерон принудил к самоубийству Торквата Силана, вся вина которого состояла в том, что Август приходился ему прапрадедом. Несчастного Силана обвинили в попытке государственного переворота на основании того, что служившие ему вольноотпущенники назывались «ведающий перепиской», «ведающий казной», «ведающий приемом прошений», а так назывались официальные должностные лица при самом императоре! Неясно, чем руководствовался Силан, именуя своих либертинов таким образом, — то ли чувством юмора, то ли излишним почтением к собственной персоне, но даже на подобие заговора это явно не тянуло… Тем не менее Торкват вскрыл себе вены на обеих руках, а Нерон еще и поглумился над ним, сказав, что намеревался сохранить ему жизнь.

Заговор Пизона

Заговоры против принцепсов не были частым явлением в первые века Римской империи. Жертвами таковых следует признать ниспровергателя республики Гая Юлия Цезаря, до самой гибели он был вынужден вести непрерывную в течение четырех лет гражданскую войну за власть. А также его полного тезку принцепса Гая Юлия Цезаря, которого принятого именовать, дабы отличить от славного предка, забавным прозвищем «Сапожок» — Калигула. При всей непохожести объектов заговоров и самих заговорщиков оба эти события роднит главное. Покушения были успешными. Правда, в первом случае заговорщики, лишив жизни великого Юлия, конечной цели своей не достигли, и республиканское правление все равно уступило место единовластию, каковое победоносно утвердил внучатый племянник павшего от кинжалов убийц диктатора. Во втором же случае заговорщики, похоже, просто действовали в порыве ненависти к обезумевшему императору, сами толком не представляя, а что, собственно, делать после убийства ненавистного Калигулы. В результате в Риме едва не возродилась республика — сенат и консулы, заняв при помощи городских когорт воинов Форум и Капитолий, всерьез думали провозгласить всеобщую свободу, но планы эти были сорваны простым римским народом, окружившим сенат и требовавшим уже привычного единого властителя.[199] Таковым и стал после двух смутных дней всеобщей неразберихи Клавдий, выдвинутый народной толпой — вот пример жизненности известного положения «Vox Populi —

Vox Dei!» — «Глас народа — глас божий», а также быстро купивший расположение воинов-преторианцев обещанием каждому по пятнадцати тысяч сестерциев. Частью заговорщики были прощены, но от власти отодвинуты, частью казнены, дабы другим неповадно было. Поскольку Клавдий, женившись на Агриппине, усыновил Нерона, то в исторической перспективе убийцы Калигулы так или иначе обеспечили ему будущую власть, рассчитывать на которую в ином случае сыну Домиция Ахенобарба никак не приходилось.

Таковы были удавшиеся покушения на правителей Рима. Назвать успешными сами заговоры довольно сложно, поскольку судьба самих заговорщиков в итоге оказалась печальной, и своих целей они не достигли.

Что же касается других заговоров — неудавшихся, разоблаченных, — то здесь другая проблема: а были ли эти самые заговоры в действительности? Скорее нет. Обычно императоры приказывали убивать или отправляли в ссылку мнимых заговорщиков, людей, которые могли быть опасными в силу своего положения, происхождения, наконец, личных качеств. Именно так действовал и Нерон в первое десятилетие своего правления. Вспомним судьбу Британника, Агриппины, Рубеллия Плавта, Суллы, Октавии, Торквата Силана. Никто из них не был никаким заговорщиком, никто не злоумышлял на власть Нерона, но все они погибли, поскольку казались, а при желании и могли стать опасными. Сам Нерон это прекрасно сознавал и действовал либо, как он полагал, упреждающе, либо, что было чаще, на всякий случай. Действительная невиновность обреченных на гибель его не слишком волновала — главное, что становилось меньше возможных опасностей. Он знал о гибели божественного Юлия от рук тех, кого тот привечал, зная, что они его недоброжелатели и даже враги. Клавдий был отравлен самым близким человеком. Калигулу поразил мечом Кассий Херея, над которым император постоянно глумился, но держал близ себя… Действуя по-своему на опережение, Нерон долгое время полагал себя в безопасности от настоящих заговоров. Для них, правда, долгое время не было и серьезной почвы. В первые годы правления Нерон был очень популярен и в народе, и в сенате. Его государственные дела, которые вершились с помощью достойных многоопытных советников, одобрялись римлянами. Шок от убийства Агриппины, конечно же, оставил свой след в душах римлян, но поскольку дела государства шли неплохо, а сама убитая августа вовсе не была образцом добродетели, то до поры до времени это преступление Нерона не побуждало подданных задуматься о смене властителя. Нерон щадил пока сенаторов и

римскую знать. Кажущихся и могущих быть опасными тогда еще только ссылали.

К появлению заговора, направленного по-настоящему на свержение Нерона и его убийство, привел, очевидно, целый комплекс причин. В народе симпатии к нему резко пошатнулись после расправы с Октавией, пользовавшейся большой любовью римлян. Знать охладела к нему после начала его публичных выступлений в качестве кифареда и трагического актера. Нерон-артист не мог не раздражать и многих преторианцев. Император, явно предпочитающий лиру мечу, недостоин уважения воинов. Нарастала неприязнь к Нерону и в среде сенаторов. Они были готовы терпеть даже такие унижения, как вынужденное восторженное одобрение убийства Агриппины, поддержку действий Нерона в отношении Октавии, но когда цезарь перешел к убийствам людей, почитаемых опасными в силу своего происхождения и положения в обществе, каждый из «отцов отечества» должен был задуматься над своей судьбой. Ведь многие и многие из сенаторов были тесно связаны с жертвами Нерона и каждый мог оказаться под ударом, ибо ему могли припомнить дружеское расположение к врагу принцепса. А когда ко всему этому добавилась жуткая слава Нерона как «поджигателя Рима», а вскоре и «святотатца» за изъятие храмовых ценностей для наполнения казны, опустевшей из-за расходов на восстановление Рима и, что всех особо раздражало, строительство Золотого дворца, то появление действительного заговора с самыми решительными намерениями не заставило себя ждать.

Многообразие причин, по которым те или иные люди не жаловали Нерона, привело к весьма пестрому составу заговорщиков. Самыми серьезными участниками заговора следует признать преторианцев. Если среди тех, кто по долгу своему обязан был быть безоговорочно предан императору, кто, собственно, и отвечал за его безопасность, появились заговорщики, причем из числа командиров, то означало это весьма скверный оборот дел для правящего принцепса. Если еще не в том конкретном случае, то на перспективу, безусловно. Наиболее видными из заговорщиков-преторианцев были трибуны Субрий Флав, Гавий Сильван, Стаций Проксум, а также центурионы Сульпиций Аспер, Максим Скавр и Венет Павел. Но главное было то, что опорой своей заговорщики почитали префекта претория Фения Руфа, совместно с Тигеллином возглавлявшего преторианскую гвардию императора. У Руфа сложились неприязненные отношения со своим коллегой: сам он был известен добрым нравом, достойным образом жизни и непричастностью к злодеяниям правления Нерона. Этим он

решительно отличался от Тигеллина, ревностно и, если так можно выразиться, с творчеством, с фантазией исполнявшего самые жестокие распоряжения Нерона. Теплых чувств префекты друг к другу не испытывали. Но если Руф просто сторонился Тигеллина, подчеркивая свое нерасположение к нему, то Тигеллин в полном соответствии со своими нравственными качествами неустанно возводил обвинения на своего коллегу, стремясь очернить его в глазах Нерона и, главное, возбудить в мнительном цезаре страх перед одним из командующих своей гвардией. Изобретательность Тигеллина в очередной раз принесла свои плоды: он нашептал Нерону, что Фений Руф был некогда в числе любовников Агриппины (это была совершеннейшая ложь) и потому, скорбя о ней постоянно, мечтает о мщении цезарю, виня его в гибели августы-матери. Такого известия Нерон не мог не испугаться и стал с подозрением смотреть на Руфа, что префект претория не мог не почувствовать. Зная нрав императора и судьбу тех, к кому он в последнее время менял отношение к худшему, Фений Руф счел за благо установить связь с заговорщиками. В разговорах с ними он недвусмысленно дал понять, что вполне разделяет их взгляды и готов поддержать намечаемые действия. Как был установлен прямой контакт между заговорщиками — трибунами и центурионами-преторианцами и префектом претория — неясно. Возможно, они сами, зная о шаткости положения своего начальника в силу злобных и коварных происков Тигеллина, первыми протянули ему руку. Но, может, и он сам, чувствуя настроения своих подчиненных, предпочел не изобличать ставший ему известным заговор, а примкнуть к таковому на всякий случай, поскольку ничего хорошего для себя от Нерона в будущем не ожидал.

Из преторианцев-заговорщиков своей лютой ненавистью к Нерону и готовностью пойти на крайние меря выделялись трибун Субрий Флав и центурион Сульпиций Аспер. Флав, по слухам, дважды уже был готов совершить покушение на Нерона: в первый раз, когда тот пел на подмостках, а преторианцы в качестве зрителей сидели в первых рядах публики, а во второй — когда во время великого пожара Нерон, уже спев «Крушение Трои» и осознав, что в огне погибает и его собственный дворец со всем его добром, носился ночью по окрестностям города в одиночестве. В обоих случаях он оставался без охраны, поскольку на сцене он должен был находиться один, а во время беготни вокруг объятого пожаром города охрана, очевидно, просто за ним не успевала. Однако тираноборчество Флава отнюдь не носило безрассудный характер. Он прекрасно понимал, что в обоих случаях вокруг

было множество людей и убить ненавистного тирана так, чтобы остаться безнаказанным, было весьма затруднительно. Самопожертвование ради избавления Рима от злодейского правления Нерона доблестный трибун категорически исключал. Потому-то Тацит, рассказывая о неосуществленных замыслах Субрия Флава, не без язвительной горечи замечал, что *«стремление обеспечить себе безнаказанность… всегда препятствует осуществлению значительных начинаний»*.[200]

Помимо Флава и Аспера, особо жгучую ненависть к Нерону высказывали Марк Анней Лукан и Плавтий Латеран. Ненависть первого, как мы помним, была сугубо поэтического происхождения. Нерон не смог скрыть зависти к автору «Фарсалии», сознав, что неспособен сочинить что-либо соответствующее таланту Лукана. Мало того, что он сначала просто сорвал чтение поэмы в Палатинском дворце, в дальнейшем он стал препятствовать распространению сочинений своего более даровитого соперника-поэта. Потому уязвленный до самой глубины своей души поэт жаждал мести. Но поскольку месть в форме зачтения строк стихотворений Нерона в общественных уборных не могла быть достаточно эффективной и удовлетворить пламенную ненависть оскорбленного литератора, то участие в заговоре, целью которого было истребление тирана, представлялось Лукану единственно верным делом.

Примкнул к заговору и консул будущего года Латеран. Но его, если отнестись с полным доверием к сообщению Тацита, в заговор вовлекла исключительно пламенная любовь к отечеству. Никаких обид от Нерона он не испытал, о чем и свидетельствует его намеченное на следующий год консульство.

Оказались и среди заговорщиков персонажи явно курьезные, например, знаменитый своим распутством Флавий Сцевин — утверждали даже, что у него от развратной жизни даже разум ослабел, — примкнул к заговору едва ли не ради развлечения, поскольку до этого прозябал в бездеятельности (в общественном смысле, надо полагать) и вел сонливое существование (после постоянных ночных оргий, наверное). Примкнул к заговору и известный нам уже Афраний Квинциан, чью безобразную телесную распущенность жестоко высмеял Нерон в своем сатирическом стихотворении. Поскольку Нерон был, очевидно, прав, обличая пороки Квинциана, его заговорщицкую деятельность никак нельзя считать тираноборством.

Заговор получил очень быстрое распространение. В него вступали не только сенаторы, всадники, преторианцы, но даже и женщины. Причины, побуждавшие этих людей к такому непростому решению, как мы убедились, были разные. Главное,

что объединяло, — ненависть к Нерону. Иных привело в тираноборческий стан доброе расположение к Гаю Кальпурнию Пизону, который оказался во главе заговорщиков в силу своей достаточно широкой популярности. Как пишет Тацит, *«происходя из рода Кальпурниев, он по отцу был связан со многими знатными семьями и пользовался у простого народа доброю славой, которую снискали ему как истинные его добродетели, так и внешний блеск, похожий на добродетель. Он отдавал свое красноречие судебной защите граждан, был щедр с друзьями и даже с незнакомыми ласков в обхождении и речах; к этому присоединялись и такие дары природы, как внушительный рост, привлекательная наружность. Но вместе с тем он не отличался ни строгостью нравов, ни воздержанностью в наслаждениях: он отдавал дань легкомыслию, был склонен к пышности, а порой и к распутству, что, впрочем, нравилось большинству, которое во времена, когда порок в почете, не желает иметь над собой суровую и непреклонную верховную власть».*[201]

Столь подробная характеристика Пизона, данная великим историком, рисует нам портрет человека, малопригодного для руководства таким ответственным делом, как государственный переворот. Наверняка он действительно был человеком приятным во многих отношениях, включая качества как внутренние, так и внешние, но человек, склонный к легкомыслию, во главе заговора — дело опасное скорее для самих заговорщиков, нежели для того, против кого они этот заговор составили. Достойно удивления, что столь разные люди сумели объединиться для общей цели и при этом не сразу обратили на себя внимание властей, хотя ни к какой особой конспирации не прибегали. Можно предполагать, что поначалу заговор сводился к общим разговорам, порицаниям Нерона, порой и яростным изъявлением готовности истребить тирана, но при этом до планирования каких-либо конкретных действий дело не доходило. Пизон, склонный ко всякого рода наслаждениям, не исключающим наслаждения самые низменные, уже в силу таких своих черт должен был оттягивать решительные и рискованные действия, могущие обернуться и самыми печальными последствиями. Возможно, выдвижение на первый план Пизона скорее ослабило заговор, нежели укрепило его. На роль руководителя заговорщиков мог ведь претендовать и Фений Руф — префект претория, один из самых высокопоставленных людей в государстве, имеющий в подчинении тысячи воинов. Но, судя по всему, военные в заговоре оказались не на первом плане, а Фений Руф, выразив словесно поддержку заговорщикам, держался в стороне, выжидая развития событий. Кстати, Дион Кассий, давший наряду с Тацитом достаточно подробное

описание заговора, руководителем его полагал как раз Фения Руфа, а о Пизоне вообще не упоминал.

Сложно сказать, как долго бы еще заговорщики во главе с Пизоном упражнялись в патетическом поношении Нерона, изъявляя словесную готовность идти по пути Брута и Кассия Хереи. Ведь самая горячая голова среди них, Субрий Флав, готов был на тираноубийственный подвиг лишь при твердых гарантиях своей безопасности. Но неожиданно для всех заговорщиков, включая их вождя, дело ускорила одна отважная женщина, либертина Эпихарида. Это убедительно подчеркивает ее полное бескорыстие, поскольку женщина-вольноотпущенница явно сама не страдала от тирании Нерона, а в случае его истребления ни на какие особые награды и блага рассчитывать не могла.

В римской истории участие женщины в политике и даже в заговоре не было таким уж редкостным. И были среди них фигуры очень незаурядные, даже выдающиеся и героические. Еще в первые годы Римской республики, когда Рим отражал нападения этрусков, пытавшихся восстановить власть царей, была воздвигнута конная статуя, изображавшая отважную девушку Клелию, возглавившую успешное бегство римских заложниц из лагеря царя этрусков Порсены. Выдающейся женщиной была Корнелия, дочь Публия Корнелия Сципиона Африканского, победителя Ганнибала и мать великих народных трибунов братьев Гракхов. Молва приписывала ей отравление Сципиона Эмилиана, одобрившего убийство Тиберия Гракха.

Участницей знаменитого заговора Катилины была его возлюбленная Семпрония, сохранившая ему верность до конца и павшая рядом с ним в роковом сражении сторонников Катилины с войсками сената при Пистории. Выдающуюся роль в начальный период гражданской войны в Риме после убийства Цезаря сыграла жена Марка Антония Фульвия. А если говорить уже о временах империи, то всем было известно, сколь важную роль при Августе играла его супруга Ливия, а об исторической значимости деятельности Агриппины, приведшей Нерона к верховной власти, и говорить не приходится.

Как мы видим, роль великих женщин в римской истории была далеко не однозначной. Дотоле никому не ведомой Эпихариде предстояло сыграть свою выдающуюся роль. Роль героическую.

Узнав о замысле заговорщиков — как видно, конспирация не была сильной стороной их деятельности, — Эпихарида загорелась мыслью участвовать в ниспровержении тирании. Но вскоре она убедилась, что те нерешительны, бездеятельны и далее пустых разговоров дело у них не идет. Натурой молодая

вольноотпущенница обладала волевой и решительной, не без склонности к авантюризму, но без последнего качества заговорщиков вообще не бывает. Возможно, замысел осуществления переворота ей был подсказан… самим Нероном. В Риме еще не забыли, как несчастной Октавии вменяли любовную связь с Аникетом, командовавшим тогда Мезенским флотом, и попытку захвата власти при содействии этих подчиненных мнимому любовнику военно-морских сил империи. Эпихарида решила действительно поднять Мезенский флот против Нерона. Здесь она предполагала воспользоваться приятельскими отношениями с одним из флотских офицеров навархом Волузием Прокулом. Тот в свое время был среди тех, кто с Аникетом участвовал в убийстве Агриппины. Однако в число удостоившихся наград он не попал, а поскольку со времени гибели августы-матери минуло шесть лет, то рассчитывать на признание своих заслуг в деле избавления императора от неугодной родительницы уже не приходилось. Обиду на Нерона Прокул затаил, и однажды во время свидания с Эпихаридой, возможно, разгоряченный страстью и вином, он посетовал на неблагодарность Нерона и пригрозил ему местью, благо кроме подруги никто его отважных слов слышать не мог. Эпихарида, разуверившаяся к тому времени в способности Пизона и его славных конфидентов действительно истребить тирана-принцепса, увидела возможность использовать наварха-мстителя для осуществления переворота и убийства Нерона силами Мезенского флота и немедленно посвятила Прокула в свои планы. Перечислив все злодеяния Нерона, новая эриния завершила свои обличения тирании указанием на лишение принцепсом сената последней власти. «Приняты меры, чтобы наказать его за угнетение государства!» — восклицала отважная поборница былой римской свободы.[202] Но главное здесь то, что меры эти может осуществить сам Прокул, если решится привести в стан врагов Нерона самых отважных и решительных воинов из числа подчиненных ему моряков или верных друзей. Поскольку морские плавания были одним из любимых развлечений Нерона, то кому же, как не флоту и его доблестным морякам, избавить Рим от тирании?

Эпихарида обратилась явно не по адресу. Прокул никак не принадлежал к числу действительных ненавистников Нерона. И уж менее всего был склонен осуждать злодеяния принцепса. Его единственная претензия — отсутствие должного вознаграждения как раз за соучастие в одном из самых больших злодеяний цезаря — в матереубийстве. Само преступление, понятное дело, Прокул Нерону в вину не ставил. Что до лишения сената последней власти — то это доблестного Волузия волновало не больше,

нежели песчаные бури в Аравийской пустыне. Но на страстную речь Эпихариды он отреагировал стремительно и деятельно: сделал немедленный донос на заговорщиков, указав, само собой, и свою подругу, от которой сведения о готовящейся крамоле ему и стали известны. Возможная награда за спасительный донос казалась Прокулу много соблазнительней сомнительных в своей достижимости лавров удачливого ниспровергателя цезаря-тирана. А то, что при этом он предает и губит доверчивую Эпихариду, совсем уж не могло смущать человека, скорбящего о недостаточном вознаграждении своего соучастия в убийстве.

Нерон, получив донос, немедленно повелел допросить Эпихариду. Этот допрос стал полным разочарованием для наварха. Вольноотпущенница, посвящая его в заговор, не назвала имен других заговорщиков. Возможно, потому, что там было много громких имен, а она пыталась привлечь в заговор Прокула, обещая ему решающую роль в перевороте, заслуживающую достойной награды. Если бы тот понял, что его хотят просто использовать в интересах заговора, возглавляемого знатными и высокопоставленными людьми, то такое участие заранее вызвало бы у него разочарование. Он уже один раз убедился, как власть имущие вознаграждают тех, кого принуждают убивать своих врагов. А может, просто в Эпихариде взыграла инстинктивная осторожность или же ей вообще не хотелось упоминать людей, разочаровавших ее своей нерешительностью…

На допросе Эпихарида избрала самую верную тактику: полное отрицание обвинений Прокула. Доноситель оказался в нелепом положении: он надеялся выступить в качестве спасителя цезаря от чудовищного заговора, а оказался жалким наветчиком, приписывающим бедной девушке ужасные намерения, возможность исполнения которых исключалась ввиду ее очень скромного положения. Если заговор — то где же громкие имена его участников? Невозмутимое упорство Эпихариды — как натуре подлинно благородной, ей были свойственны стойкость и мужество — произвело впечатление на Нерона. Свидетелей у доносчика нет, никаких имен он не знает, а не пытается ли он просто отомстить обидевшей его чем-то подруге, да еще и выпросить у цезаря незаслуженную награду? Прокулу Нерон не поверил, но сам факт доноса о заговоре его насторожил. До сих пор он сам «изобретал» заговоры против своей персоны, дабы иметь возможность «законно» избавиться от неприятного ему или кажущегося опасным человека. А тут извольте — донос о заговоре, да и как-никак от флотского наварха исходящий. Потому Эпихариду хоть и не наказали, не подвергли допросу с пристрастием, но на всякий случай по распоряжению Нерона

оставили под стражей. А вдруг еще последуют какие-либо доносы о каком-то заговоре?

Взятие под стражу Эпихариды, поскольку заговорщикам было известно, что она в курсе их тираноборческих витийств, немало их всполошило. Теперь надо действовать, время рассуждать прошло! Нравственные достоинства Эпихариды им были неведомы, и потому они всерьез стали опасаться за свое будущее. Возможную расправу со стороны Нерона можно было предотвратить только быстрыми и решительными действиями. И вот тут-то окончательно выяснилось, насколько неподготовлен был сам заговор и, главное, насколько сами заговорщики не соответствовали гордому званию тираноборцев.

Первым последовало предложение убить Нерона в Байях на вилле самого Гая Кальпурния Пизона. Оказывается, главного заговорщика принцепс постоянно навещал в этом прелестном поместье и, испытывая к хозяину полное доверие, пренебрегал всякой осторожностью, появляясь без охраны и свиты приближенных. Казалось бы, удача сама шла заговорщикам в руки, но тут резко воспротивился Пизон. Убийство цезаря, пребывающего на вилле в качестве гостя, стало бы святотатственным поруганием обычая гостеприимства и оскорблением богов! Тирана надо убить в Риме в его собственном дворце. Наконец, Нерона можно убить и в каком-нибудь общественном месте — это уже был намек на опыт Брута и Кассия, избравших для убийства Юлия Цезаря курию, где заседал сенат.

На деле, как пишет Тацит, отнюдь не этими высокими чувствами был движим Пизон. Боялся он, что в случае убийства Нерона в Байях в Риме могут провозгласить цезарем Луция Юния Силана. В пользу Силана были его знатнейшее происхождение и то, что он являлся воспитанником высокоуважаемого Гая Кассия Лонгина, потомка одного из главных убийц великого Гая Юлия. Многие также вспомнили, что в Риме пребывает консул Марк Юлий Аттик, который 24 года назад после гибели Калигулы немедленно произнес пылкую речь в пользу отказа от единовластия и возврата к республиканскому правлению с сенатом во главе.

В отличие от заговора против Гая Юлия Цезаря, когда убийство диктатора должно было привести к восстановлению прежней, республиканской формы правления, и заговора против Калигулы, когда заговорщики думали прежде всего об убийстве ненавистного правителя, не ломая голову над тем, к каким политическим последствиям это приведет и не имея даже согласованного кандидата в будущие цезари, те, кто объединился

вокруг Пизона, именно его и намерены были поставить во главе Римской империи. Пизон, кстати, по многим качествам напоминал Нерона. Он также любил безудержно предаваться удовольствиям жизни, был распутен, хотя при этом славился горячей любовью к жене, для полного сходства с правящим императором он также любил играть на кифаре и недурно пел. Правда, его музыкальные пристрастия носили сугубо домашний характер, и на подмостки он пока не стремился. Но было главное отличие: Пизон славился добрым нравом, каковой он многократно проявлял в отношении к окружающим. В нем отсутствовала жестокость, и он не казался непредсказуемым. А это значило все. Ведь не артистические пристрастия Нерона и его экстравагантные развлечения стали основными причинами возникновения заговора. Не будь на его совести кровавых деяний, число каковых имело явную тенденцию к росту, никто бы не пошел на риск вступления на смертельно опасный путь заговорщика-тираноубийцы только из-за того, что цезарь поет на сцене и исполняет трагические роли. Что до распутства, то нет оснований не доверять Тациту, заклеймившему тогдашние римские верхи как раз за массовое пристрастие к порочному образу жизни. Пизон действительно многим мог представляться наиболее желанным кандидатом в принцепсы. Не будет проливать кровь, не станет унижать сенат… чего еще, собственно, и желать-то? Дело было только за малым: убить Нерона и провозгласить Пизона принцепсом.

План действий, торопливо составленный взволнованными возможным разоблачением заговорщиками, выглядел следующим образом: в день цирковых игр, посвященных богине плодородия Церере, Латеран, один из самых больших ненавистников Нерона, причем ненавидящий его не из личной обиды, но из пламенного своего патриотизма, должен был броситься в ноги цезарю, припав к его коленям якобы со смиренной просьбой о денежном вспомоществовании. Затем Латеран должен был повалить императора на землю, что при огромном росте, могучем сложении и большой физической силе славного Плавтия не составило бы труда, пусть и Нерон был физически достаточно крепок. Поверженного принцепса должны были поразить мечами и кинжалами трибуны и центурионы преторианских когорт, участвующие в заговоре, а также любой из заговорщиков, у кого на это будет достаточно решимости.

Замысел убийства Нерона очень напоминал сценарий убийц Гая Юлия Цезаря: Плавтий Латеран должен был играть ту же роль, которую в роковые мартовские иды взял на себя Тиллий Цимбр, приблизившийся к диктатору под видом просителя и

схвативший его за тогу, после чего и последовал первый удар кинжалом, нанесенный подкравшимся в это время сзади сенатором Каской, а затем вступили в дело кинжалы прочих убийц.[203] Однако существенны различия. Цимбр только отвлек внимание Цезаря, задерживая его, а Латеран должен был повалить Нерона. Поскольку своим внушительным телосложением заговорщик много превосходил императора, то это создало бы большие трудности для точного применения мечей и кинжалов — большинство ударов в неизбежно образовавшейся человеческой свалке скорее могло достаться как раз Латерану, а не Нерону. И наконец, Цезарь явился в сенат без всякой охраны, а Нерона сопровождали несколько охранников или приближенных, что неизбежно доставило бы заговорщикам немалые трудности. Не стоит забывать и о большой толпе людей близ цирка, что не столько упрощало, сколько усложняло возможности действий заговорщиков. Как ни странно, но Пизон и его сообщники не сумели здесь учесть совсем недавний опыт убийства Калигулы. Тогда заговорщики подстерегли свою жертву в подземном переходе и первым делом оттеснили от императора его спутников, а затем уже последовали удары мечами…[204]

Сложно сказать, как на самом деле должен был осуществляться план убийства Нерона. У него были, конечно, шансы на успех, но шансов провалиться не меньше.

Что же полагали делать заговорщики в случае успешного покушения?

Сам Гай Кальпурний Пизон должен был во время убийства находиться в храме Цереры, ожидая развязки. Когда Нерон был бы повержен, префект претория Фений Руф должен был вызвать его из храма, после чего заговорщики должны были торжественно внести Пизона в преторианский лагерь, где и предполагалось его провозглашение принцепсом. Ради будущей власти Пизон готов был на перемены в семейной жизни. Он хотел развестись с женой и вступить в брак с Антонией, дочерью покойного императора Клавдия. Это укрепило бы законность его будущей власти, кроме того Антония была популярна в народе, что тоже, конечно, учитывалось. Согласно намеченному плану, Антония должна была сопровождать Пизона в лагерь преторианцев.

Таков был план действий. Стать реальностью, воплотиться в жизнь ему было не суждено. И без того *«удивительно, как удалось сохранить все это под покровом молчания среди людей различного происхождения, сословия, пола, возраста, богатых и бедняков»*.[205]

Измена, приведшая к гибели заговора и многих из заговорщиков или к таковым причисленным, обнаружилась в доме Флавия Сцевина. Да, да, того самого Сцевина,

примкнувшего к заговору едва ли не скуки ради. В дни решительной подготовки к покушению на Нерона Сцевин вдруг проявил замечательную активность, полностью выйдя из своей обыкновенной «спячки», и, более того, изъявил пылкое желание самолично истребить тирана, первым нанеся ему смертельный удар. Замысел свой, как выяснилось, доблестный Флавий вынашивал всерьез, ибо уже имел при себе кинжал, взятый из храма, где он был освящен для великого дела… Кинжалу этому и суждено было сыграть роковую роль как в судьбе самого Сцевина, так и всего заговора Пизона.

Вечером накануне назначенного покушения Сцевин сначала долго беседовал наедине с Антонием Наталом, также участником заговора. Беседа эта была замечена прислугой Сцевина, что впоследствии и позволит начать разоблачение заговорщиков. Простившись с Наталом, Сцевин запечатал завещание, что также не укрылось от домашних, а затем достал кинжал, который мечтал на следующий день обагрить кровью злодея, тиранящего Рим. Кинжал показался ему затупившимся и утратившим блеск от времени. Тогда-то он и призвал вольноотпущенника Милиха, продолжавшего служить своему прежнему хозяину, уже будучи свободным, и поручил ему отточить лезвие кинжала до блеска. После этого он, верный своим привычкам, устроил домашнее пиршество, правда, много более обильное, нежели обыкновенное. Пир был ознаменовал поступком, говорящим о, безусловно, великодушном характере этого человека: он отпустил на волю рабов, бывших его любимцами, а остальных щедро одарил деньгами. Во время пиршества был он мрачен, что не удавалось ему скрыть даже оживленными речами. После окончания трапезы он вновь позвал Милиха, поручив ему приготовить на завтра повязки для ран и средства, останавливающие кровь. Распоряжение совсем не лишнее, поскольку заговорщики намеревались покончить с Нероном, навалившись на него гурьбою, что неминуемо привело бы к нанесению ими не только тому, на кого они покушались, но и друг другу многочисленных колотых и резаных ран. Был ведь и исторический пример, наверняка прекрасно известный Сцевину: убийцы Цезаря не только ему нанесли 23 раны, из которых, кстати, только одна оказалась смертельной, но в суматохе поранили и своих же сообщников.

Такая предусмотрительность Сцевина не оставила у Милиха сомнения, для какого, собственно, дела оттачивал он кинжал и в ходе какой потасовки его господин может получить ранения, для излечения которых ему велено приготовить заранее повязки. Жена Милиха, бывшая при всем этом, ни на минуту не

усомнилась в преступности намерений Сцевина и очень быстро сообразила, что донос на него может дать ее мужу, а значит, и ей самой, щедрую награду от цезаря. Более того, представлялось чрезвычайно важным донести первыми, поскольку среди многочисленной челяди Сцевина могли найтись еще желающие хорошо подзаработать на изобличении преступных умыслов своего хозяина. Если Милих поначалу и колебался, то его энергичной супруге удалось очень быстро убедить его в необходимости немедленного действия. Ведь куда опаснее было скрывать очевидный преступный умысел. Если заговорщики потерпят провал, что по образу их действий предположить было совсем не трудно, или же кто-то раньше явится во дворец Нерона с доносом, можно оказаться и причисленными к заговору, а уж это сулит неминуемую погибель. Страх перед таким поворотом дел заставил Милиха отбросить последние колебания.

> «Когда его рабская душа углубилась в исчисление выгод, которые могло принести вероломство, и представила себе несметные деньги и могущество, перед этим отступили долг, совесть, попечение о благе патрона и воспоминание о дарованной свободе».[206]

Не откладывая по совету жены дела в долгий ящик, Милих на следующее же утро отправился доносить на своего благодетеля. Поскольку привратнику он объявил, что несет важные и грозные вести, то сначала его отвели к Эпафродиту, который счел дело столь серьезным, что отвел доносителя к самому Нерону. Милих оказался куда более грамотным доносчиком, нежели Волузий Прокул. Он не только поведал императору о решимости заговорщиков совершить покушение на жизнь цезаря, но и представил в качестве улики тот самый кинжал, переданный ему Флавием Сцевином. Более того, он сразу потребовал, чтобы доставили и того, кого он обвинял, дабы он мог повторить свои обвинения в лицо и уличить злоумышленника. Немедленно схваченный Сцевин, к чести своей, повел себя на допросе достойно и мужественно, уверенно отведя все обвинения Милиха. Про главную улику — кинжал — он сказал, что на его родине это старинное оружие почитается священным, потому он и хранил его у себя в доме, а дерзкий либертин нагло похитил его и теперь возводит на своего патрона напраслину. Завещание свое он запечатывал многократно, и это совсем не связано с какими-либо особыми событиями в текущие дни. На свободу рабов он всегда отпускал охотно, а тех, кто верно служил ему, всегда щедро вознаграждал. Почему сейчас он простер свою щедрость далее обыкновенного? Перечитав завещание, он как раз вспомнил, что

крайне обременен долгами и потому не уверен, что впоследствии оно будет полностью исполнено. Что до роскошного пиршества — то он всегда вел такую жизнь, и нет ему дела до того, что находятся строгие судьи, ее не одобряющие. Свидетельство Милиха о распоряжении приготовить повязки для ран и снадобья, останавливающие кровь, Сцевин просто высмеял, как выдумку негодяя вольноотпущенника.

Твердость, убежденность в голосе и взгляде могли бы даже спасти Сцевина, если бы доносители не знали еще и имен соратников его по заговору. Жена Милиха немедленно напомнила о долгой уединенной беседе Сцевина с Наталом и указала на близость обоих к Гаю Кальпурнию Пизону. Натал немедленно был вызван на допрос. С обоими обвиняемыми беседовали порознь, задав простейший вопрос: о чем они беседовали накануне? Поскольку ни Сцевин, ни Натал не предполагали подобного оборота дел, они не догадались договориться, чтобы в случае чего показать об одном и том же предмете своего вчерашнего разговора. Несовпадение их ответов прямо свидетельствовало о крайне сомнительном характере действительной беседы Сцевина и Натала, что не могло не убедить ведущих дознание в необходимости приступить к допросу с пристрастием.[207]

И Сцевина, и Натала заковали в тройные цепи. Дабы у допрашиваемых не оставалось никаких сомнений относительно своей участи в случае запирательства, им показали орудия пыток, погрозив их применением. Первым дал показания Натал, указавший на главу заговора Пизона, а заодно и на Сенеку, с которым он вел переговоры от имени Пизона. Сцевин, узнав о признательных показаниях товарища по несчастью, немедленно последовал его примеру, сдав всех прочих заговорщиков. Немедленно взятые под стражу заговорщики также были подвергнуты допросам, давшим обильный урожай новых имен злоумышленников или же тех, кого допрашиваемые таковыми представили.

Допросы обвиняемых велись весьма искусно, с применением разных подходов, учитывающих нрав каждого подследственного. Так, Лукан, Квинциан и Сенецион, не испугавшись ни тройных цепей, ни вида пыточных орудий, ни угрозы их применения, стойко и упорно молчали. Тогда с ними заговорили по-иному: угрозы сменил мягкий тон и обещание полной безнаказанности в случае откровенного признания. Вот тут-то несгибаемые и признались. Да еще как! Лукан объявил злоумышлявшей на жизнь Нерона собственную мать, а Квинциан и Сенецион назвали имена своих лучших друзей!

Здесь невольно поразишься нравственному ничтожеству

заговорщиков, во всяком случае, большинства из них. Единственный пример настоящего мужества явила несчастная Эпихарида, о которой Нерон вспомнил и повелел пытать, полагая, что слабая женщина не выдержит жестоких пыток. Но Эпихарида выдержала все и сумела уйти от дальнейших мучений, покончив с собой.

> «Женщина, вольноотпущенница, в таком отчаянном положении оберегавшая посторонних и почти неизвестных людей, явила блистательный пример стойкости, тогда как все свободнорожденные мужчины, римские всадники и сенаторы, не тронутые пытками, выдавали тех, кто каждому из них был наиболее близок и дорог».[208]

Войдя во вкус, Лукан, Сенецион и Квинцион продолжали называть имена участников заговора, добившись в конце концов того, что Нерон стал проникаться все большим и большим страхом, отнюдь не располагавшим его к духу милосердия. Неудивительно, что скоро начались расправы. В таковые Нерон внес некоторое, одному лишь ему понятное разнообразие: одних казнили, другим приказывали самим покончить счеты с жизнью. Признанный глава заговора Пизон успел сам лишить себя жизни, вскрыв себе вены, когда к дому его явился отряд воинов, посланных Нероном. Ему, кстати, когда он еще не был изобличен ничьими показаниями, а только стало известно о доносе Милиха, другие участники заговора предлагали решительные действия. Ему советовали либо явиться немедленно в лагерь преторианских когорт и призвать воинов следовать за собой — здесь расчет был на наличие заговорщиков среди преторианцев из числа центурионов, трибунов, способных увлечь за собою рядовых воинов. Да и один из префектов претория — Фений Руф — считался заговорщиком… Предлагалось Пизону также рискнуть обратиться к народу, явившись на Форум и взойдя на ростры, откуда принято было ораторам обращаться к римлянам. А вдруг удастся народ поднять против Нерона? После великого пожара в городе много недовольных принцепсом…

Пизону втолковали, что решимость немедленно действовать может принести успех, поскольку Нерон еще не готов к отражению попытки переворота. Более того, неожиданное нападение может смутить и дух храбреца, а Нерон не отличался мужеством. А кто ему по-настоящему предан? Кроме девок-наложниц лишь один Тигеллин! Да разве посмеет этот жалкий лицедей поднять оружие на восставших? Наконец, если и неудача, то не лучше ли мужественно погибнуть в борьбе,

заслужив оправдание перед душами предков и уважением потомков за саму попытку избавить отечество от тирана?

Увы, Пизон был слишком слаб, чтобы проявить мужество и решительность, каковые вовсе не были свойственны этому привыкшему к жизненным удовольствиям человеку, лишь по недоразумению оказавшемуся в неподходящей роли вождя государственного переворота. Зачем-то он действительно вышел в город, но, только показавшись в народе, быстро вернулся домой, где и дождался известия, что к дому его идет отряд воинов. Тогда он и совершил единственный в своей жизни подлинно решительный поступок: вскрыл себе вены. Перед этим он успел составить завещание…

> «Свое завещание он наполнил отвратительной лестью Нерону, что было сделано им из любви к жене, женщине незнатного происхождения и не отмеченной другими достоинствами, кроме телесной красоты, отнятой им у друга, за которым она ранее была замужем. Звали ее Сатрия Галла, ее прежнего мужа — Домиций Сил. Он — своей снисходительностью, она — бесстыдством усугубили впоследствии бесчестье Пизона».[209]

Напомним, что горячая любовь к Сатрии не мешала в прошлом Пизону прослыть распутником, а в случае успеха переворота он намеревался предпочесть ей в качестве новой законной супруги дочь императора Клавдия Антонию.

Первым из схваченных заговорщиков казни был предан Плавтий Латеран. Нерон так торопил его убийство, что не дал несчастному даже проститься с детьми. Дабы унизить врага, Нерон распорядился лишить его жизни на месте, где обычно казнили только рабов. Жизнь Латерана до этого была весьма благополучной, он был даже избран консулом на будущий год… Нерон так спешил с его казнью, возможно, потому, что от Сцевина уже знал, какую роль Латеран сам себе отводил в плане покушения.

Стоит отметить, что казнил Плавтия Латерана трибун-преторианец Стаций, сам бывший участником заговора. Любопытно, что поначалу, когда пошли признание за признанием взятых под стражу заговорщиков, никто почему-то не указывал на военных участников преступного предприятия. Не исключено, что это объясняется их особым положением в заговоре. Известно, что Фений Руф весьма невысоко оценивал личность главы заговора и был совсем не в восторге от идеи заменить одного кифареда — Нерона, на другого — Пизона. Зная о намерении окружения

Пизона убить Нерона накануне циркового представления, Фений Руф имел свои планы на будущее, с планами гражданских участников заговора совсем не схожие. Возможно, две ветви заговора существовали достаточно независимо друг от друга, хотя, конечно же, друг о друге знали. Но полного, что называется, организационного единства не было, что до поры до времени ограждало военных заговорщиков от изобличения — не все из окружения Пизона знали тех, кто был близок к Руфу.

Используя это, пока счастливое для себя обстоятельство, Фений Руф, видя полный провал заговора Пизона, принял самое деятельное участие в борьбе с разоблаченной крамолой. Недавний заговорщик стал самым лютым борцом с теми, кто подозревался в участии в заговоре. В свирепости и беспощадности к своим сотоварищам префект претория сравнялся со своим ненавистным коллегой Тигеллином. Во время одного из допросов случилось такое, что Нерон оказался рядом со своим лютым ненавистником, трибуном Субрием Флавом, который, как мы помним, дважды уже был близок к тому, чтобы совершить убийство недостойного принцепса. Присутствовал Флав при допросе отнюдь не как обвиняемый, но как верный трибун, хранящий безопасность любимого цезаря… Искушение стать новым Брутом овладело воином и он уже взялся за меч, но, увы, не решаясь действовать без приказа начальника и единомышленника, обратился взглядом к префекту претория. Но Фений Руф настолько уже вошел в роль беззаветно преданного императору истребителя его врагов, что резким движением головы пресек тираноборческий порыв своего подчиненного.

Сложно сказать, чем обернулось бы для Флава и Руфа убийство Нерона — оставшаяся охрана могла и изрубить покушавшихся, но могла и растеряться и, как было в случае с Калигулой в свое время, смириться с этим: защищать-то ведь некого уже. Но одно очевидно: если бы даже они погибли, смерть их имела бы совсем другой окрас и в историю они вошли бы иначе. А ближайшее будущее показало, что надежды Фения Руфа уцелеть и даже заслужить благоволение Нерона беспощаднейшим преследованием заговорщиков, скрыв тем самым свое совсем не безупречное в этом смысле прошлое, были совершенно напрасны. О его участии в заговоре знали многие из числа задержанных, и своим рвением на допросах недальновидный префект сам толкнул их на разоблачение своей собственной принадлежности к заговору. И вот, когда он угрозами вымогал дополнительные показания у Сцевина, тот с усмешкой сказал, что никто об этом не знает больше, нежели сам Фений Руф. Видя явную растерянность допрашивающего, Сцевин, откровенно уже издеваясь, стал

увещевать префекта отплатить признательностью столь доброму принцепсу, признавшись во всем добровольно. Молчание Руфа, еще более того последующее невнятное бормотание совершенно изобличили его. Тут же по приказанию Нерона он был схвачен и закован в цепи, немедленно превратившись из грозного следователя в жалкого обвиняемого. Мужества на допросах в качестве изобличенного заговорщика Фений Руф не явил, чем не лучшим образом выделил себя из среды схваченных вскоре заговорщиков-преторианцев. Военные на допросах и идя на казнь вели себя мужественно и достойно, как и полагалось истинным римлянам, тем более их профессии. Широкую огласку получили слова Субрия Флава, трижды упустившего возможность покончить с Нероном, причем в последний раз из-за чрезмерной в том случае дисциплинированности. Когда Нерон спросил, как мог трибун-преторианец дойти до забвения присяги и долга, доблестный воин прямо ответил:

> «Я возненавидел тебя. Не было воина, превосходившего меня в преданности тебе, пока ты был достоин любви. Но я проникся ненавистью к тебе после того, как ты стал убийцей матери и жены, колесничим, лицедеем и поджигателем».[210]

Эти слова мужественного трибуна уязвили Нерона. Не забыто то, что он матереубийца! Его театральные и цирковые достижения вызывают только презрение, а ужасная слава поджигателя Рима так его и не покинула, несмотря на все старания!

Все заговорщики-преторианцы приняли смерть с достоинством, мужественно, как и подобало настоящим воинам. Единственным, увы, исключением, был их командир. Префект претория Фений Руф силы духа не проявил. Ему-то Нерон и обязан сохранением жизни. Ведь не удержи он Субрия Флава или решись действовать самостоятельно, без оглядки на пустых болтунов — Пизона со товарищи, — правление Нерона могло завершиться уже в апреле 65 года. Этим было бы спасено немало жизней ни в каких преступлениях не повинных людей. Но… нет у истории сослагательного наклонения.

А пока продолжались расправы. Лукан, как и многие другие заговорщики, получил распоряжение принцепса самому уйти из жизни. Когда после вскрытия вен он почувствовал, что жизнь уходит из его тела, но сознание оставалось пока ясным, ему вспомнились строки из его поэмы «Фарсалия», той самой поэмы, зависть к которой разрушила дружбу поэта с Нероном. В стихах был изображен воин, истекавший кровью от жестоких ран… Эти строки и стали последними словами Лукана. Он не лучшим

образом проявил себя как заговорщик, но умер как истинный поэт…

В большинстве своем заговорщики уходили из жизни *«не свершив и не высказав ничего, достойного упоминания»*.[211]

Наказание заговорщиков было использовано Нероном и для расправы над человеком, не имевшим к заговору ни малейшего отношения, — принужден к смерти был консул Вестин. Именно его опасались совсем недавно Пизон и его сообщники, когда разрабатывали свой план переворота. Человек глубокой честности и твердых республиканских убеждений, каковые он открыто проявил после гибели Калигулы, когда отстаивал в сенате возврат государства к древней римской свободе, он был ненавистен и Нерону. Тот не мог ему простить, что, будучи поначалу другом молодого принцепса, он постепенно в нем разочаровался и относился к Нерону с презрением, каковое тот не мог не ощущать. Вестин частенько открыто высмеивал Нерона, и остроты его были особенно едкими, поскольку осмеивал он истинные пороки Нерона.

Расправляясь с заговорщиками, Нерон действовал так, как действовал бы любой правитель на его месте. Заговор — налицо, намерение убийства принцепса — было. И какие бы праведные причины ни вызвали эти явления, они были противозаконны и представляли собой тягчайшее государственное преступление, которое во все времена во всех странах каралось самым суровым образом. Нерон имел право судить виновных и карать их. Другое дело — Вестин. Здесь уже действия самого Нерона носят преступный характер: *«И так как не было налицо ни преступления, ни обвинителя, то Нерон, не имея возможности прикрыться личиной судьи, обратился к насилию самовластья»*.[212] Расправу над Вестином Нерон сопроводил еще и жестоким издевательством над его гостями — консул был уведомлен о поведении принцепса на пиру, который он вечером давал для своих друзей. Вестин, оставив триклиний, удалился в спальню, где врач надрезал ему вены, после чего его отнесли в баню, поместив в теплую воду. Гости при этом оставались на месте, их окружила стража, никуда никого не выпускавшая до поздней ночи. Нерон упивался ужасом людей, решивших наверняка, что всех их уже обрекли на смерть. Наконец, натешившись вдоволь, он велел отпустить всех, издевательски заметив, что они достаточно поплатились за предоставленное им Вестином угощение. Нерон был не лишен остроумия, иные шутки его были и уместны, и точны. Но здесь все выглядит отвратительно жестоко, свидетельствуя о явной деградации личности принцепса.

Теперь перейдем к рассказу о гибели человека, сыгравшего в

жизни Нерона особую роль, — о смерти Луция Аннея Сенеки.

Был ли Сенека заговорщиком? Исторические источники скорее положительно отвечают на этот вопрос, хотя быть полностью уверенным в этом все-таки сложно. Из участников заговора имя философа назвал только Антоний Натал. Правда, из его показаний следует лишь наличие одного-единственного контакта бывшего воспитателя Нерона с посланцем Пизона, каковым и был Натал. Он навестил больного Сенеку по просьбе руководителя заговора и спросил, почему он не допускает к себе Пизона. Ведь было бы лучше, если бы они поддерживали дружбу путем личного общения. Ответ Сенеки гласил, что обмен мыслями через посредников, равно как частые беседы с глазу на глаз, никому из них на пользу не пойдут. Этот туманный, осторожный ответ, показывавший, что философ явно знает, каким опасным делом занят Пизон, и потому не желает с ним какого-либо общения из понятной предосторожности, старик завершил фразой, из которой совсем нетрудно было сделать вывод, что он возлагает надежды на успех предприятия Пизона. Сенека прямо сказал, что его спокойствие зависит от благополучия Пизона.

Свидетельство Натала не похоже на клевету с целью очернить Сенеку, вписав и его в число заговорщиков. Из него в крайней случае следует, что Сенека догадывался о замыслах Пизона, связывая с их возможным успехом надежды, но прямого участия в заговоре не принимал и явных контактов с заговорщиками старался избегать. Впрочем, в глазах Нерона и это было уже преступлением: во-первых, очевидное недоносительство, могущее иметь самые печальные последствия, поскольку принцепс действительно подвергался опасности. Что было бы, если Милих и его сообразительная жена не решились бы изобличить Сцевина? Во-вторых, надежды на собственное спокойствие, возлагаемые на благополучие Пизона, — это, можно сказать, прямое сочувствие делу этого человека. А дело-то — заговор с целью убийства императора. Наконец, спокойствие столь важной персоны, как Сенека, недавний воспитатель, а затем главный советник цезаря, должно зависеть от благополучия Нерона, правителя Рима, но никак не от Пизона. Или старик и впрямь прозревал в нем грядущего принцепса?

В то же время явная осторожность, проявленная Сенекой в отношении Пизона, могла объясняться и тем, что философ был связан с другой ветвью заговора — с военными. Не зря ведь Тацит приводит слухи, что было некое тайное совещание Субрия Флава с центурионами, на котором было решено в случае успеха покушения сторонников Пизона самого Пизона убить, а верховную власть в Риме вручить Сенеке *«как избранному главой*

государства ввиду его прославленных добродетелей людьми безупречного образа жизни».[213] Пизон и окружавшие его люди безупречным образом жизни отнюдь не славились. Этим могли похвалиться как раз такие люди, как трибуны и центурионы преторианских когорт, участвовавшие в заговоре. Говорили также, что совещание это и принятое на нем решение были с ведома самого Сенеки.

Если Тацит писал о слухах, то Дион Кассий совершенно уверенно, как непреложный факт, утверждал, что Сенека наряду с префектом претория Фением Руфом возглавлял заговор против Нерона.[214]

Суммируя вышеизложенное, можно с немалой долей уверенности предполагать, что Луций Анней Сенека действительно был причастен к заговору против Нерона, причем напрямую поддерживал связь с военной ветвью заговора, во главе которой стоял Фений Руф. О планах Пизона и его друзей Сенека был осведомлен, но отношений с ними не поддерживал, поскольку сам имел виды на пост принцепса, каковой сторонники Пизона предполагали отдать своему лидеру.

В заговор Сенеку могла привести обоснованная тревога за свою судьбу, поскольку, зная, как никто, своего воспитанника, он прекрасно понимал, чем может завершиться его очевидная опала. Тем более если верны известия о попытке Нерона организовать отравление бывшего наставника еще до появления самого заговора предпринятая.

Однако судьба Сенеки решилась, по сути, без наличия сколь либо убедительных доказательств его причастности к заговору. Нерону хватило одного показания Антония Натала, из коего преступность философа отнюдь не вытекала. Сенека дал вполне спокойное объяснение тому, о чем Нерону поведал Натал. Он не стал отрицать своей встречи с посланцем Пизона. Но, по его словам, в ответ на сожаление Пизона, что Сенека не принимает его, он, ссылаясь на нездоровье, сказал, что важнее всего для него покой. Слова же о том, что его спокойствие зависит от благополучия Пизона, Сенека полностью отрицал, утверждая, что не было у него никаких причин вверять свое благоденствие благополучию частного лица. Нерону Сенека напоминал, что всегда отличался независимостью суждений, а не раболепием, и потому не мог так льстить Пизону.

Но Нерона не волновали объяснения Сенеки. Должно быть, решение избавиться от старого философа созрело у него ранее, а известие о причастности Сенеки к заговору против императора, неважно, насколько оно подлинно и доказательно, давало замечательный повод для расправы. Потому, когда трибун Гавий

Сильван сообщил Нерону ответ Сенеки на показания Натала — при этом присутствовали августа Поппея Сабина и префект претория Тигеллин, ныне главные советники принцепса, — тот, полностью пренебрегая оправданиями философа, немедленно спросил: а не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью? Сильван по-военному четко ответил, что ничего мрачного, никаких признаков страха он ни в словах Сенеки, ни в выражении его лица не заметил. Острота ситуации была еще и в том, что сам Сильван тоже был заговорщиком и, будучи военным, должен был знать о действительной роли Сенеки в заговоре. Но вслед за Фением Руфом он предпочел скрыть свое участие в заговоре активным содействием его разоблачению. Как писал Тацит, *«содействовал преступлениям, ради отмщения которых примкнул к заговорщикам»*.[215]

Гавий Сильван не решился сам, глядя Сенеке в глаза, сообщить о повелении Нерона. Это без всяких колебаний исполнил посланный им центурион-преторианец.

Далее лучше дать слово Тациту:

> «Сохраняя спокойствие духа, Сенека велит принести его завещание, но так как центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицает, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им то, что остается единственным, но зато самым драгоценным из его достояния, а именно, образ жизни, которого он держался, и если они будут помнить о нем, то заслужат добрую славу, и это вознаградит их за верность. Вместе с тем он старается удержать их от слез то разговором, то прямым призывом к твердости, спрашивая, где же предписания мудрости, где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях? Кому неизвестна кровожадность Нерона? После убийства матери и брата ему только и остается, что умертвить воспитателя и наставника.
>
> Высказав это и подобное этому как бы для всех, он обнимает жену и, немного смягчившись по сравнению с проявленной перед этим непоколебимостью, просит и умоляет ее не предаваться вечной скорби, но в созерцании его прожитой добродетельно жизни постараться найти достойное утешение, которое облегчит ей тоску о муже. Но она возражает, что сама обрекла себя смерти, и требует, чтобы ее поразила чужая рука. На это Сенека, не препятствуя ей прославить себя кончиной и побуждаемый к тому же любовью, ибо

страшился оставить ту, к которой питал редкостную привязанность, беззащитною перед обидами, ответил: «Я указал на то, что могло бы примирить тебя с жизнью, но ты предпочитаешь благородную смерть; не стану завидовать возвышенности твоего деяния. Пусть мы с равным мужеством и равною твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем конце больше величия». После этого они одновременно вскрыли себе вены на обеих руках. Но так как из старческого и ослабленного скудным питанием тела Сенеки кровь еле текла, он надрезал себе также жилы на голенях и под коленями; изнуренный жестокой болезнью, чтобы своими страданиями не сломить духа жены и, наблюдая ее мучения, самому не утратить стойкости, он советует ей удалиться в другой покой. И так как даже в последние мгновения его не покинуло красноречие, он вызвал писцов и продиктовал многое, что было издано; от пересказа его подлинных слов я воздержусь.

Но Нерон, не питая личной ненависти к Паулине и не желая усиливать вызванное его жестокостью всеобщее возмущение, приказывает не допустить ее смерти. По настоянию воинов рабы и вольноотпущенники перевязывают ей руки и останавливают кровотечение. Вероятно, она была без сознания, но так как толпа всегда готова во всем усматривать худшее, не было недостатка в таких, кто считал, что в страхе перед неумолимой ненавистью Нерона она домогалась славы верной супруги, решившейся умереть вместе с мужем, но когда у нее возникла надежда на лучшую долю, не устояла перед соблазном сохранить жизнь. Она лишь на несколько лет пережила мужа, с похвальным постоянством чтя его память; лицо и тело ее отличались той мертвенной бледностью, которая говорила о невозместимой потере жизненной силы. Между тем Сенека, тяготясь тем, что дело затягивается и смерть медлит с приходом, просит Стация Аннея, чью преданность в дружбе и искусство врачевания с давних пор знал и ценил, применить заранее припасенный яд, которым умерщвляются осужденные уголовным судом афиняне; он был принесен, и Сенека его принял, но тщетно, так как члены его уже похолодели и тело стало невосприимчивым к действию яда. Тогда Сенеку погрузили в бассейн с теплой водой, и он брызгал ею стоявших вокруг рабов со словами, что совершает этой влагою возлияние Юпитеру

> Освободителю. Потом его переносят в жаркую баню, и там он испустил дух, после чего его тело сжигают без торжественных погребальных обрядов. Так распорядился он сам в завещании, подумав о своем смертном часе еще в те дни, когда владел огромным богатством и был всемогущ».[216]

Величие духа, явленное Сенекой перед лицом смерти, удивительная сила любви и преданность друг другу супругов говорят о самом высоком человеческом достоинстве этих людей. Но тому, кто знаком с иными страницами жизни знаменитого философа, трудно забыть многие деяния его, никак не совместимые с его же предсмертными словами о «прожитой добродетельно жизни». Если вспомнить, как обесславил Сенека своего благодетеля Клавдия в издевательской поэме «Отыквление», его столь противоречащие философии стоицизма занятия ростовщичеством, роль в деле Агриппины, написание бесстыднейшего послания сенату об обстоятельствах ее смерти и о «спасении» Нерона, то подлинная ценность его образа жизни, так трогательно перед смертью завещанного им друзьям, представляется достаточно сомнительной. Попытка Сенеки уколоть Нерона словами, которые наверняка должны были до него дойти, что после убийства Британника и Агриппины, брата и матери, ему только и осталось убить своего воспитателя и наставника, едва ли можно признать удачной. Он не удерживал Нерона в случае с Британником, а гибель Агриппины случилась при деятельном его участии. Можно сказать иначе: воспитатель и наставник человека, убившего брата и мать при его попустительстве в первом случае и прямом содействии во втором, не мог надеяться на милосердие того, кого он взрастил и наставил.

Уходя из жизни, Сенека, конечно, думал об истории. И наверняка при этом не мог не обратиться к судьбе Сократа. Подобно этому великому мыслителю, чью жизнь прервала смертным приговором верховная власть, Сенека до последнего вздоха не просто являл величие духа, но и оставался философом. Сократ, уже принявший цикуту — этот же яд потребовал себе Сенека, — продолжал вести со своими учениками философскую беседу и даже вступил в горячий спор, заставив волноваться палача-тюремщика, испугавшегося, что яд может должным образом не подействовать, если принявший его так взволнован. Сенека много диктовал писцам в свои последние мгновения, и его предсмертные мысли были опубликованы… Уход Сенеки из жизни был достоин величественной смерти Сократа.

Заговор, вошедший в историю как заговор Пизона, был полностью раскрыт. Казнив принуждением к смерти или же отсечением головы наиболее видных заговорщиков и избавившись заодно от Сенеки, чья вина вовсе не была доказана, и от Вестина, к заговору вообще не причастного, Нерон счел за благо продемонстрировать великодушие. Так, были помилованы Антоний Натал и Церварий Прокул, более других усердствовавшие в разоблачении своих недавних друзей и единомышленников. Удовлетворившись смертью Лукана, Нерон избавил от наказания его мать, на которую сам злосчастный поэт и указал как на заговорщицу. Наверняка не без ведома Нерона удалось избежать смерти брату Сенеки Юнию Галлиону. В сенате на него, и без того перепуганного судьбою брата, обрушился с обвинениями некто Салиен Клемент, называя врагом и убийцей. Но эти нападки, чреватые самыми печальными последствиями, были единодушно пресечены сенаторами. Смелость отцов отечества, так отважно вступившихся за Галл иона, можно объяснить достаточно просто: как и в случае с Паулиной, Нерон не видел смысла в расправе над близкими Сенеки. А здесь можно было и «бросить кость» сенату. Сенат, коему всемилостиво было позволено проявить милосердие, тут же пропел хвалу Нерону: Клемента обвинили в том, что он, взывая к новым карам, всего лишь пользуется общественным бедствием для сведения личных счетов, а само дело о заговоре уже исчерпано благодаря великодушию императора и предано забвению.

Поскольку в народе ходило множество слухов, что Нерон просто расправился с неугодными ему людьми под предлогом заговора, а никакого заговора на самом деле не было, цезарю пришлось обставить окончание дела самым серьезным образом, дабы ни у кого не осталось сомнений в его совершенной подлинности. Был созван сенат, и Нерон выступил на заседании со специальной речью. Интересно, кто эту речь составлял? Сенеки ведь уже не было в живых. Издан был указ, к которому прилагались полные записи показаний доносителей и признания обвиняемых. Всего в качестве заговорщиков указывался пятьдесят один человек. Среди них должно выделить девятнадцать сенаторов, семь патрициев и одиннадцать государственных чиновников. Четыре женщины участвовали в заговоре. Не все были наказаны смертью. Тринадцать человек отделались изгнанием, четверо — отстранены от должности трибуна. Нашлись даже люди, не принявшие помилования. Гавий Сильван, не решившийся лично передать Сенеке повеление Нерона покончить жизнь самоубийством, был изобличен как заговорщик, но вскоре помилован. Но суд собственной совести оказался для

доблестного трибуна выше суда принцепса — он сам поразил себя мечом.

Особо Нерон отметил разоблачителей заговора. Либертин Милих, явившийся к Нерону с кинжалом Сцевина, мало того, что был «отягощен» наградами, но и удостоился прозвания Спаситель. Титуловать по-новому Милиха должно было по-гречески, и потому именовался он теперь Милих Сотер. Когда-то титул Сотер — спаситель — был присвоен знаменитому полководцу Александра Македонского, впоследствии грозному царю эллинистического Египта Птолемею I. Нерон не мог не знать этого, и тем не менее одарил Милиха столь же высоким званием.

В массе римлян должны были поразить триумфальные отличия, присвоенные трем, очевидно, самым рьяным борцам с крамолой. Как будто они разгромили в сражениях целые армии грозных врагов римской империи. Тигеллин, Петроний Турпилиан и Кокцей Нерва удостоились триумфальных статуй на Форуме. Для Тигеллина и Нервы Нерон счел такие награды недостаточными, и их изваяния появились и в императорском дворце на Палатине. Консульские отличия Нерон, к изумлению многих, пожаловал чистой воды проходимцу Нимфидию, сыну проститутки. Тот, правда, уверял, что отцом его был не кто иной, как Гай Юлий Цезарь Калигула. Именно Нимфидий и занял освободившийся пост одного их префектов претория после гибели Фения Руфа. Об этом назначении Нерону еще придется очень пожалеть, но исправить ошибку уже будет невозможно… Дабы не допустить какого-либо недовольства среди воинов-преторианцев, им раздали по две тысячи сестерциев каждому, а сверх того освободили от оплаты хлеба — ранее они платили за него по казенной цене.

Состоялись, разумеется, многочисленные благодарственные молебства богам. Особую благодарность возносили богу Солу, древнему римскому божеству солнца, брату Луны и Авроры, который был в позднейшую эпоху отождествлен с особо любезным Нерону Аполлоном. Возникли холуйские предложения переименовать месяц апрель, когда был изобличен заговор, в месяц Нероний. Действительно, чем Нерон хуже божественного Юлия или божественного Августа, увековечивших свои имена в названиях месяцев июля и августа? Но всех превзошел сенатор, избранный на следующий 66 год консулом, Аниций Цериах, предложивший воздвигнуть храм божественному Нерону… Такому возвышению над людьми Нерон решительно воспротивился. Восторженный сенатор в пылком своем стремлении более всех угодить цезарю позабыл, что согласно уже

установившейся римской традиции принцепс удостаивается божеских почестей лишь после смерти. Именно так стали божественными предшественники Нерона Юлий Цезарь, Август, Клавдий. Храм божественному Нерону можно было строить только после смерти правящего принцепса, а тот вовсе не хотел умирать, и саму идею возведения его опасливо воспринимал как зловещее предзнаменование возможной скорой смерти.

Протоколы римского сената сохранили эту нелепую историю, когда Нерон едва ли не удостоился почестей, подобающих исключительно покойнику.

События апреля 65 года оказали немалое воздействие на Нерона. Если ранее он опасался тех, кто мог претендовать на высшую власть в империи согласно своему происхождению, то теперь круг опасных людей для него резко расширился. Находить людей, происходящих из рода Юлиев-Клавдиев и потому могущих претендовать на звание принцепса, было нетрудно. Они все были на виду. Поначалу Нерон их, как мы помним, ссылал подальше от столицы, а после обретения независимости не только от матери, но, главное, от наставников в лице Бурра и Сенеки, приказывал уже лишать жизни. Но таких было немного. Другое дело заговорщики. Заговор Пизона отлично показал это. В нем оказались соучастниками представители всех слоев, от сенаторов до вольноотпущенницы. Потому теперь бояться надо было многих и многих. Не зря Нерон проникался страхом и постоянно увеличивал охрану во время допросов заговорщиков, когда на него просто сыпались целые гроздья имен. Теперь Нерону стало очевидным: если он хочет сохранить власть, ему надо уничтожить тех, кто может стать заговорщиком, а в таковые могут пойти прежде всего те, кто так или иначе испытывает к нему неприязнь.

Водоворот смертей

«После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно»[217] — так пишет Светоний о Нероне после заговора Пизона. Невольно может создаться впечатление о безумном тиране, отправляющем на казни множество людей, жертвы которого бесчисленны. Ни в коем случае не оправдывая злодеяний Нерона, должно заметить, что никаких массовых расправ при нем не было, исключая бесчеловечную казнь христиан, когда число погибших могло исчисляться сотнями, если не тысячами погибших на арене цирка, распятых на крестах, превращенных в живые факелы. Эту расправу как раз Светоний и не осуждал, искренне полагая христиан зловредными сектантами,

враждебными Риму.

Жертвы Нерона среди римлян — это почти исключительно представители высшей знати и его родственники. Современников потрясали имена погибших, а не их количество, но, главное, безсудность расправ. Люди склонны прощать иным правителям даже многочисленные казни, если они так или иначе обоснованы в правовом смысле, если вина казненных очевидна. Но расправа — прихоть властителя, понятная лишь ему самому, смущает умы людей много более. В таком случае каждый осознает, что он также может стать жертвой очередной расправы, поскольку никому не ведомо, что взбредет в голову ожесточившемуся правителю, кто еще покажется ему опасным. В Риме времен Нерона опасности подвергались те, кто был близок к принцепсу. Не было более опасного места, нежели Палатинский дворец! Справедливости ради отметим, что в первые одиннадцать лет его правления жертвами его становились прежде всего родные ему люди. Из высшей знати можно назвать Рубеллия Плавта и Фавста Корнелия Суллы, а также Торквата Силана. Рост числа жертв произвола Нерона начался только с разоблачения злополучного заговора Пизона, который справедливее было бы все-таки именовать заговор Пизона — Руфа — Сенеки.

От волнений, связанных с заговором, Нерон отошел только во время очередных пятилетних состязаний, где дал волю своим артистическим наклонностям. Но конец состязания оказался для него трагедией, в которой некого было винить кроме самого себя. Нерон потерял горячо любимую Поппею Сабину. Как пишет Тацит:

> «Вслед за окончанием состязаний скончалась Поппея; причиною ее смерти был муж, который в припадке внезапной ярости ударил ее, беременную, ногой. Я не склонен верить, что она погибла от яда, хотя некоторые писатели сообщают об этом, скорее из ненависти к Нерону, чем от добросовестного убеждения; ведь он хотел иметь от нее детей и, вообще, очень любил жену».[218]

Светоний уточняет обстоятельства гибели Поппеи:

> «…Любил ее безмерно; но и ее он убил, ударив ногой больную и беременную, когда слишком поздно вернулся со скачек, а она встретила его упреками».[219]

Наверное, не следует искать глубоких причин свершившейся трагедии. Нерон наверняка был отвратительно пьян, и упреки

Поппеи вызвали у него неконтролируемую вспышку ярости. Не сознавая, что делает, он нанес роковой удар, оборвавший жизнь и самой Поппеи Сабины, и ее неродившегося ребенка. Так нелепо погибла самая могущественная женщина Римской империи.

Нерон был в горе и отчаянии, совершив в приступе пьяного безумия двойное, по сути, убийство. Он разом потерял самого любимого человека и ожидаемого наследника. Поппее были устроены роскошные похороны, но не по римскому обычаю. Тело погибшей августы было пропитано благовониями и набальзамировано по восточной традиции царских похорон. Нерон на похоронах произнес похвальное слово, особо отметив удивительную красоту покойной, вспомнив, что она была матерью «божественного младенца».

В Риме, однако, никто не разделял его горя. Наружно, конечно, многие изображали скорбь, дабы угодить Нерону, но ненависть римлян к Поппее пересилила естественное сочувствие ее ужасной судьбе. За что римляне так не любили Поппею Сабину? Скорее всего, за участие августы в бесчеловечной расправе над любимой народом Октавией, за приверженность Поппеи к чуждому для квиритов культу иудаизма. Говорили о ее бесстыдстве и кровожадности, но примеры первого нам неизвестны. Да, Нерон был ее третьим мужем, но в ее супружеской жизни с Руфрием Криспином, первым мужем, не было ничего скандального. Скандально Нерон добивался ее развода со вторым мужем — Отоном, но вины самой Поппеи в том не было. Нерон страстно любил ее, должно быть, и она испытывала к нему серьезное чувство. О любовниках ее не известно, да Нерон бы и не потерпел таких. Так что с Мессалиной сравнивать Поппею Сабину просто несправедливо. Не выдерживает сравнения с ней и Агриппина. Мать Нерона была среди любовниц своего брата Калигулы, затем стала женой своего дяди Клавдия, которого в благодарность за все многочисленные благодеяния отравила, дабы сделать императором своего сына. Известно, что Агриппина, пока была в силе, погубила немало людей. Что же касается жертв Поппеи, то невозможно определить, чья вина в гибели Октавии больше — ее или самого Нерона. Понятно, Поппея хотела быть законной женой принцепса, полноправной августой, а не многолетней обожаемой любовницей. Отсюда настойчивое желание полного устранения Октавии, но распоряжение об убийстве бывшей супруги отдал Нерон. Поппея сыграла роковую роль в деле христиан после великого пожара Рима летом 64 года, но она была лишь передаточным звеном в этой истории. Она назвала Нерону имя секты, которую должно было обвинить в поджоге столицы, но

авторство этой идеи принадлежало ее друзьям — иудейским первосвященникам. А уж дикую расправу над христианами творил Тигеллин, руководствуясь своей изуверской фантазией, а не указаниями Нерона, давшего, правда, свободу рук префекту претория.

В чем еще упрекали римляне Поппею Сабину? В чрезмерном пристрастии к роскошным экзотическим удовольствиям. Плиний Старший писал, что супруга принцепса Нерона велела подковать своих любимых мулов золотом.[220] Ювенал сообщал о ее купании в ослином молоке, об изобретении некоего пахучего средства для сохранения красоты, называвшегося Поппеиной мазью…

Что ж, создание чудодейственной мази нельзя ставить в упрек. Наверняка ее потом много лет еще использовали римские модницы, так что потомки за ценное парфюмерное изобретение должны быть благодарны его создательнице. Золотые подковы любимых мулов августы едва ли жестоко разорили римскую казну. Купание в молоке ослиц — это, конечно же, причуда, но совершенно безобидная. Супруга принцепса надеялась так сохранить свою изумительную красоту, а, честно говоря, ей было что сохранять, ибо красота ее была действительно замечательна. Мраморный бюст, хранящийся ныне в Риме в одном из частных собраний, дает нам представление о том, как выглядела Поппея, пленившая сердце Нерона.

Перед нами женщина лет тридцати. Правильные черты лица, выразительный взгляд, говорящий о сильном характере. Лицо очень красивое, но холодное. Любовь Нерона не принесла счастья Поппее. Их дочь, маленькая Клавдия Августа, прожила всего три месяца, а уж кошмарнее гибели, чем гибель Поппеи, трудно вообразить: погибнуть от удара любимого и, главное, любящего человека, нося в себе его будущего ребенка!

Злорадство многих римлян по поводу смерти Поппеи, которого не избежал и сам историк Публий Корнелий Тацит, дело недостойное. Конечно, Поппея не была безобидным человеком, к гибели безвинной Октавии она приложила руку, но все же главная причина столь сильной ненависти к ней — это ненависть к Нерону. В годы супружества Нерона и Поппеи Сабины популярность принцепса постоянно падала. Многим казалось, что именно в эти годы Нерон окончательно переменился к худшему. Тень неприязни к Нерону падала неизбежно и на Поппею, тем более что всем был известен сильный, волевой характер этой женщины, имевшей большое влияние на своего мужа. Отсюда очевидно, что тот сугубо негативный образ Поппеи Сабины, который утвердился в римской литературе[221] и который благодаря почтению к именам Тацита и Диона Кассия

перекочевал в литературу последующих эпох, создан не столько на основе черт характера и деяний самой злосчастной августы, сколько на основании сомнительного в своей основе рассуждения: кто был любезен Нерону, должен быть ненавистен людям!

Похороны Поппеи сделали для всех очевидной новую политическую опалу в римских верхах. Нерон запретил участвовать в церемонии одному из самых выдающихся сенаторов — Гаю Кассию Лонгину. Знаменитый правовед, по сведениям Светония, к этому времени ослепший,[222] смирно жил, ни в какие заговоры не встревая. Последним заметным политическим его деянием было выступление в сенате, повлекшее за собой казнь четырехсот рабов Педания Секунда. Тогда Кассий выступил как строгий ревнитель неуклонного исполнения римских законов и обычаев предков. Почитание предков и стало причиной внезапного озлобления против него Нерона. В доме Кассия хранились изображения его знаменитого предка Гая Кассия Лонгина, одного из руководителей заговора против Цезаря и участника его убийства. Строго говоря, никакой крамолы в хранении изображения предка здесь не было и быть не могло. Потому наличие изображения республиканца Гая Кассия Лонгина времен Гая Юлия Цезаря в доме правоведа Гая Кассия Лонгина времени Нерона никак нельзя было считать чем-то непозволительным или вызывающим. Правда, Нерону нашептали, что статую именно убийцы божественного Юлия достойный правовед окружил особым почитанием и на ней даже начертана надпись: «Вождю партии». А это означает, что Кассий почитает предка именно за то, что тот был действительно вождем партии заговорщиков, совершивших в мартовские иды далекого 610 года от основания Рима (44 год до н. э.) убийство диктатора Рима. Нерон не мог не вспомнить при этом, что его великий предок незадолго до гибели великодушно простил Гаю Кассию то, что тот сражался против него на стороне Помпея и приблизил к себе наряду с Марком Юнием Брутом. Недоверие к Кассию усиливало и то, что в последнее время с ним сблизился молодой честолюбивый Луций Силан, племянник не так давно погубленного Нероном Торквата Силана, вся вина которого заключалась в том, что он был праправнуком божественного Августа и потому мог в случае чего претендовать на звание принцепса. Таким образом, дружба старого Кассия и молодого Силана в глазах Нерона приобретала опаснейшие черты: перед ним явный зародыш гражданской войны, государственного переворота! Кассий, следуя примеру почитаемого предка, может организовать заговор с целью убийства Нерона, а Луций Силан,

принадлежащий к роду Юлиев, готовый кандидат в новые принцепсы!

Никаких, правда, свидетельств о наличии у обоих даже тени подобных намерений и в помине не было, но такие мелочи давно уже не смущали Нерона. Он только что едва не прозевал опасный заговор. Когда б не явились с доносом Милих и его супруга, неизвестно, чем бы закончилось появление Нерона в цирке в день, намеченный заговорщиками для решительного действа. Ныне же он раздавит возможный новый заговор в зародыше, а заодно и возможного претендента на звание принцепса.

С обвинениями в адрес мнимых заговорщиков особенно не мудрствовали. Луцию Силану приписали то же, что и покойному дяде его Торквату. Но, поскольку голословность их была слишком очевидной, к делу привлекли еще и жену Кассия Лепиду. Клевета, возведенная на нее, превосходила все мыслимые пределы. Несчастной женщине приписали кровосмесительную связь со своим племянником, а также некие злокозненные священнодействия — колдовство против принцепса. Привлекли к суду заодно, наверное, для придачи «заговору» большей солидности, дабы он внешне походил на изобличенный заговор Пизона, еще трех сенаторов и одного всадника. Но Нерону не захотелось имитации широкого заговора. Все же заговор Пизона, в котором участвовало немало знатных людей — девятнадцать одних сенаторов и еще семь патрициев, — оставил у него слишком мрачные воспоминания. Демонстрация повторного подобия прежнего заговора выглядела опасной, ибо говорила о крамольной тенденции в римских верхах. Предпочтительнее Нерону казались точечные удары по тем, кто мог так или иначе претендовать на престол или, в силу серьезной обиды на принцепса, мог пойти по пути заговорщика. Поэтому четверка «соучастников» после апелляции к императору избежала наказания. Гая Кассия Нерон счел в силу его старости не самым опасным, и сенатским постановлением он был сослан на остров Сардиния, где мог доживать свои дни в «приятном» соседстве с Аникетом, уже пребывавшим там в качестве мнимоссыльного за своевременные показания о мнимой связи Октавии и мнимом заговоре в ее пользу. Силана должны были сослать на греческий остров Наксос в Эгейском море, привезли для отправки в ссылку в Остию, оттуда не морем, а по суше отправили через всю Италию в Апулию и заточили в городке Барий на побережье Адриатики (совр. Бари в Италии). Поскольку Луций Силан был молод и обладал сильным характером, Нерон приказал с ним расправиться. Явился к ссыльному центурион в сопровождении нескольких воинов — предосторожность не лишняя, так как

Силан отличался могучим телосложением и соответствующей физической силой. Предложение самому вскрыть себе вены мужественный Луций презрительно отверг, сказав, что к смерти он готов, но не желает лишать своего убийцу похвалы за выполнение полученного приказа. У Силана достало мужества не только открыто поиздеваться над своими палачами, но, будучи безоружным, он оказал отчаянное сопротивление им и пал как доблестный воин на поле битвы.

Нет, не умерли еще в лучших людях Рима древняя римская доблесть, бесстрашие перед смертью, способность ни при каких обстоятельствах не ронять достоинства. К таким людям, как Луций Силан и многие другие жертвы Нерона, никак не применимы горькие слова, сказанные еще о римлянах времен Тиберия: «О люди, созданные для рабства!»

С таким же мужеством встретили смерть родственники Рубеллия Плавта, его вдова Поллита, ее отец, тесть Рубеллия Луций Ветер, и бабушка Поппиты, теща Ветера Секстия. Здесь Нерону оказал услугу своевременным доносом, как и в случае со Сцевином, неверный вольноотпущенник. Либертин Ветера Фортунат проворовался и, опасаясь справедливого возмездия за расхищение имущества патрона, зная, что тот в немилости у принцепса, сделал на своего благодетеля, коему был обязан свободой, политический донос. Соучастником обвинения выступил еще один не менее «достойный» человек — некто Клавдий Демиан, которого ранее Ветер в бытность проконсулом провинции Азия велел бросить в тюрьму за какие-то позорные поступки. Соучастие в доносительстве на Ветера подарило ему свободу — Нерон немедленно велел освободить обвинителя ненавистного ему человека. Потрясенный тем, что против него, как равного, выставляют его же вольноотпущенника-вора, Луций Ветер удалился на свою загородную виллу, где немедленно появилась стража, ведшая за ним неусыпное наблюдение. Не теряя надежды как-то добиться справедливости, Ветер упросил свою дочь обратиться непосредственно к Нерону. Поллита отправилась в Неаполь, где в это время Нерон услаждал слух подданных своим непревзойденным пением. К Нерону ее не допустили, но она сумела дождаться его выхода и обратилась к принцепсу с мольбой за своего отца. Слезы не вызвали сострадания у императора. Гордость заставила ее оставить униженные просьбы и заговорить с Нероном тоном негодующим, что также оставило владыку Рима равнодушным. Для Нерона приговор Луцию Ветеру был уже делом предрешенным. Кроме того, находясь в дорогом своему сердцу Неаполе, где более всего в Италии ценили его дар певца-кифареда, Нерон не был склонен

отвлекаться на государственные дела. Кто знает, начни бедняжка свое обращение к принцепсу с восторженных оценок его пения, может быть, он и смилостивился бы. Но этого не произошло.

Когда Поллита вернулась к отцу и известила его о своей неудаче, после которой надежд на благополучный исход дела уже не оставалось, одновременно пришла и весть о том, что в сенате все предрешено: намеченное расследование должно завершиться беспощадным приговором.

Хотя прямая угроза касалась только Ветера, его дочь и теща решились также уйти из жизни. Все трое одним и тем же ножом вскрыли себе вены. Перед смертью бывший консул — консульские обязанности он исполнял в Риме десять лет назад и коллегой его был сам Нерон — раздал все имущество за исключением трех лож, на которых обреченные намеревались расстаться с жизнью. Советы знакомых оставить значительную часть состояния Нерону, дабы тот сохранил остальное за его внуками, Ветер с презрением отверг, не желая раболепствовать перед своим погубителем, на чье великодушие в любом случае надеяться было бессмысленно.

Смерть не спасла Луция Ветера и его близких от сенатского приговора. Не смущаясь тем обстоятельством, что обвиняемые не только мертвы, но уже и похоронены, славные отцы отечества вынесли им смертные приговоры. Нерон, впрочем, ухитрился усугубить постыдность происходящего, превзойдя в гнусности решения свой раболепный сенат. Он использовал имеющееся у принцепса право интерцессии, то есть вмешательства в решения сената, своеобразно смягчив приговор: осужденным позволялось во избежание руки палача выбрать смерть по своему усмотрению…

Подлые примеры Милиха и Фортуната воздействовали и на других вольноотпущенников. Римского всадника Публия Галла приговорили к «лишению воды и огня» согласно доносу его вольноотпущенника за то, что он якобы был близок Фению Руфу и Луцию Ветеру. В этом случае мы располагаем сведениями, как Нерон вознаградил донос либертина-предателя на своего патрона: доносчику было пожаловано достаточно почетное место в театре среди гонцов при народных трибунах. Этим, возможно, поощрялась стремительность первого доноса и рекомендовалось быстро доносить о любых других «преступлениях» против принцепса. Несомненно и то, что Нерон полагал возможность с почетного места любоваться своей игрой на сцене величайшим счастьем для любого преданного, и потому такую награду следует считать не менее, если не более значимой, чем просто материальное вознаграждение.

Награды доносчиков-либертинов возбудили зависть и в среде

представителей весьма почтенных римских родов. Антистий Созиан, некогда милосердно отправленный в изгнание за стихоплетство, возводящее хулу на особу принцепса, нашел способ обеспечить себе возвращение в Рим, сдружившись с ссыльным по имени Паммен, который слыл знатоком искусства халдеев, то есть был предсказателем. Хотя Паммен и находился в ссылке, многие из знатных римлян продолжали пользоваться его услугами. Выкрав гороскопы Публия Антея и Осторий Скопулы, Антистий отправил их Нерону, сопроводив письмом, что эти люди посягают на верховную власть, поскольку желают узнать свою судьбу и судьбу цезаря. В большинстве своем халдейские мудрецы-прорицатели в Риме были первостатейными проходимцами и гороскопы свои составляли так, чтобы их можно было толковать весьма расширительно. Главное, чтобы человек поверил в истинность гадания, услышав приятное для себя, но непременно присутствовали и хитрые оговорки, позволявшие предсказателю в случае гадания, явно не сбывшегося, все равно обосновать свою правоту.

Воздействие доноса ссыльного рифмоплета превзошло все ожидания: Антей и Осторий сразу превратились в осужденных. Антея Нерон давно не жаловал, поскольку тот был известен своей преданностью Агриппине и чтил ее память, кроме того, он был очень богат, а значит, его состоянием было бы неплохо пополнить изрядно опустевшую в результате великого строительства казну. Что до злосчастного Осторий, то расправа над ним объяснялась лишь тем, что он стал жертвой доноса, проверять подлинность которого никто не собирался. Осторий Скопул был видным военачальником, заслужившим славу в Британии, где он отличился при подавлении опасного мятежа, грозившего отторгнуть от Рима эту далекую провинцию. Принуждение к смерти такого человека, имевшего большие военные заслуги и, очевидно, невиновного в том, в чем его обвиняли, что едва ли для кого-либо составляло тайну, не могло не быть замечено в военной среде. Не в среде преторианцев, среди которых и так хватало недовольных, что показал заговор Фения Руфа, но в среде военачальников, возглавлявших легионы, в руках которых находились десятки тысяч испытанных бойцов и для которых бессудная расправа над ни в чем не повинным заслуженным воином была и личным оскорблением, и предупреждением на будущее. Отправляя на смерть Осторий, Нерон разжигал огонь, в котором ему самому и предстояло сгореть…

А пока число жертв принцепса все множилось. Смерть не миновала и родных Нерона, и членов его семьи. Сын Поппеи Сабины от ее первого брака Руфрий Криспин, которого Нерон

великодушно усыновил, имел неосторожность в своих детских играх называть себя полководцем и императором. Даже память о горячо любимой Поппее не остановила Нерона. В словах пасынка ему почудилась угроза собственному правлению. Несчастного мальчика утопили во время рыбной ловли. Не стало вскоре и Антонии, дочери Клавдия, с которой намеревался сочетаться браком Гай Кальпурний Пизон в случае убийства Нерона и принятия сана принцепса. Насколько сама Антония была готова соединить свою судьбу с Пизоном и знала ли она вообще что-либо о заговоре — неизвестно. Нерон, решив проверить ее расположение к себе, предложил Антонии выйти за него замуж после гибели Поппеи. С точки зрения Нерона мысль достаточно здравая: соединялись в семье оба представителя рода Юлиев-Клавдиев, а, будучи супругой принцепса, Антония не могла быть использована противниками принцепса для заговорщицких целей. Антония, однако, отказала Нерону. Разозленный ее отказом и видя, возможно, в нем как раз свидетельство враждебности со стороны дочери покойного императора, Нерон распорядился казнить ее, предварительно обвинив в подготовке государственного переворота. *«За ней последовали остальные его родственники и свойственники: среди них были молодой Авл Плавтий, которого он перед казнью изнасиловал и сказал: Пусть теперь моя мать придет поцеловать моего преемника!» — ибо, по его словам, Агриппина любила этого юношу и внушала ему надежду на власть»,* — сообщает Светоний.[223]

Истребление ближайшей родни, включая Антонию и Авла Плавтия, имело далекоидущие последствия. Нерон избавился окончательно от всех, кто мог претендовать на высшую власть в государстве по кровнородственному принципу — принадлежности к роду Юлиев-Клавдиев. Он теперь был единственным потомком божественного Юлия и божественного Августа. Но это означало, что теперь только от его собственной судьбы зависело будущее правящего рода. Ведь оба брака Нерона не принесли ему детей. От Октавии он детей и не желал, дочь Поппеи умерла во младенчестве, прожив только три месяца, а того ребенка, которого они с Поппеей ожидали, он сам в пьяном безумии убил вместе с матерью. Вдовцом, правда, он оставался недолго. Третьей женой Нерона стала Статилия Мессалина. Она была правнучкой видного военачальника Тавра, удостоенного за свои победы триумфа и дважды побывавшего в должности консула. Ранее Статилия была женой Аттика Вестина, бывшего консулом в роковой год заговора Пизона. Нерон тогда заодно с заговорщиками расправился и со строптивым консулом, имевшим малоприятную для принцепса славу последнего борца за

восстановление римской свободы. Когда же Нерон женился на его вдове, многие стали говорить, что потому-то он и погубил Вестина, чтобы заполучить в супруги Статилию Мессалину. Такие разговоры не могли иметь действительной почвы: во время заговора Пизона Нерон был женат на Поппее и супруги ожидали второго ребенка. Каков будет ужасный конец этой любви не предполагал никто, включая самого Нерона.

Последний брак Нерона оказался бездетным. Нерон никак не мог забыть образ Поппеи, и это привело к удивительным последствиям: любимые черты безвременно утраченной жены Нерон вдруг узрел на лице… мальчика по имени Спор.

Вот тогда-то Нерон, один раз уже сыгравший роль невесты в браке то ли с Пифагором, то ли с Дорифором, совершил еще одно, уже описанное нами супружество: он стал «двоеженцем». Наряду со Статилией Мессалиной супругой принцепса был и мальчик Спор. Несчастного отрока еще и кастрировали для того, наверное, чтобы сохранить женственные черты его облика. Как и в случае с «замужеством», внешне все выглядело по-настоящему: соблюдены были все положенные свадебные обряды, «невеста» принесла приданое, Спора торжественно ввели в дом Нерона и он занимал супружеские покои. Именно в эти дни и появилась знаменитая блистательная шутка римлян: «Сколь счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена!» Этот странный союз продолжался до конца жизни Нерона. Спор будет рядом с ним в последние мгновения его жизни.

Двойное устройство брачной жизни Нерона, столь потешившее римлян, никак не отразилось на смягчении его политики расправ с людьми. Тацит сообщает о гибели в течение нескольких дней четырех сенаторов. Криспин — первый супруг Поппеи, получил повеление умереть на острове Сардиния, где он уже находился в ссылке за причастность к заговору Пизона. Возможно, расправившись с пасынком, поведшим непозволительные речи, Нерон решил избавиться и от того, кто произвел не свет наглого мальчугана. Руфрий Криспин Старший, получив приказ Нерона, послушно исполнил повеление принцепса.

Много сложнее история, приключившаяся с Аннеем Мелой, братом Сенеки и отцом поэта Лукана. Мела предпочитал придворные должности государственным, поскольку если вторые несли прежде всего почет, то первые открывали кратчайший путь к обогащению. Свое богатство он составил, заведуя личным имуществом принцепса в качестве его личного прокуратора. Когда выяснилось, что сын его заговорщик, достойный отец даже не пытался его спасти, не просто отмежевавшись от недостойного

чада, но воспользовавшись его гибелью с целью присвоения его состояния. Такая низость возмутила одного из ближайших друзей Лукана Фабия Романа. И вот появился донос, подкрепленный поддельным письмом покойного поэта, из чего следовало, что отец принадлежал к заговору наряду с сыном… Получив эти доказательства заговорщицкой деятельности Мелы, Нерон не удосужился их проверить, хотя и вздорность их была очевидной, но вспомнил о великих богатствах Аннея Мелы. Тем более вспомнил, заметим, что нажил-то их Мела, пребывая на должности прокуратора имущества принцепса, то есть обирая Нерона. В этом случае, накладывая руку на имущество лжезаговорщика, Нерон, по сути, возвращал свое.

О нравственных качествах Аннея Мелы беспощадно свидетельствует и его завещание. В нем он высказал сожаление, что, дескать, погибает из-за несправедливого приговора, не будучи никогда врагом принцепса, в то время как его действительно заклятые враги остаются на свободе и по-прежнему наслаждаются жизнью. Имена этих заклятых врагов он тут же назвал: это были Руфрий Криспин и Аниций Цериал. С Руфрием Криспином Нерон уже сам разобрался, а, узнав еще и имя Цериала, обрек его на ту же участь. Как ни странно, но об этой совершенно безвинной жертве в Риме особенно не жалели. У Цериала была скверная репутация: когда-то, более четверти века назад, он выдал Гаю Цезарю Калигуле заговор, против него направленный. Очевидно, что изобличенных заговорщиков казнили — Калигула был очень скор на расправу. Нерону же смерть Цериала выгод принести не могла. Ему скорее надо было окружать себя подобными людьми. Цериал-то был не из тех людей, кто составляет заговоры, но из тех, кто их разоблачает в угоду принцепсу! Он бы и какой-нибудь заговор против Нерона вывел на чистую воду, но ему, похоже, никто не доверял, памятуя прежние его заслуги времен Калигулы.

Последним из погибших в эти дни всадников-сенаторов был знаменитый Петроний. Гай Петроний, как называет его Тацит,[224] или же Тит Петроний, как именовал его Плиний Старший.[225]

Описание трагического конца жизни Петрония принадлежит к лучшим, самым блистательным страницам исторических творений Публия Корнелия Тацита. Пересказать их невозможно, их должно приводить полностью:

> «О Гае Петронии подобает рассказать немного подробнее. Дни он отдавал сну, ночи — выполнению светских обязанностей и удовольствиям жизни. И если других вознесло к славе усердие, то его — праздность. И

все же его не считали распутником и расточителем, каковы в большинстве проживающие наследственное достояние, но видели в нем знатока роскоши. Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, и чем непринужденнее они были, и чем явственнее проступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к ним относились. Впрочем, и как проконсул Вифинии, и позднее, будучи консулом, он высказал себя достаточно деятельным и способным справляться с возложенными на него поручениями. Возвратившись к порочной жизни или, быть может, притворно предаваясь порокам, он был принят в тесный круг наиболее доверенных приближенных Нерона и сделался в нем законодателем изящного вкуса, так что Нерон стал считать приятным и исполненным пленительной роскоши только то, что было одобрено Петронием. Это вызвало в Тигеллине зависть, и он возненавидел его как своего соперника, и притом такого, который в науке наслаждений сильнее его. И вот Тигеллин обращается к жестокости принцепса, перед которой отступали все прочие его страсти, и вменяет в вину Петронию дружбу со Сцевином. Донос об этом поступает от подкупленного тем же Тигеллином раба Петрония; большую часть его челяди бросают в темницу, и он лишается возможности защищаться.

Случилось, что в эти самые дни Нерон отбыл в Кампанию; отправился туда и Петроний, но был остановлен в Кумах. И он не стал длить часы страха или надежды. Вместе с тем, расставаясь с жизнью, он не торопился ее оборвать и, вскрыв себе вены, то, сообразно своему желанию, перевязывал их, то снимал повязки; разговаривая с друзьями, он не касался важных предметов и избегал всего, чем мог бы способствовать прославлению непоколебимости своего духа. И от друзей он также не слышал рассуждений о бессмертии души и мнений философов, но они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Иных из рабов он оделил своими щедротами, некоторых — плетьми. Затем он пообедал и погрузился в сон, дабы его конец, будучи вынужденным, уподобился естественной смерти. Даже в завещании, в отличие от большинства осужденных, он не льстил ни Нерону, ни Тигеллину, ни кому другому из власть имущих, но описал безобразные оргии принцепса, назвав поименно участвующих в них распутников и

распутниц и, отметив новшества, вносимые ими в каждый вид блуда, и, приложив печать, отправил его Нерону. Свой перстень с печатью он сломал, чтобы ее нельзя было использовать в злонамеренных целях».[226]

Плиний Старший также сообщает, что *«консуляр Тит Петроний перед смертью разбил мурриновый ковш, купленный за триста тысяч сестерциев, из ненависти к Нерону, чтобы лишить его такого наследства»*.[227]

Так ушел из жизни самый яркий, самый одаренный человек времени Неронова правления. Его бессмертный «Сатирикон», дошедший до нас, увы, только во фрагментах, являет собой блистательный шедевр римской литературы. Смерть его не была ни подражанием каким-либо славным примерам, ни демонстрацией своего величия. Он не держал в уме подобно Сенеке образ Сократа, он уходил из жизни так, как мог уйти только он, — Arbiter Elegantiarum — законодатель изящного вкуса.

Образ умирающего Петрония несомненно держал в голове Михаил Афанасьевич Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», где Воланд советует смертельно больному бухгалтеру театра Варьете способ проведения своих последних часов: *«Не лучше ли устроить пир… и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?»*

В свое время последний день жизни Петрония вдохновил Александра Сергеевича Пушкина на написание «Повести из римской жизни». Повести, к величайшему сожалению, оставшейся незаконченной…

> «Цезарь путешествовал, мы с Титом Петронием следовали за ним издалека. По захождении солнца рабы ставили шатер, расставляли постели, мы ложились пировать и весело беседовали; на заре снова пускались в дорогу и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями.
>
> Мы достигли Кум и уже думали пускаться далее, как явился к нам посланный от Нерона. Он принес Петронию повеление цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи вследствие ненавистного обвинения.
>
> Мы были поражены ужасом. Один Петроний равнодушно выслушал свой приговор, отпустил гонца с подарком и объявил нам свое намерение остаться в Кумах. Он послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в

кипарисной роще, посвященной эвменидам.

Мы окружили его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил, долго ли думал он оставаться в Кумах и не страшится ли раздражить Нерона ослушанием.

— Я не только не думаю ослушаться его, — отвечал Петроний с улыбкой, — но даже намерен предупредить его желания. Но вам, друзья мои, советую возвратиться. Путник в ясный день отдыхает под тенью дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась ударов молнии.

Мы все изъявили желание с ним остаться, и Петроний ласково нас благодарил. Слуга возвратился и повел нас в дом, уже им выбранный. Он находился в предместье города. Им управлял старый отпущенник в отсутствие хозяина, уже давно покинувшего Италию. Несколько рабов под его надзором заботились о чистоте комнат и садов. В широких сенях нашли мы кумиров девяти муз, у дверей стояли два кентавра.

Петроний остановился у мраморного порога и прочел начертанное на нем приветствие: «Здравствуй!» Печальная улыбка изобразилась на лице его. Старый управитель повел его в библиотеку, где осмотрели мы несколько свитков, и вошли потом в спальню хозяина. Она была убрана просто. В ней находились только две семейные статуи. Одна изображала матрону, сидящую в креслах, другая — девочку, играющую мячом. На столике подле постели стояла маленькая лампада. Здесь Петроний остался на отдых и нас отпустил, пригласив вечером к нему собраться.

Я не мог уснуть; печаль наполняла мою душу. Я видел в Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренне ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум, я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знания света и людей, известные мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведал все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою. Но ум его хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармонию слов. Охотно слушал философские

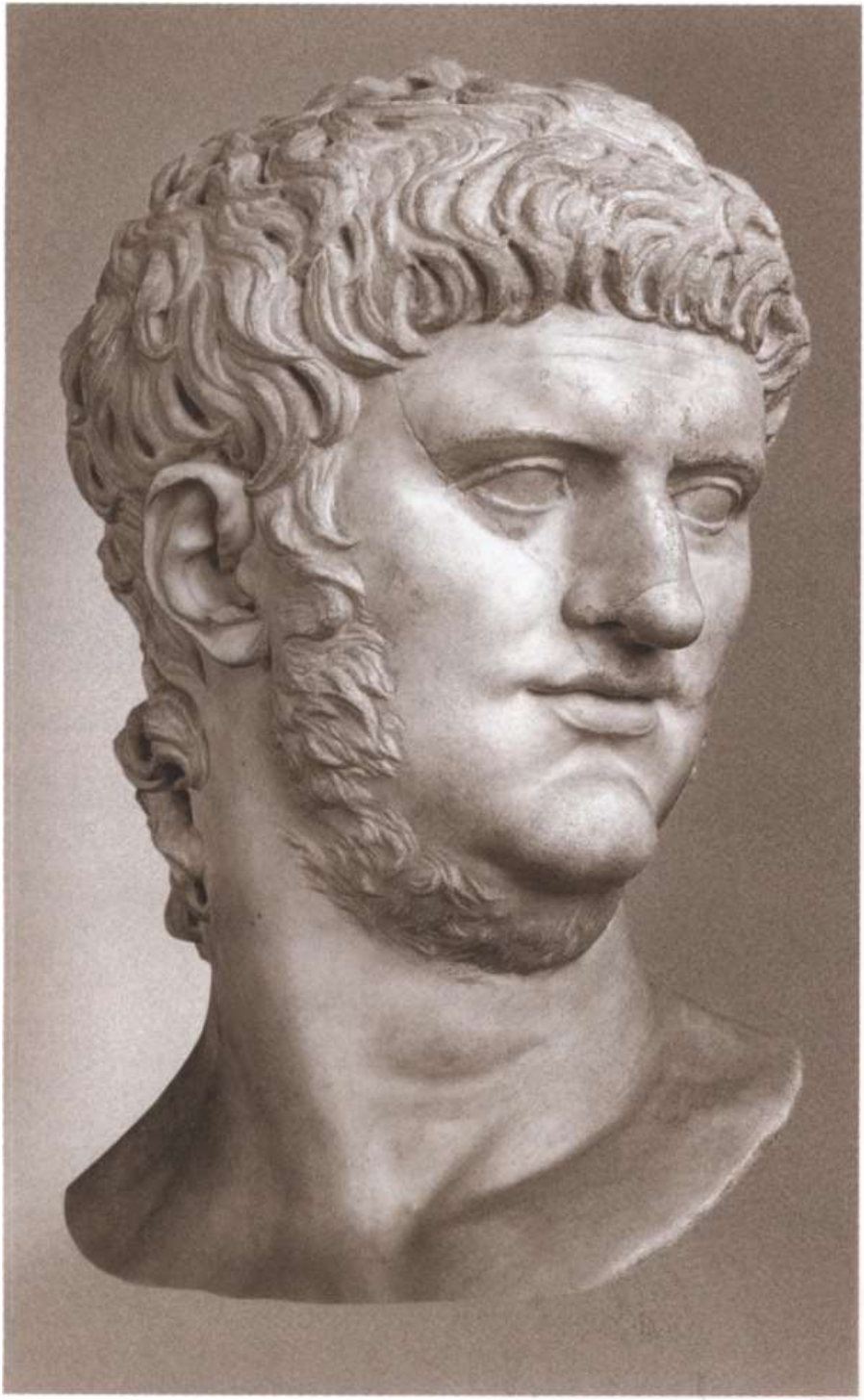
рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла…»[228]

Судьбу Петрония решил лживый донос его раба. Среди друзей не нашлось никого, кто бы решился угодить Тигеллину. Прибегнув к рабскому доносу, Тигеллин невольно воскрешал в памяти римлян конец правления всем ненавистного Калигулы. Ведь одной из важнейших причин его гибели стало дозволение рабам доносить на своих хозяев.

> «Калигула разрешил рабам выступать с любыми обвинениями против своих господ… Дело дошло до того, что некий раб Полидевк осмелился выдвинуть обвинение против Клавдия, дяди императора, и Калигула не постеснялся присутствовать на суде над своим родственником: он питал надежду найти предлог избавиться от Клавдия. Однако это ему не удалось, ибо он все свое государство наполнил клеветой и злобой, а так как он сильно восстановил рабов против господ, то теперь против него стало возникать много заговоров, причем одни приняли в них участие, желая отомстить за личные обиды, а другие полагали, что от такого императора надо избавиться раньше, чем он ввергнет всех в великие бедствия», — свидетельствует Иосиф Флавий.[229]

Уже то, что либертинам было больше веры на суде Нерона, нежели сенаторам, поражало римлян, но рабские доносы… Это прямой возврат к худшим дням времен Калигулы, напоминание о давно ушедших в прошлое днях проскрипций эпохи гражданских войн… Еще один опасный на будущее шаг Нерона — цезарь, дающий рабам возможность свободно доносить на господ, непременно столкнется с заговорами, ибо трудно найти римлян, коим такая вольность была бы по сердцу. Наконец, Нерон напрочь забыл то, чему учил его Сенека, когда был верным помощником молодого принцепса: *«Частое мщение обуздывает единицы и порождает ненависть сотен. Как подрезанные деревья умножают свои побеги, так жестокость монарха, уничтожив немногих врагов, увеличивает их число».* Разумеется, из этих мыслей Сенеки вовсе не следовало, что он полностью отрицает всякое мщение. Если положение является нестерпимым, если того требует государственная целесообразность, то можно оправдать иные решительные действия монарха. Так, как мы помним, Сенека оправдывал гибель Британника и помогал осуществить добрым своим советом убийство Агриппины. Но теперь, когда не было уже и самого Сенеки, подтвердилась справедливость иного

высказывания мудрого философа. Не из тех высказываний, что в его трактаты включались, но того высказывания, что в самом узком кругу произносилось: *«Если этот дикий лев однажды попробует человеческой крови, ничто не остановит его от возврата к своей природной жестокости».* По природе своей Нерон был еще и трусоват, как натура артистическая, впадал в крайние состояния, потому и жестокость его, все более погоняемая страхами, становилась частой и бессмысленной. Потому-то и недолгим было тираническое правление Нерона, симптомы которого после смерти Бурра и отставки Сенеки стали только проявляться, а после заговора Пизона уже были обычным делом. Еще раз скажем: это не были массовые репрессии, Нерон расправлялся исключительно с представителями верхов римского общества. Но это была не просто верхушка, это, не забудем, была элита римского общества. Среди его жертв имена, золотыми буквами вписанные в мировую культуру, — Лукан, Сенека, Петроний — талантливый поэт, великий философ, блистательный литератор. Их гибель — три несмываемых клейма в биографии Нерона. Среди владык Римской империи было много императоров, проливших куда более крови, нежели Нерон. Да и проливали они ее часто много более изуверскими способами. Хватало в истории Рима подлинно кровожадных владык. Но по части уничтожения знаменитых римлян, людей, бывших гордостью своего, да и не только своего, времени, Нерон превзошел всех. Можно, конечно, вспомнить, что молодой Октавиан повинен в гибели Цицерона, а император Август сослал великого Овидия в причерноморскую глушь. Но в первом случае он вынужденно, хотя нельзя считать это оправданием, уступал нажиму Марка Антония, от которого головы великого оратора требовала его свирепая супруга Фульвия, а во втором случае… а где бы в ином месте Овидий написал свои знаменитые «Тристии» («Печали»)?



Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (15.12.37–9.06.68).

Рабы, подносящие блюда.

Театральные представления.

Дорога, ведущая на форум.

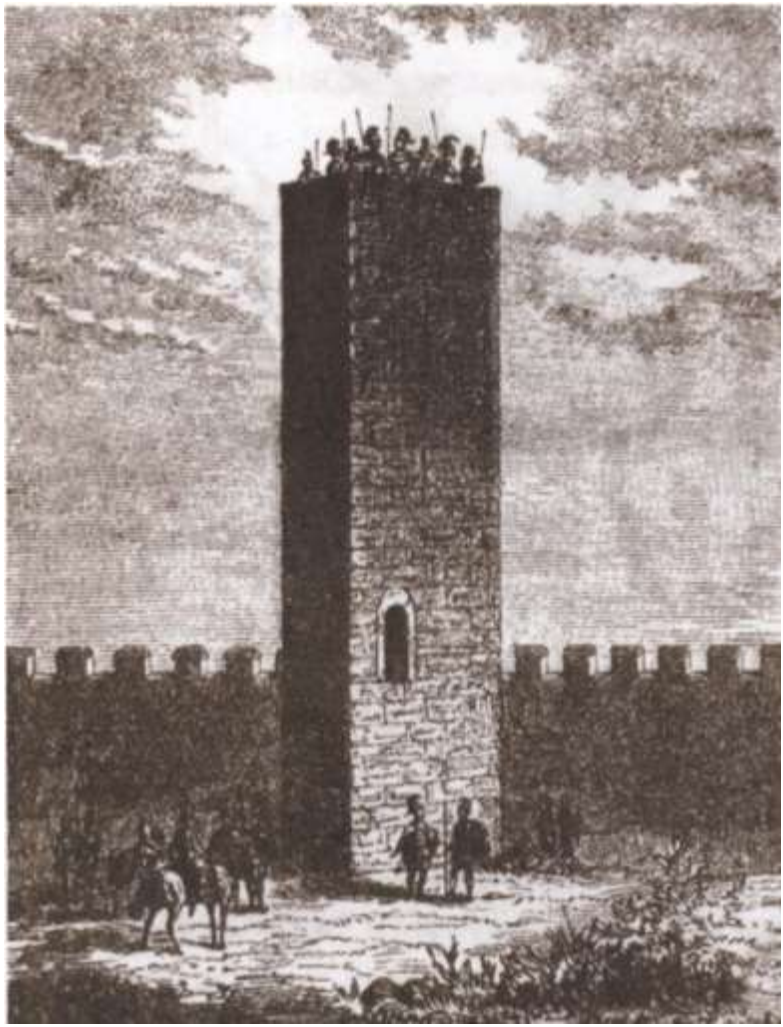
Форум (рыночная площадь), центр политической и культурной жизни города.

Римская квадрига.

Гладиаторский шлем.

Въезд триумфатора в Рим.

Капитолий.



Сторожевая башня.

Серебряный канфар с купидонами.

Музыканты.

Нерон в образе бога Аполлона.

Иудейские священники и левиты.

Пожар в Риме.

Апостол Павел.

Преторианцы.

Монета с изображением Нерона.

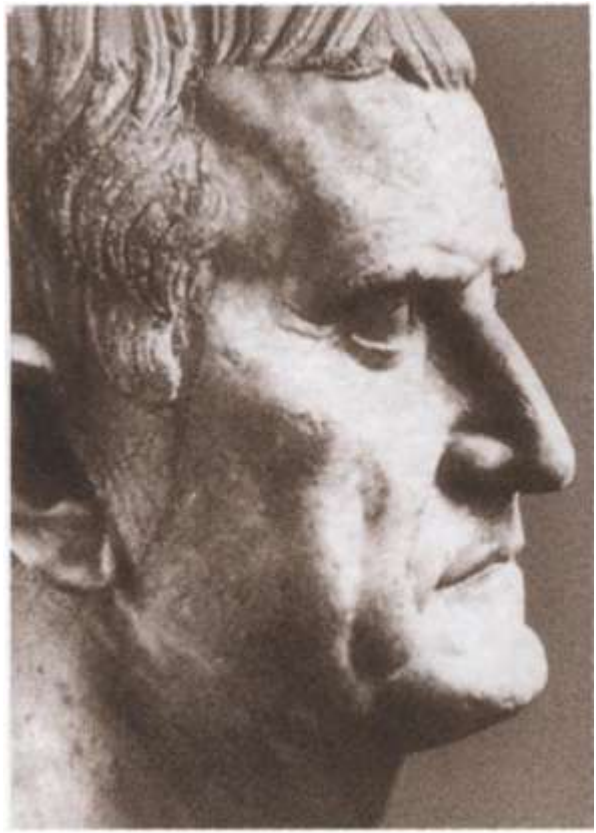
Раннехристианские символы.

Портрет молодой римлянки.

Рабочий кабинет знатного римлянина.

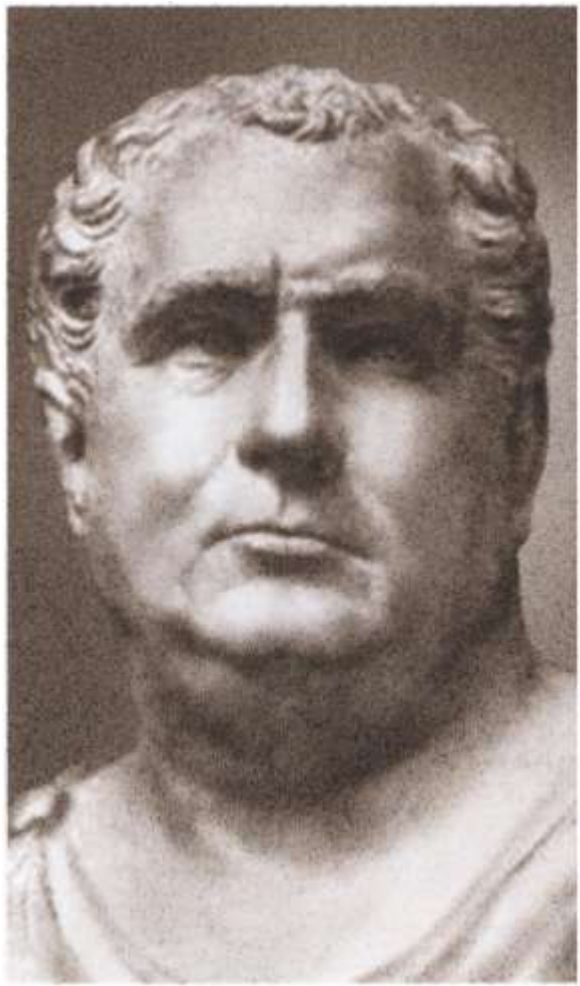
Поппея Сабина(?), вторая жена Нерона.

Статилла Мессалина, очередная жена Нерона.

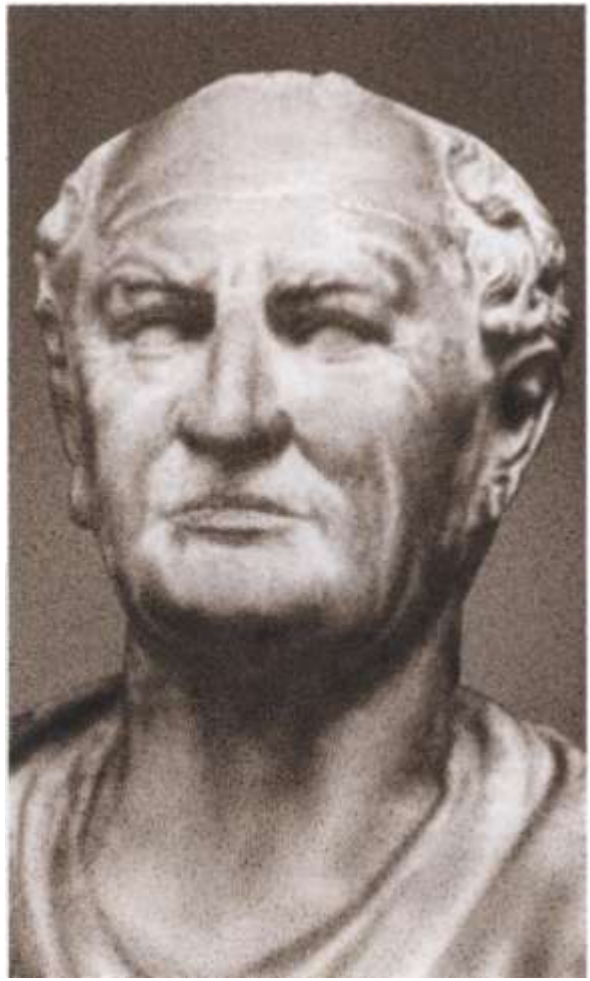


Гальба (правление 68–69 гг.).

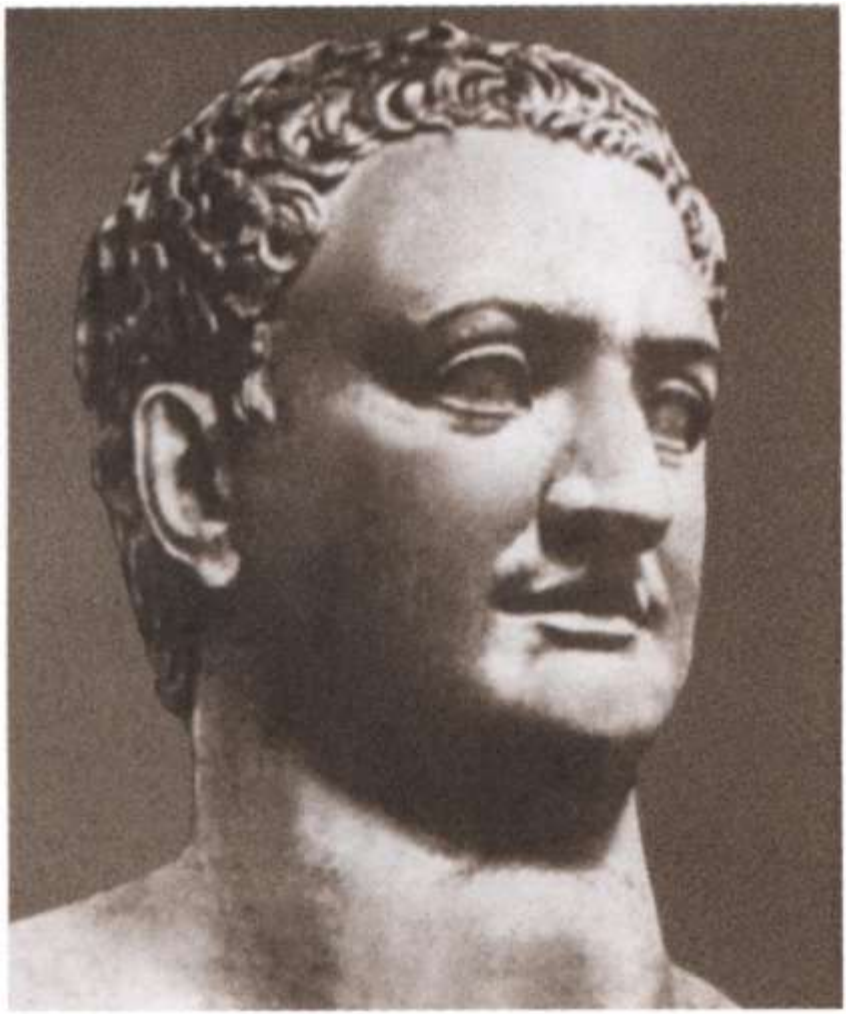
Отон (правление 69 г.).



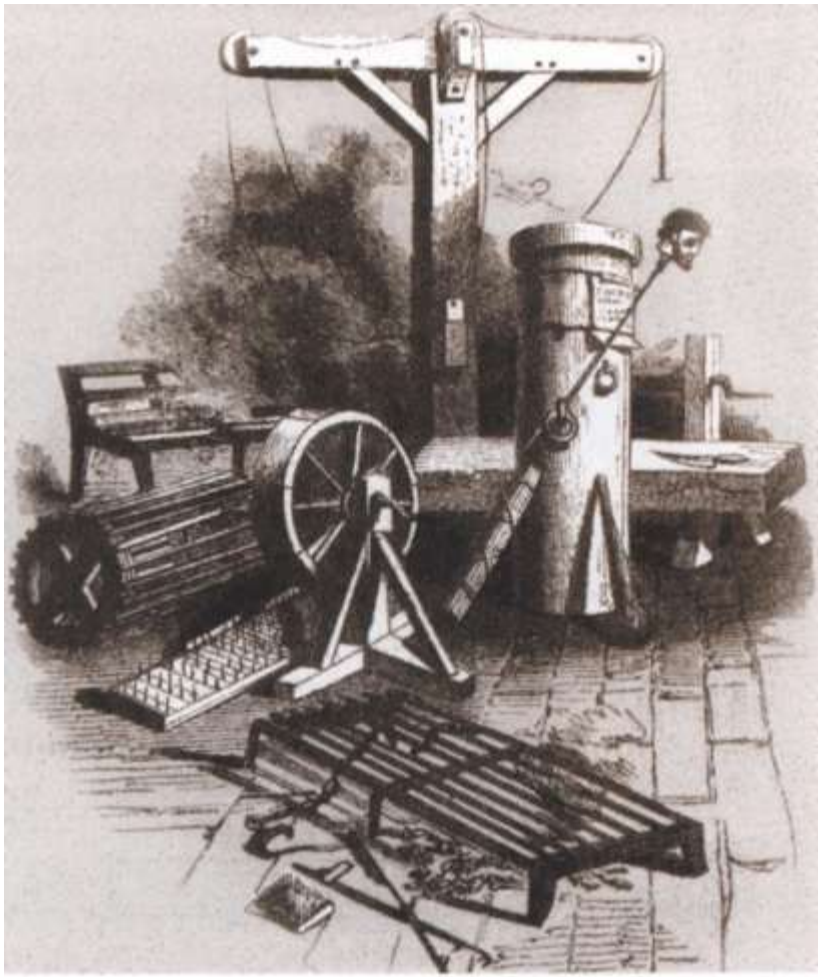
Вителлий (правление 69 г.).



Веспасиан (правление 69–79 гг.), основатель династии Флавиев.



Тит, сын Веспасиана (правление 79–81 гг.).



Орудия пыток.

Погребальные урны.

Смерть Нерона. (Фрагмент.) Художник В. С. Смирнов. 1888 г.

Вернемся, однако, в двенадцатый год правления Нерона. В этом году он как бы задался целью расправиться со всеми знаменитейшими и уважаемыми людьми Рима. После гибели Петрония пришла очередь достойнейшего из сенаторов — Тразеи Пета.

«Он хочет быть, а не казаться праведным» — так сказано об одном из героев трагедии Эсхила «Семеро против Фив» Амфиарае. Слова великого эллина можно уверенно отнести к последнему великому римскому сенатору. Тразея Пет давно раздражал Нерона. И дело тут, думается, не только в его независимости, а в ряде поступков, задевавших Нерона. Мы помним, как он покинул курию, когда сенат рукоплескал счастливому известию о «спасении» Нерона от покушения, подстроенного Агриппиной. Тразея добился в сенате смягчения приговора виршеплету Алтистию, лишив Нерона удовольствия явить свое великодушие и самому смягчить суровый приговор. Строптивость его давно не была тайной для Нерона, она, конечно, раздражала его, но прямой опасности не представляла. Тразея не мог быть в числе соискателей звания принцепса, поскольку не состоял в родстве с Юлиями-Клавдиями, а его открытое поведение, не скрывающее истинного отношения к происходящему, как раз свидетельствовало, что этот прямой, гордящийся своей независимостью человек никогда не унизит себя до заговорщицкой деятельности. Со всех точек зрения Тразея не представлял опасности для Нерона. Не был он и центром притяжения сил, ненавидящих принцепса. Явного оппозиционера, пользующегося очевидным нерасположением цезаря, старались избегать, дабы самим не угодить в опальные. Тразея скорее мог глубоко возмущать Нерона тем, что опровергал его убеждение о присущей всем людям без исключения порочности, которую одни по слабости своей скрывают или пытаются скрыть, а другие, подлинно сильные и презирающие жалкие пересуды ничтожных людишек, не только не прячут, но смело выставляют напоказ. Пет был полной противоположностью Нерону. Опровергал его представления о людях и потому неизбежно должен был рано или поздно стать его жертвой.

Как и во всех прочих делах этого времени, дело началось с доноса. Автором его стал Коссуциан Капитон, имевший к Тразее свои счеты, — Пет способствовал изобличению Капитона в лихоимстве в бытность того в Киликии, за что он и был осужден. Донос Коссуциана был составлен виртуозно. Он не приписывал

Тразеи каких-либо опасных замыслов, не пытался сделать из него тайного заговорщика, не упирал на близость к уже выявленным врагам Нерона. Он прямо указывал, что Тразея является противоположностью Нерону, и отваживался даже на историческую параллель, напоминая о временах гражданских войн в Риме: «И подобно тому, как некогда жадный до гражданских раздоров Рим толковал о Гае Цезаре и Марке Катоне, так теперь он толкует о тебе, Нерон, и Тразее».[230] Нерону, конечно, было приятно сравнивать себя с божественным Юлием, а для Тразеи пламенный республиканец, знаменитый своей добродетелью, Марк Порций Катон, никак не выглядит укором. Доносчик делал явный упор, что в ходе такого противостояния разразилась гражданская война. Таким образом, Тразея, подобно Катону, мог стать источником новой смуты. *«И у него есть последователи,* — писал далее доноситель, — *вернее, сообщники, правда, еще не усвоившие его упорства в отстаивании своих воззрений, но подражающие ему в одежде и облике, суровые и угрюмые, всем своим видом как бы упрекающие тебя в распущенности».*[231] Так вот в чем главная опасность Тразеи, вот почему нужно незамедлительно прекратить его существование! У него есть последователи, люди его же склада, и число их множится. *«Напрасно, Нерон, ты убрал Кассия, если намерен терпеть, чтобы множились соперники Брута»*[232] — ничего не скажешь, блестящий исторический каламбур с точным указанием и на особенность современной ситуации: что толку ссылать на Сардинию старого слепого правоведа, если Тразея своим образом жизни и строптивым поведением плодит куда более опасных молодых кандидатов в Бруты? Заканчивался этот своего рода шедевр доносительства успокоительным пояснением Нерону, что ему вовсе не обязательно самому принимать решение, поскольку за него все сделает сенат: *«Наконец, ты можешь и не предписывать, что сделать с Тразеей; предоставь сенату быть судьей в нашем споре».*[233] Нерон, разумеется, охотно принял предложение Коссуциана Капитона. Для большей силы обвинения он распорядился дать главному обвинителю в помощь оратора Эприя Марцелла, знаменитого своим язвительным красноречием. Дабы не заострять внимания сенаторов на одном Тразеи, к суду на том же заседании привлекли также бывшего проконсула Азии Барею Сорана и его дочь Сервилию. Соран провинился в том, что помешал либертину Нерона Акрату вывести из города Пергама самые знаменитые статуи и картины для украшения дворца Нерона. Строго говоря, помешали Акрату сами пергамцы, возмущенные откровенным грабежом своего знаменитого произведениями искусства города. Но проконсул Барея Соран,

имевший возможность силой римского оружия пресечь дерзость пергамской общины, помощи Акрату не оказал, явно симпатизируя провинциалам. Дочь его оказалась женой ссыльного Анния Поллиона. Чтобы осудить ее вместе с отцом, Сервилии приписали большие денежные траты… на магов. Бедняжка действительно однажды обращалась к каким-то прорицателям, запрашивая их о том, все ли будет благополучно в их семье, можно ли мольбою смягчить Нерона и не принесет ли сенатское расследование чего-либо страшного. Поступок этот был совершенно заурядным для людей той эпохи. В иное время на него бы и внимания не обратили, но когда это нужно для обвинения… Самому Сорану вменяли в вину связь с Рубеллием Плавтом, сосланным в Азию как раз в годы его проконсульства, и поддержку мятежных пергамских общин. Обвиняемыми «второго ряда» на этом процессе стали зять Тразеи Гельвидий Приск и двое друзей сенатора Паконий Агриппин и Курций Монтан.

Отвратительное судилище завершилось таким приговором: Тразее, Сорану и Сервилии было предписано самим выбрать способ смерти, Гельвидия и Пакония отправили в изгнание за пределы Италии, а Монтана даже простили, воспретив ему, правда, занимать государственные должности.

Тразея, наверняка внутренне уже готовый к такому финалу, спокойно встретил приговор. Согласно сведениям Тацита, он уговорил жену Аррию не следовать его примеру, не лишать себя жизни и не оставлять без единственной опоры их дочь, а затем, удалившись в спальню в сопровождении зятя своего Гельвидия и друга, философа-киника Деметрия, спокойно протянул врачам руки, чтобы ему надрезали вены.[234] Плиний Младший сообщает, что Аррия первая поразила себя кинжалом, а затем передала его мужу, присовокупив слова: «Пет, не больно», дабы придать ему решительность.[235]

Хотя расправа над Тразеей и была осуществлена формально не в сенатском суде, никто в Риме не обманывался по поводу роли самого Нерона в этом деле. Смерть великого сенатора пала на принцепса — он один выглядел в глазах современников ответственным за трагические судьбы лучших граждан Рима.

Казни многих людей, обладавших большими богатствами, порой приводили к серьезным переменам в структуре земельной собственности в иных провинциях. Многие ведь имели богатые имения далеко за пределами Италии. По сообщению Плиния Старшего, шестеро казненных в Риме при Нероне богатых людей владели «половиной Африки», то есть половиной всех земельных угодий в одной из богатейших провинций Римской империи — в провинции Африка, включавшей в себя бывшие центральные

владения Карфагенской державы[236] (совр. Тунис и часть Алжира).

Казни сенаторов не предотвратили нового заговора. К сожалению, наши сведения о нем самые скудные. О том, что он был, мы знаем из сообщения Светония, который пишет, что заговор этот был вторым после заговора Пизона и случился не в Риме, но в Беневенте. Вождем заговора биограф Нерона называет Виниciана.[237] О самом Аннии Виниciане мы узнаем уже из сообщения Диона Кассия. Анний Виниciан был зятем знаменитого полководца Гнея Домиция Корбулона, командовавшего римскими легионами на Востоке во время многолетней войны с Парфией. Виниciан был молод и пользовался расположением Нерона, поскольку был назначен командиром легиона — легатом, хотя возраст его еще не соответствовал столь высокому назначению. Это был знак высокого доверия со стороны императора.[238] В мае 66 года, как раз во время процесса над Тразеей Петом, Бареей Сораном и Сервилией, Виниciан прибыл в Рим, сопровождая царя Армении Тиридата, который должен был получить корону из рук Нерона согласно договоренности трехлетней давности между Римом и Парфией.

Заговор Виниciана, возможно, был импровизацией. Молодой легат, за годы войны оторвавшийся от мирной жизни, мог быть потрясен происшедшими переменами. Ссылка его родного брата Анния Поллиона, наверняка несправедливая, расправа над женой Поллиона — Сервилией и ее отцом Бареей Сораном могли произвести на Виниciана столь сильное впечатление, что он решился отомстить Нерону за его неправедный суд. То, что сенат просто исполнял заранее известное пожелание принцепса, понять ему было нетрудно, как и догадаться о совершенной вздорности предъявленных несчастным обвинений. Почему с заговором связан город Беневент, а не Рим? Беневент, расположенный на юго-востоке от Рима, в центральной части Южной Италии, знаменит тем, что близ него в 275 году до новой эры консул Маний Курий Дентат наголову разгромил грозного эпирского царя Пирра, находился на полпути из Рима к портам на Адриатике Барию или Брундизию, откуда лежала наиболее короткая морская дорога в Грецию. То, что Нерон собирается совершить поездку в Грецию, могло быть известно, как известен и маршрут императора. Скорее всего, заговорщики хотели перехватить Нерона во время его путешествия в Беневенте, но это им не удалось. По каким-то причинам заговор был изобличен и последовали новые расправы. Погиб наверняка сам Виниciан, но главная смерть, ставшая самым значимым последствием этого

заговора, случилась несколько позже в Греции, куда в конце года отправился Нерон. Полководец Корбулон был вызван Нероном, прибыл в Коринф, где находился император, и там то ли был убит, то ли принужден к самоубийству. Известно, что сказал старый воин перед смертью: «Заслужил!» Сказано это было по-гречески и звучало как «Axios!». Какой смысл вложил полководец в последнее слово в своей жизни — можно только догадываться. Не верится, чтобы таким образом Корбулон прямо признавал свою заслуженную вину. Ближе к истине представляется мысль, что, вложив всю горечь в это слово, он корил себя за покорное исполнение повеления Нерона. Ведь не так уж и трудно было догадаться о роковом смысле такого приказа.

У истории нет сослагательного наклонения, поэтому разговоры на тему, что было бы, если бы… совершенно непродуктивны, ибо выводы, из них вытекающие, обычно зависят от полета фантазии того, кто в воображении своем рисует яркие картины возможных интереснейших поворотов в истории стран, народов да и всего человечества. И все же рискнем высказать одно предположение: если бы Корбулон проявил непокорность Нерону и двинул свои испытанные легионы к берегам Италии, кто знает, может, династию Юлиев-Клавдиев сменила бы династия Домициев и Рим не узнал бы эпохи Флавиев. Ведь до сих пор спорят иные историки, изучающие последний век Римской республики, что было бы, если бы Гней Помпей Великий после блистательного завершения восточной кампании не распустил бы свои легионы, как полагалось по закону, а пошел бы на Рим? Глядишь, и пала бы республика в Риме еще в 62 году до новой эры, и мир не знал бы ни диктатуры Цезаря, ни принципата Августа… Но это все уже из области фантазии, в реальной же истории лишь горестное «Axios!».

Гибель знаменитого военачальника не стала единственной смертью человека столь высокого ранга в этом году. Тогда же были вызваны в Грецию братья Скрибонии Руф и Прокул. Их постигла та же судьба, что и Корбулона. Если командующего легионами на Востоке могли казнить за участие в заговоре против Нерона, то Скрибоний Руф и Скрибоний Прокул управляли двумя провинциями на границе империи по Рейну. Учитывая опасность германской границы, в распоряжении каждого из проконсулов находились по три легиона. Предполагать, что братья действительно были заговорщиками, едва ли есть основания. У проконсулов провинций, находившихся на самой, пожалуй, опасной из римских границ, хватало текущих забот. Происходящее в Риме было слишком далеко от них, да из такой дали заговор составлять — дело не самое разумное. Кроме того,

если бы они и впрямь были заговорщики, дождался бы Нерон не покорного приезда их в Рим, а похода шести легионов на столицу империи…

В то же время известная нам логика репрессий Нерона подсказывает наиболее убедительную версию причин гибели обоих Скрибониев.

Род Скрибониев был знаменит. Достаточно вспомнить, что супругой Августа, от брака с которой родилась дочь Юлия Старшая, была как раз Скрибония. Праправнуком Скрибонии через свою мать Агриппину Младшую, ее мать Агриппину Старшую, наконец, Юлию Старшую был сам Нерон. Братья Скрибонии были еще и потомками Помпея Великого… Такая знатность позволяла любому из них при определенных обстоятельствах заявить о своих правах на звание принцепса. Так наверняка мог мыслить Нерон. Только ему показалось, что избавился он от всех возможных претендентов на власть, так или иначе принадлежащих к династии Юлиев-Клавдиев, как выяснилось, что Скрибониев-то он и не учел…

Эти три смерти можно уверенно считать поворотным событием в истории правления Нерона. До сих пор он без особого труда и риска боролся со своими действительными, а много чаще мнимыми противниками из сената и из знати, в столице пребывающей. Все, что они могли противопоставить ему, это бестолковые заговоры и мужественное поведение перед лицом смерти. Здесь же впервые репрессии Нерона коснулись тех, кто стоял во главе легионов, руководил провинциями. Им, кстати, могла еще очень не понравиться расправа над Бареей Сораном, умелым и деятельным правителем одной из самых известных провинций. И вот теперь подряд три смерти достойных людей и, главное, что опять-таки всем было очевидно, смерти, совершенно незаслуженные, ибо не совершали ни Корбулон, ни братья Скрибонии ничего против Нерона. Уж если так теперь цезарь вознаграждает тех, кто управляет далекими провинциями империи, кто сражается с полчищами парфян на Востоке, кто отражает вторжения германцев, оберегая рейнские рубежи на Западе, то подобная судьба может ждать любого проконсула, любого легата, любого самого заслуженного военачальника. А когда о столь печальном, но возможном повороте своей судьбы задумываются те, под чьим командованием многие тысячи, а то и десятки тысяч легионеров, испытанных в боях, то недолго остается править императору, натолкнувшему этих людей на подобные, совсем не веселые мысли.

Нерон тем временем пребывал в совершенной эйфории.

> «Гордясь и спесивясь такими своими успехами, он восклицал, что ни один из его предшественников не знал, какая власть в его руках, и порой намекал часто и открыто, что и остальных сенаторов он не пощадит, все их сословие когда-нибудь искоренит из государства, а войска и провинции поручит всадничеству и вольноотпущенникам».[239]

Нерон любил смотреть на гладиаторские бои через отполированный смарагд.[240] Римляне полагали, что если смотреть на смарагд, то восстанавливается острота зрения, так как он своим нежно-зеленым цветом смягчает утомление глаз. Что же касается того, что было видно через полированный смарагд, то представлялось оно совершенно искаженным. Нерон не жаловал, как известно, кровавых зрелищ на арене цирка, и потому во время них, а присутствовать на гладиаторских боях, где были десятки тысяч охочих до них зрителей, императору полагалось, восстанавливал с помощью смарагда остроту зрения, мало заботясь о том, что камень этот полезный только мешает видеть происходящее на арене. После успешного разоблачения двух заговоров подряд и казней заговорщиков, а также тех, кого он сам к таковым причислил, Нерон, похоже, и на все вокруг смотрел как бы через смарагд, искренне воображая, что делает нечто для себя полезное, и не видел, что на самом деле происходит вокруг, а главное, скоро неизбежно произойдет.

Глава VII
Войны и мятежи

Парфянский вызов

История Рима и войны — понятия неразделимые. Войны сопровождали историю Вечного города изначально, они шли всю его более чем тысячелетнюю историю, и именно умение воевать обеспечило гордым потомкам Ромула владычество над огромным пространством, которое ко времени воцарения Нерона простиралось уже от Британии на западе до Армении на востоке и от берегов Дуная и Рейна на севере до песков Аравии и Северной Африки на юге. Военные подвиги, военная слава — высшие доблести римлянина, и самые выдающиеся люди римской истории это те, кто прославил свое имя на полях сражений. Веками римские полководцы верно служили отечеству, не требуя себе взамен ничего, кроме почета, вершиной которого был торжественный въезд в Рим военачальника во главе победоносного войска с показом восторженной толпе богатейших трофеев — триумф. Но пришло время, когда полководцы, под чьим началом оказывались десятки и десятки тысяч воинов, стали сами задумываться и о власти. Первым правил Римом, опираясь на силу войска, Луций Корнелий Сулла, но вскоре он сам отказался от власти. О причинах этого загадочного решения историки спорят уже более двух тысяч лет. Смертельный удар Римской республике нанес Гай Юлий Цезарь. В отличие от Суллы он совершенно не собирался расставаться с властью, полагая править пожизненно и даже мечтая о царском венце. Кинжалы убийц пресекли на время возвращение монархического начала в римскую историю, но хитроумную форму монархии в республиканских одеждах, получившую наименование принципата, поскольку глава государства скромно именовался всего лишь принцепсом, то бишь первым в сенате, установил его внучатый племянник Октавиан, победившей в гражданской войне. Сам Октавиан, который стал носить имя Август после утверждения своего единовластия, талантом полководца не обладал, но умело использовал таланты тех, кого привлекал на службу. Победу в гражданской войне ему обеспечил полководец Агриппа, крупнейшие завоевания времени его правления совершил Тиберий, ставший пасынком Августа и его преемником. Первый римский император после основателя принципата был

великим воителем. Трижды он одерживал великие победы, достойные триумфа. Одинаково успешно он воевал и в лесах Германии, и на равнинах Подунавья, и в горных ущельях Альп. Именно его победы сделали рубежом Римской империи все течение Дуная от истока до устья, а в Германии он сумел продвинуться до реки Альбис (совр. Эльба). Но время Августа и стало той эпохой, когда наметился закат великих римских завоеваний. Последние годы его правления были омрачены жестокими неудачами в Германии, где после гибели малоудачливого военачальника Квинтилия Вара с тремя легионами римлянам пришлось вновь отвести свои рубежи с Альбиса на Рейн. Грандиозный мятеж в Паннонии и Далмации, охвативший земли от Дуная до Адриатики, так перепугал Августа, что он даже объявил в сенате, что повстанцы, число которых определяли в двести тысяч человек, могут через десять дней оказаться у стен Рима. Мятеж этот удалось подавить, лишь вызвав легионы с Востока.

Тиберий, сменивший Августа во главе империи, от продолжения завоевательных войн практически отказался. При нем к Риму было присоединено только Каппадокийское царство на востоке Малой Азии, до этого и так полностью зависимое от римлян. Будучи сам великим полководцем, осуществившим при Августе крупные завоевания, Тиберий как никто другой знал и силу соседей Рима, и возможности римской армии. Потому здраво рассудил, что империи надо удерживать то, что она уже приобрела, не пытаясь ценой перенапряжения сил продолжать расширять свои пределы, тем более что на завоеванных землях время от времени вспыхивали мятежи. При Калигуле римляне отстранили от власти последнего царя Мавритании (совр. территория Северного Алжира и Марокко), что привело к восстанию населения этой страны. Усмирять вновь приобретенную территорию пришлось уже преемнику Гая Цезаря.

Правление Клавдия принесло Риму еще ряд приобретений. Были включены в состав империи царство Фракия на востоке Балкан, прилегавшее к Черному и Мраморному морям, область Ликия на юге Малой Азии. Усмиренная Мавритания была поделена на две новые провинции. Была усилена зависимость от Рима Иудеи, а в далеком Приазовье римские войска сражались на берегах Танаиса (совр. Дон), поддерживая своего ставленника на троне царей Воспора Котиса. Крупнейшим же завоеванием Рима при Клавдии стала Британия, поход куда возглавил сам император. В честь успешного похода на этот большой остров сын принцепса и получил имя Британник. Продолжались в эти годы также и нескончаемые войны с германскими племенами на Рейне,

где особенно отличился Гней Домиций Корбулон, выражавший даже неудовольствие тем, что перед ним и его легионами ставятся только оборонительные задачи, завещанные еще Тиберием, в то время как он готов вести войска и дальше. Сложной оставалась ситуация и на восточных рубежах империи, где Рим соседствовал с могучей Парфией. Предметом соперничества двух великих держав античного мира была Армения. Клавдий, воспользовавшись междоусобной борьбой в Парфянском царстве, посадил на трон римского ставленника Митридата, брата царя Иберии (территория совр. Грузии) Фарасмана. Однако спустя несколько лет, когда царем Парфии стал новый правитель — Вологез I, позиции римлян в Армении оказались подорванными. Сын Фарасмана Радамист поднял восстание в Армении. Римский ставленник Митридат был убит, после чего парфяне решительно вмешались в армянские дела, и вскоре Вологез объявил своего брата Тиридата царем Армении. Следствием этого стал захват всей страны Парфией, что явно было угрозой позициям Рима на Востоке. Случились эти события как раз в 54 году, когда началось правление Нерона. Таким образом, юный принцепс, совершенно неискушенный в делах военных и внешнеполитических, с первых дней своего царствования должен был заниматься важнейшими делами государства и принимать решения, от которых зависела вся восточная политика империи.

Прежде чем мы перейдем к рассказу о взаимоотношениях Рима и Парфии в правление Нерона и как здесь проявил себя наш герой, необходимо сказать несколько слов о самой Парфии и особенностях римско-парфянских связей в предшествующую эпоху.

Изначально Парфия — это небольшая область между юго-восточной оконечностью побережья Каспийского моря и горами Копетдаг. Историческая столица Парфии, город Ниса, находился близ современного Ашхабада. Земля эта была сатрапией персидской державы Ахеменидов, а после завоевания Персии Александром Македонским и распада его империи отошла к Сирийскому царству, где утвердилась династия Селевкидов — потомков одного из виднейших военачальников-диадохов (преемников великого Александра) Селевка Никатора (Победителя). В середине III века до новой эры Парфия обретает независимость. Сначала там пытался утвердиться в качестве самостоятельного правителя греческий наместник Андрагор, но он вскоре погиб в схватке с кочевниками парфянами, чей предводитель Аршак и стал первым парфянским царем, положив начало царству Парфии и династии Аршакидов, которая

властвовала в нем более четырех с половиной столетий вплоть до 224 года, когда Парфянское царство рухнуло, влившись в состав новоперсидского царства Сасанидов. Поначалу Парфия признавала еще какую-то зависимость от державы Селевкидов, но постепенно роли стали меняться. Эллинистическая Сирийская держава постепенно слабела, а после поражения, нанесенного ей римлянами в 190 году до новой эры, стала клониться к упадку, утрачивая былые владения. Парфия же, наоборот, постоянно набирала силы, одну за другой захватывая земли слабеющей державы Селевкидов. Парфия и Рим стали соседями после того, как Гней Помпей Великий завершил свой грандиозный восточный поход, когда римские рубежи достигли западного берега Евфрата. А восточный берег этой великой реки оказался во владении Парфии, которая простиралась к тому времени от Евфрата на западе до Окса (Амударьи) на востоке, от Закавказья до Индии и от Каспия на севере до Персидского залива на юге.

Первое военное столкновение с парфянами принесло римлянам неслыханный позор. Битва под Каррами в Северной Месопотамии завершилась в 53 году до новой эры полным разгромом римских легионов. Погиб главнокомандующий римской армией Марк Лициний Красс, подавивший за восемнадцать лет до этого восстание Спартака. Десять тысяч римлян оказались в плену, а голова римского военачальника была доставлена ко двору парфянского царя, где подверглась глумлению. Особым унижением для Рима было то, что значки легионов, разгромленных парфянами, выставили как почетные трофеи в парфянских храмах на всеобщее обозрение. Позднее с Парфией с переменным успехом воевал Марк Антоний. Парфяне очень искусно использовали против римлян и особенности местного ландшафта, выбирая для сражений открытые равнинные театры военных действий, где они могли успешно использовать свое превосходство в коннице. Многочисленная легкая конница, где каждый всадник был еще и отменным лучником, была главной силой парфянского войска. Сама Парфия к тому времени уже давно не была государством кочевого народа. Овладев Ираном и Месопотамией, парфяне быстро восприняли достижения родственной им как иранцам персидской культуры, а также испытали сильнейшее воздействие культуры греческой — наследие эллинистического государства Селевкидов, значительной частью поглощенного Парфией. Парфяне отличались религиозной и культурной терпимостью, и потому их держава была страной, где причудливо переплетались верования, быт, нравы, обычаи, языки, достижения и традиции искусства иранского, эллинского мира, древней культуры Месопотамии.

Пожалуй, именно Парфянское царство можно считать запоздалым воплощением заветной мечты Александра Великого о слиянии греческого и иранского миров в единую цивилизацию. После поглощения Римом последних эллинистических государств Восточного Средиземноморья Парфия осталась единственной страной, которую можно считать во многом представительницей великой цивилизации эллинизма. В городах Парфии стояли и иранские зороастрийские храмы, и храмы греческих богов, в почете были разные местные верования. Действовали греческие театры; городские площади, улицы, дворцы царей, дома знати украшались греческими скульптурами. Верхушка парфянского общества владела греческим языком, была знакома с поэзией, с драматургическим наследием Эллады. Пример, конечно, мрачноватый, но когда голову Красса доставили в город Селевкию в царский дворец, то придворный шут, желая развлечь царя Ородеса и его окружение, схватив голову за волосы, продекламировал по-гречески стихи, содержание которых соответствовало ситуации унижения поверженного врага.

«Парфянский вызов», как называл его один из величайших антиковедов XX столетия М. И. Ростовцев, стал важнейшим фактором римской внешней политики. Со времен Карфагена Рим не встречал такого сильного врага. Парфия не выдвинула своего Ганнибала, но и ни одному римскому императору и полководцу в войнах с парфянами не доставались лавры, сопоставимые с лаврами Сципиона Африканского или Сципиона Эмилиана. Возвращаясь ко времени правления Нерона, надо сказать, что римско-парфянское противостояние стало одной из наиболее важных его страниц. Собственно, как уже говорилось, парфянская проблема встала перед Нероном с самого начала его царствования.

В конце 54 года Рим был охвачен тревожными слухами, которые породили известия об изгнании Радамиста парфянами, утверждении на армянском престоле брата парфянского царя и полном захвате Парфией Армении, каковую римляне привыкли считать сферой своего влияния. Сила парфян в Риме была прекрасно известна, и все понимали, сколь непростым для империи может стать грядущее столкновение. Смена власти, только что прошедшая, также особо не вдохновляла. Во главе государства — семнадцатилетний юнец, не имеющий, естественно, ни малейшего опыта в делах державных и военных. Его неопытность могла бы быть восполнена знаниями умудренных и испытанных в делах советников, но, похоже, всем на Палатине заправляет августа-мать, а женщине не пристало руководить войной. Что до ближайших советников юного цезаря,

то главный из них, конечно, может учить философским премудростям, но не искусству вести войну, выигрывать сражения у грозного противника, успешно осаждать и брать вражеские крепости и города.

Другим существующее положение вовсе не казалось таким уж безрадостным. Они вспоминали, что восемнадцатилетнему Гнею Помпею его юные годы совсем не помешали стяжать воинскую славу, достойную великого полководца; обращались и к делам Октавиана, который в такие же молодые годы успешно начинал свое блистательное восхождение к вершинам власти. Что до Бурра и Сенеки, главных советников принцепса, то это мужи многоопытные и дела государства знающие. Да и военачальниками Рим совсем не беден. Потому многие выражали надежду, что Нерон сам покажет, какие советники ему ближе — честные или бесчестные, *«остановив свой выбор скорее на полководце выдающихся дарований, нем на каком-нибудь богаче, добывшем себе за деньги влиятельную поддержку»*[241]

Отдадим должное Нерону и его советникам. Своими решительными и своевременными действиями молодой цезарь немедленно посрамил сомневающихся и вдохновил тех, кто возлагал на него свои надежды.

Согласно повелению Нерона в ближайших провинциях незамедлительно набрали молодежь, пополнив ею восточные легионы, которым было приказано придвинуться непосредственно к рубежам Армении, союзникам Рима — правителям небольших пограничных, всецело зависящих от римлян областей, было приказано обеспечить подготовку вторжения в пределы Парфии, подготовив переправы через Евфрат. Но главное, все были в восторге от замечательно верного назначения главнокомандующего легионами на Востоке: им стал испытанный военачальник, полководец с большим и победоносным опытом ведения боевых действий Гней Домиций Корбулон. Армия, которую он возглавил, должна была удержать за римлянами Армению. Такое продуманное назначение действительно заслуженного человека, вызвавшее всеобщее одобрение, дало основание полагать, что таким образом начинающееся правление открывает широкую дорогу для выдвижения по-настоящему одаренных людей.

Тем временем в Армении дела повернулись в пользу Рима. В Парфии возникла смута, вызванная выступлением против царя Вологеза его сына Вардана, и парфянам пришлось оставить недавно занятое ими армянское царство для того, чтобы сосредоточить все силы на наведении порядка в царстве собственном. Более того, теперь царь Парфии сам нуждался в

мире на западных рубежах своей державы и потому охотно согласился пойти на мир с Римом, а дабы у римлян не было сомнений в его искренности, он даже изъявил готовность выдать заложников, в числе которых оказались знатнейшие представители царствующего рода Аршакидов. Скорее всего, таким поступком Вологез достигал двух целей: добивался доверия римлян и обеспечивал безопасность извне на время войны с непокорным сыном, а заодно и избавлялся от опасных родичей, на верность которых в этой семейной междоусобице положиться он не мог. Статус римского заложника лишал даже задумавшего поддержать мятежного Вардана возможности каких-либо действий.

Выдача заложников привела неожиданно к конфликту между самими римлянами. Дело в том, что Корбулон возглавил войска Востока, направленные в Армению, но другая часть римской армии оставалась в Сирии, где ею продолжал командовать легат Умидий Квадрат. Формально оба военачальника были независимы друг от друга, но положение Корбулона в силу его назначения новым принцепсом и с учетом его личных достоинств, хорошо и широко известных, становилось предпочтительным, что не могло не вызвать ревности у Умидия Квадрата. Соперничество двух полководцев достаточно забавным образом проявилось как раз в истории с парфянскими заложниками. Когда заложники прибыли к римской границе, то их принял центурион, посланный Квадратом. Корбулон, узнав об этом, посылает своего префекта. Далее дело обернулось совсем уже комическим образом. Префект и центурион после безрезультатных жарких споров предоставили заложникам самим выбирать, к кому из римских полководцев они предпочитают направиться. Заложники и царские послы, их сопровождавшие, предпочли Корбулона как человека, очевидно, более прославившего себя воинской славой и даже внешне более представительного — Гнея Домиция, которого отличали огромный рост, могучее сложение, а также умение привлекать к себе не только окружающих, но даже врагов. Умидий Квадрат, жестоко обиженный таким предпочтением, заявил, что у него несправедливо отнимают плоды его стараний, поскольку именно его люди первыми приняли парфянских заложников. Корбулон, узнав об обиде легата, сказал, что царь Вологез согласился выдать римлянам заложников лишь тогда, когда узнал о прибытии к войску его, Корбулона, что, при всем уважении нашем к заслуженному воину, нельзя считать справедливым утверждение: у царя были причины предложить римлянам заложников, независимее от прибытия к армии римлян нового военачальника. И здесь нельзя не отдать должного Нерону: он

умело помирил поссорившихся военачальников, признав их успехи равными, заслуживающими одной общей лавровой ветви, которую они совместными усилиями добавили императору.

Однако мир, достигнутый на Востоке, оказался непродолжительным. Вологезу удалось быстро справиться с внутренними неурядицами в стране, и он немедленно вспомнил об Армении. Утрату этого царства, которое после такого удачного воцарения в нем своего брата Тиридата он считал уже окончательно приобретенным, забывать парфянский владыка вовсе не был намерен. Со своей стороны римляне чувствовали себя победителями, кроме того, они считали обладание Арменией делом исторически справедливым. Корбулон прямо заявлял, что величие римского народа обязывает его удерживать то, что еще более столетия назад завоевали в войнах с царем Понта Митридатом VI Евпатором и его союзником армянским царем Тиграном Великим славные римские полководцы Лукулл и Помпей. Однако положение римлян в Армении не было прочным. В этой стране существовали, конечно, и проримские силы, но большинство предпочитало парфян. Тацит так объясняет большее расположение армян к Парфии, нежели к Риму: *«По месту обитания, по сходству в нравах, наконец, из-за многочисленных смешанных браков они ближе были к парфянам и, не познав благ свободы, склонялись к тому, чтобы им подчиниться»*.[242]

Главной же трудностью для римлян оказывалась не приверженность армян к покровительству Парфии — римский историк едва ли прав, упрекая их в непонимании блага свободы, поскольку Парфия была много ближе к просвещенной монархии эллинического типа, нежели к грубой восточной деспотии, да и рабовладение в этой стране далеко уступало римскому, не говоря уже об отсутствии кровавых зрелищ гладиаторских боев, — а недостаточная подготовка восточных легионов к предстоящей тяжелой военной кампании.

На Востоке римлянам давно уже не приходилось вести больших войн. В последние десятилетия Рим посылал легионы в Британию, упрочил свое господство в Мавритании, противостоял варварам-германцам на нижнем Рейне, укреплял границу по всему течению Дуная, за которым также проживали бесчисленные варварские племена тех же германцев, народы фракийского происхождения — геты, даки, преемники некогда грозных скифов кочевники-сарматы. На восточных же рубежах, пока из-за Армении не обострились отношения с Парфией, римляне с серьезными опасностями не сталкивались. Потому до поры до времени войска, стоявшие в Сирии и Малой Азии, не усиливались. Более того, лучшие части перебрасывались на более

опасные рубежи. Так, XII Молниеносный легион, чье грозное прозвание говорило само за себя, во время похода Клавдия в Британию был переброшен через всю империю из Сирии на берега Альбиона. После завоевания большей части Британии, когда исчезла необходимость пребывания на острове столь многочисленного войска, этот славный легион не стали возвращать на берега Евфрата, но разместили на нижнем Рейне, дабы на его берегах эти испытанные воины молниеносно отражали варварские нападения. Там-то и пришлось XII легиону сражаться под началом Гнея Домиция Корбулона. Теперь, досконально изучив боеспособность вверенных ему войск, особенно перемещенных из спокойной и благодатной Сирии, Корбулон наверняка с тоской вспоминал тех, с кем подавлял мятеж фризов в низовьях Рейна. Не говоря уж о новобранцах и тех, кто недавно пополнил эти сирийские легионы, даже легионеры-ветераны в них ухитрились за все годы службы не побывать в настоящем боевом сражении, отвыкнуть от постоянного ношения шлемов и панцирей и, что для римских воинов особенно постыдно, не иметь понятия в возведении валов и рытье рвов для укрепленного лагеря. А ведь именно римский военный лагерь как раз и обеспечивал многократно успех римлянам в их бесчисленных войнах! Римский воин должен был уметь воевать не только мечом, но и лопатой — вот истина, которую знали в Риме, и сам Корбулон убежденно ее исповедовал. Легионеры, избегающие каждодневного ношения воинских доспехов и не умеющие толково держать в руках лопату, никуда не годились. Особенно в свете того, что им предстояло. Армия нуждалась в серьезном обновлении.

Корбулон действовал решительно: все неспособные к службе были уволены из легионов, в ближайших областях Малой Азии — Галатии и Каппадокии провели наборы новых воинов. Не забыли и о воинах, испытанных в боях, — с берегов Рейна по требованию Корбулона вернули на Восток овеянный боевой славой XII Молниеносный легион. Получив в свое распоряжение необходимые войска, полководец сам занялся их подготовкой к предстоящим походам и сражениям, ведя таковую наисуровейшим образом. Методы этой подготовки подробно описаны Тацитом и заслуживают того, чтобы их привести так, как они были известны великому историку:

> «Корбулон держал все войско в зимних палатках, хотя зима была столь суровой, что земля покрылась ледяной коркой, и, чтобы поставить палатки, требовалось разбивать смерзшуюся почву. Многие

> отморозили обе руки и ноги, некоторые, находясь в карауле, замерзали насмерть. Рассказывали об одном воине, несшем вязанку дров: кисти рук у него настолько примерзли к ноше, что, когда он ее опустил, отвалились от рук, которые остались у него изувеченными. Сам Корбулон, в легкой одежде, с непокрытой головой, постоянно был на глазах у воинов и в походе, и на работах, хваля усердных, утешая немощных и всем подавая пример. Но так как многие не хотели выносить суровость зимы и тяготы службы и дезертировали, ему пришлось применить строгость. Он не прощал, как было в других армиях, первых проступков, но всякий покинувший ряды войска немедленно платился за это головой. Эта мера оправдала себя и оказалась целительной и более действенной, чем снисходительность, и беглецов из лагеря Корбулона было значительно меньше, чем в армиях, где провинившиеся могли рассчитывать на прощение».[243]

Исторический анекдот о воине, лишившемся кистей рук, примерзших к вязанке дров, можно признать своего рода вершиной римского описания последствий лютого холода. Куда уж тут Овидию, чье самое сильное впечатление от ужасов мороза в краю гетов выражено строкой:

> «Здесь замерзает вино, принимая форму сосуда».

Конечно, система подготовки воинов у римлян и без того была очень суровая, но Корбулон, пожалуй, с учетом еще и свирепой для теплолюбивых римлян зимы, суровость эту довел до высшего предела. Результат желанный им был достигнут: армия, из которой своевременно удалили «непроворных инвалидов», наказали дезертиров, закаленная холодами, была готова к любым походам и к встрече с самым сильным противником, к штурму самых неприступных крепостей и городов.

Подготовив свою армию и сумев привлечь на сторону римлян всех возможных союзников, включая царя Иберии Фарасмана, Корбулон двинулся в Армению, где Тиридат в то время еще не мог рассчитывать на братскую помощь Вологеза, задержанного мятежом в Гиркании — области к югу от Каспийского моря.

Тиридат, не надеясь победить ввиду недостатка парфянских сил Корбулона в открытом сражении, попытался уничтожить римского полководца с помощью достаточно примитивной хитрости: он предложил Гнею Домицию личную встречу, заявив,

что он на нее явится всего лишь с тысячей всадников личной охраны, а Корбулон волен взять столько, сколько пожелает при единственном условии, чтобы все были без шлемов и панцирей. Корбулону не составило труда разгадать суть предложения Тиридата. Парфяне были искуснейшие лучники, и если бы римляне, пусть даже и при большим численном перевесе, но не защищенные доспехами, появились перед тысячей наверняка отборных парфянских лучников, их постигла бы участь злосчастного воинства Марка Красса при Каррах, когда от парфянских стрел пало до двадцати тысяч римских воинов. Да и сам римский военачальник погиб тогда, будучи жертвой коварства, явившись на якобы мирную встречу для переговоров. Корбулон был более умелым и дальновидным полководцем, нежели Красс.

Поход Корбулона в Армению принес блестящий результат. Умело расставив в горных проходах воинские отряды, он с самого начала пресек попытки Тиридата воспрепятствовать получению римлянами продовольствия с побережья Черного моря, а затем решительным штурмом овладел сильнейшей крепостью Воланд, открыв себе путь на столицу Армении — Артаксату. Тиридат попытался не допустить римлян к городу и, двинувшись им навстречу, сумел окружить войско Корбулона, надеясь, что окружение застигнет его врасплох и вызовет растерянность, которой он сумеет воспользоваться. Но многоопытного полководца смутить было не так-то просто. Корбулон заранее придал своей армии такой походный порядок, при котором она могла, не нарушая его, вести бой на всех направлениях, откуда бы ни появился противник:

> «Справа двигался третий легион, слева — шестой, посередине — отборные воины десятого; между рядами войска помещались обозы, а тыл прикрывала тысяча всадников, получивших приказание отбивать неприятельский натиск, но не преследовать врагов, если они обратятся в бегство. Фланги обеспечивались пешими лучниками и всей остальной конницей, причем доходивший до гряды холмов левый фланг был более растянут, чем правый, чтобы в случае налета противника наши могли ударить на него одновременно — и в лоб, и сбоку».[244]

Поняв безнадежность нападения на такой порядок римского войска, Тиридат, оставив без защиты Артаксату, ушел далеко на восток. Артаксата сдалась Корбулону без боя, что спасло жизнь ее населению. Но сам город римский полководец велел разрушить,

рассудив, что у него недостаточно сил, чтобы расположить в городе гарнизон, способный защищать городские стены на всем их протяжении, а просто оставить город означало бы, что римляне не сумели извлечь для себя никакой пользы от овладения им. Артаксата была предана огню.

Рим встретил победные известия из далекой Армении с ликованием. Нерон был провозглашен императором и таким образом становился вровень со своими предшественниками. Теперь он считался победоносным полководцем, о чем и свидетельствовал императорский титул. Правда, императоры-предшественники звание свое заслужили, либо сами одерживая славные победы, как Тиберий, либо участвуя в победоносных походах, как Август и, в конце концов, Клавдий, все же бывший в британском походе римской армии. Но пока об этих вещах никто не задумывался. Что ни говори, но ведь это юный принцепс так удачно назначил полководца для восточных легионов, значит, это по праву его победа. В честь победы воздвигли арку и статуи победителей, Нерону на несколько лет вперед определили консульства и ввели сразу три новых праздничных дня: день самой победы, день прибытия известия о ней в Рим и, наконец, день объявления о победе народу.

После разрушения Артаксаты поход был продолжен. Теперь целью Корбулона было взятие города Тигранокерты и полное овладение всем царством Армения. По счастью для римлян, Гиркания оказалась твердым орешком, и войска царя Вологеза оказались надолго там скованными, и потому парфянский ставленник мог в борьбе с римлянами опираться в основном на местные силы, каковых для серьезного противодействия Корбулону было явно недостаточно.

Во время нового похода римское войско не несло особых потерь, поскольку не встречало заметного сопротивления. Местное население частью смиренно покорялось римлянам, частью уходило подальше от путей движения войска в горы. Иные пытались укрыться со своим имуществом в горных пещерах. Последних Корбулон воспринимал как укрывшихся до поры до времени врагов, готовящих коварные нападения на римлян. По его распоряжению укрывшихся в пещерах безжалостно уничтожали в местах их укрытий: входы пещер закладывались дровами и хворостом, которые поджигались, дабы удушить находящихся внутри дымом.

Если в период подготовки к войне римские воины страдали от лютого холода, то теперь во время похода их преследовали жестокая жара и недостаток воды. И здесь Корбулон подавал всем пример, мужественно перенося наравне с рядовыми воинами все

тяготы похода. В этом он походил на величайших полководцев, которых также отличала эта достойная черта — умение переносить все лишения воинской жизни наравне со своими солдатами. Таковыми были Александр Македонский, Ганнибал, Гай Юлий Цезарь, в позднейшую эпоху Суворов, Наполеон.

Двигаясь к Тигранокерте, римляне овладели двумя армянскими крепостями, одну из которых пришлось брать штурмом, а другую принудили к сдаче осадой. В результате Тигранокерта не решилась сопротивляться и открыла свои ворота Корбулону, который повел себя здесь иначе, нежели в Артаксате. Городу и его жителям не причинили ни малейшего ущерба, дабы показать всем выгоды послушания Риму. Единственное серьезное сопротивление римлянам оказала только крепость Лагерда, где укрепилась отважная армянская молодежь. Защитники Лагерды сначала дали бой у стен крепости, потом отчаянно защищали ее стены. Римлянам пришлось вести осаду по всем правилам военного искусства. Был сооружен специальный осадный вал, полностью блокирующий крепость, затем предпринят решительный штурм. Когда римляне ворвались наконец в Лагерду, ее защитники прекратили сопротивление.

Успехи римских войск в Армении не остались незамеченными в мятежной Гиркании, откуда к Корбулону прибыло посольство с предложением союза против парфян. Гирканцы справедливо указывали на то, что они уже помогают Риму, сдерживая армию царя Вологеза. Римский полководец благосклонно принял послов из Гиркании, проявил о них заботу, обеспечив охрану на обратный путь, но действительной поддержки римляне гирканцам не оказали: большая война с Парфией не входила в планы империи.

Задачей Корбулона было обеспечить господство Рима в Армении, и он ее полностью выполнил. Попытка Тиридата вторгнуться в занятые римлянами армянские области была отбита, и на престол царства был возведен избранный Нероном новый царь. Им стал знатный уроженец соседней с Арменией Каппадокии Тигран. Успехи римлян и бессилие парфян в противодействии им повлияли и на настроения в Армении. Теперь все вспоминали надменность и кичливость парфян; милосердие Корбулона к тем, кто смиренно принимал римское господство, расположило многих к принятию ставленника на армянском престоле.

Кичливость парфян увековечена в знаменитых строках, восходящих к Анакреонту и вложенных Пушкиным в уста Петрония в неоконченном «Рассказе из римской жизни»:

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам,
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам.

Для большей безопасности новому армянскому царю дали римскую охрану из тысячи легионеров, двух союзнических когорт (1200 воинов) и двух отрядов конницы. Корбулон в Армении не задержался, поскольку был вынужден отбыть в Сирию, где к этому времени скончался Умидий Квадрат и надо было принять в управление эту важнейшую и богатейшую провинцию, оставшуюся без наместника.

Это были события 60 года. «Золотое пятилетие» уходило в прошлое. Тигран, явно переоценивая прочность своего положения, начал нападать на соседнюю с Арменией область Адиабену, находившуюся под властью Парфии. Дерзость римского ставленника остро задела парфян. Кроме того, царю Вологезу удалось наконец-то покончить с гирканским мятежом, что развязывало Парфии руки на западе. Вологез вновь короновал Тиридата армянской короной, дал ему в помощь полководца Монеза с большим конным отрядом и вспомогательное войско адиабенцев, жаждавших отомстить Тиграну за его разорительные набеги. Сам царь постепенно стягивал к западным рубежам Парфии свои основные силы.

Корбулон, своевременно осведомленный о новом повороте дел в Армении, куда уже вошли войска Тиридата и Монеза, направил в помощь Тиграну два римских легиона, сам же занялся обороной Сирии. Близ берегов пограничного Евфрата им были поставлены новые укрепления. При их строительстве Корбулон мудро учел особенности этой почти безводной местности, прилегающей к великой реке. Римские укрепления располагались у источников воды, там же, где пришлось бы располагаться войскам противника, ручьи было велено засыпать песком.

Тем временем в Армении Тиграну удалось, укрывшись за крепкими стенами Тигранокерты, успешно отбивать парфянские атаки. В городе хватало продовольствия, боевой опыт находившихся в нем римских войск позволял без особого труда отбивать приступы армии Тиридата. Осады и штурмы крепостей никогда не были сильной стороной парфянского войска, традиционно состоявшего из легкой конницы, действия которой давали блестящие результаты лишь на широкой безлесной равнине. При осаде городов и крепостей парфяне предпочитали использовать силы союзных им народов и племен. Так, попытку

штурма Тигранокерты предприняли адиабенцы, имевшие в своем распоряжении стенобитные орудия и лестницы.

Неудача у стен Тигранокерты умерила пыл парфян. К Вологезу прибыло посольство, направленное Корбулоном, с требованием снять осаду армянского города. В противном случае Корбулон грозил поставить лагерь своих легионов во владениях Парфии за Евфратом. Вологез, еще не готовый к большой войне с Римом, счел за благо приказать Монезу оставить осаду Тигранокерты и уйти из Армении, сам же, однако, объявил о намерении отправить посольство к Нерону, дабы добиться все же передачи Армении под покровительство Парфии, что полагал главным условием прочного мира между двумя державами.

Правильно оценивая происшедшее как всего лишь промежуточный успех, не снимающий опасности в дальнейшем, когда враг накопит больше силы, Корбулон потребовал дополнительных войск и особого военачальника для легионов, прикрывающих Армению. Так, собственно, и было сделано, когда он сам получил назначение на Восток: Умидий Квадрат руководил легионами, стоящими в Сирии, прикрывая границы с Парфией по Евфрату, а Армению со стороны Каппадокии и Понта прикрывал со своими войсками Корбулон. Но на сей раз все было и так, и совсем не так. В Армению получил назначение Цезенний Пет, человек, самонадеянный, хвастливый и в военном деле особых дарований и должных знаний не имевший. Прибыв к вверенным ему войскам, Пет позволял себе пренебрежительно отзываться о предшествующих действиях Корбулона: тот-де не одержал ни одной настоящей победы, не истребил вражескую армию, не взял богатой добычи. То ли дело он, Пет. Уж под его-то началом будут одержаны настоящие победы, побежденные народы обложат данью и дадут им римские законы в знак того, что ими правит не тень какого-то там выдуманного царя, а великий и могучий Рим. Тем временем парфянское посольство, как и следовало ожидать, из Рима вернулось ни с чем — Нерон справедливо не желал уступить Парфии Армению, которую римляне успешно завоевали, а парфянский ставленник вернуть силой не сумел. Собственно, Вологез особенно и не рассчитывал на его успех, поскольку главным для него было выиграть время для лучшей подготовки к не лучшим образом начавшейся войне. Неблизкий путь посольства из Парфии в Рим как раз и давал царю то самое необходимое время.

Пока парфяне готовились к возобновлению боевых действий, а Корбулон все более и более укреплял границу по Евфрату, Пет со своими легионами сначала прошел походом через армянские земли, где почти не было неприятеля, сумев захватить несколько

малозначительных крепостей. Поход свой в отчетном послании Нерону он представил совершенно победоносным и сулящим, безусловно, успешное завершение всей войны. Отведя войско на зимние квартиры, он щедро вознаградил легионеров, от души предоставив им неограниченное число отпусков. А ведь война-то по-настоящему еще даже не начиналась… Когда же Пет узнал, что на Армению надвигаются самые настоящие полчища парфян, предводительствуемые самим царем Вологезом, он откровенно запаниковал. Остановить все парфянское войско силами трех легионов было невозможно, но все же совершенно безнадежным его положение не было: энергичные действия могли еще спасти ситуацию. Опытные военные, каковых было предостаточно в подчиненных Пету легионах, пытались его ободрить, подсказывали ему те или иные благоразумные решения. В конце концов, вовсе не обязательно было ввязываться в открытое сражение с превосходящими силами противника. Можно было использовать все преимущества римского укрепленного лагеря, где при наличии долговременных запасов продовольствия не сложно было спокойно обороняться, дожидаясь подхода главных сил — армии Корбулона, которого немедленно оповестили о наступлении парфян на Армению. Пет, однако, как всегда действует в подобных случаях человек, несведущий в порученном ему деле, не склонен был выслушивать чужие советы, дабы никто не подумал, что он не может без них обойтись. Заявив, что для борьбы с врагом ему нужны люди и оружие, а не валы и рвы, что решительно противоречило всему многовековому опыту ведения римлянами военных действий, Пет выдвинул войска навстречу парфянам. Итог этой сомнительной отваги, как и следовало ожидать, оказался плачевным. Передовые части римлян были попросту раздавлены парфянами, а уцелевшие легионы, сумевшие добраться до лагеря основной части римского войска, своими исполненными страха рассказами о надвигающихся несметных полчищах парфян вызвали немалое смущение духа в остальном войске, а самого полководца случившееся ввергло в откровенную панику. Он, не думая более об успешном сопротивлении врагу, отправляет отчаянную просьбу о помощи Корбулону, который немедленно, оставив границы на Евфрате, двинулся спасать своего незадачливого коллегу. В опасности тысячи легионеров! Своих воинов он вдохновляет не грядущей добычей, но благородством задачи — спасти римлян, спасти своих сограждан, не дать врагу захватить символы римской доблести — значки легионов — вот истинная слава, вот настоящий почет! Но войску Корбулона не суждено было спасти легионы Пета от унижения и позора.

Пет, который наверняка в эти дни многократно вспоминал о печальной судьбе Марка Красса и его легионов, нашел выход из безнадежной, как ему казалось, ситуации, вспомнив два более древних исторических примера, когда принятие пусть и унизительных вражеских условий позволяло спасти тысячи и тысячи жизней римских воинов. Первый из таких случаев произошел в далеком 312 году до новой эры, когда во время так называемой Второй самнитской войны (327–304 гг. до н. э.) римское войско близ города Кавдия на юго-западе Самния — область в Апеннинских горах Центральной Италии, где проживал народ самнитов, оказавших упорнейшее сопротивление Риму в его борьбе за владычество в италийских землях, — попало в засаду в узком лесистом ущелье. Ужас положения был еще и в том, что при окруженном войске находились оба консула. Тогда римлянам пришлось принять обидные для себя условия самнитов и даже выдать им шестьсот знатных заложников. Но самым унизительным стало прохождение всего капитулировавшего войска «под игом» — каждый воин сдавал оружие и проходил через проход из трех копий. Два из них укреплялись вертикально, третье устанавливалось как перекладина сверху. Римский сенат был вынужден утвердить позорный договор, и целых пять лет римляне не решались воевать с Самнием. Следующий позорный для римского оружия эпизод случился почти два столетия спустя, в 137 году до новой эры, когда римская армия под командованием консула Гая Гостилия Манцина осаждала город Нумансию в Испании. Бездарный и малодушный Манцин ухитрился так повести эту осаду, что вскоре его войско из осаждающего превратилось… в осажденное. Двадцати тысячам римлян грозила неминуемая гибель, но положение спас квестор консула Тиберий Семпроний Гракх, знаменитый впоследствии народный трибун, проведший важные аграрные реформы. Гракху помогло то обстоятельство, что в Испании хорошо помнили его отца, который воевал в этой стране, но при этом вел себя настолько благородно, что заслужил даже уважение своих врагов. Здесь, правда, обошлось без позорного прохождения «под игом». Просто римляне ушли от стен города, оставив победителям только лагерное имущество.

Такими вот двумя примерами вдохновлял себя Цезенний Пет. Итогом этого стал следующий договор его с Вологезом: царь позволял римскому войску уйти за пределы Армении, не преследуя его; все крепости и продовольствие в них остаются парфянам, парфянским послам обеспечивается дорога в Рим к Нерону. Более того, римляне навели мост через реку Арсаний. Чтобы воины не догадались, что мост возводится по требованию

парфян и должен стать памятником их победы над римлянами, Пет говорил строителям, что они сооружают переправу для своего войска. Но ушли римляне из освобожденного от осады лагеря совсем другим путем…

Об обстоятельстве этого ухода римские писатели сообщают противоречивые сведения. Светоний прямо писал, что *«в Армении легионы прошли «под ярмом»»*.[245] Поздний римский историк IV века Евтропий пишет:

> «Парфяне захватили Армению и провели легионы «под ярмом».[246]

Тацит называет известие о проведении римских легионов «под ярмом» молвой, но приводит далее такие подробности унизительного ухода римлян, что даже если и не было позора «под игом», то все равно была постыднейшая потеря всякого достоинства при отступлении:

> «Молва добавляла, что римские легионы были проведены под ярмом и притерпели другие унижения, начало которым было положено армянами. Так они стояли вдоль дорог и, заметив некогда захваченных нами рабов или вьючных животных, опознавали их как своих и уводили с собой; они также отнимали у наших одежду, отбирали у них оружие, и запуганные воины уступали им, чтобы не подавать повода к вооруженному столкновению. Вологез, собрав в груду оружие и тела убитых, с тем чтобы это было наглядным свидетельством нашего поражения, не стал смотреть на прохождение нашего поспешно уходившего войска; удовлетворив свою гордость, он хотел, чтобы разнеслась молва о его умеренности».[247]

Корбулону удалось после унизительного поражения Пета при Рандее заключить с парфянами все же вполне достойное перемирие. Вот когда пригодились укрепления, построенные по его приказу не только на западном, римском берегу Евфрата, но и на восточном, принадлежащем уже Парфии. Римляне соглашались срыть возведенные на восточном берегу укрепления, но парфяне не должны были провозглашать Тиридата вновь царем Армении.

В следующем, 63 году был подписан мир между двумя государствами. Тиридат все же становился царем Армении, но царскую диадему получал из рук Нерона. Сей торжественный акт должен был отвлечь внимание от того, что война за Армению

Римом Парфии была проиграна. Не столь уж важно, из чьих рук Тиридат получал корону, важнее было, чей он брат и в чьих интересах собирался править страной. Вологез во всех смыслах был ему ближе Нерона. Старший брат, гордящийся своим великодушием, позволил брату младшему совершить поездку в Рим за искомой диадемой. Армения вновь оказалась под покровительством Парфии. Внешне, правда, все было так обставлено, что римляне, не задумывавшиеся о действительном положении дел, могли вообразить, что Тиридат станет чуть ли не их ставленником и, вообще, мир почетный и Рим, как всегда, победил. Дион Кассий даже сообщает об очередном провозглашении Нерона императором в честь мира, подписанного в той самой Рандее, где состоялось унижение легионов Пета.[248] Но другие авторы этого не подтверждают. С учетом реалий события, думается, даже Нерон не рискнул бы в этом случае принимать очередной титул императора, достойный триумфа. Уж больно противоречило бы это римским обычаям. Нерон, конечно, хорошо понимал, что случилось на самом деле, но решил не наказывать виновника позора римлян, с одной стороны, и не строить из себя победителя — с другой. Когда Пет вернулся в Рим, Нерон принял его вполне милостиво, не преминув при этом проявить свое остроумие, сказав, что прощает Пета сразу, дабы избавить человека, столь подверженного страху, от долгой тревоги. В то же время торжественный приезд Тиридата в Рим был отложен на целых три года и состоялся только в 66 году. Нерону в это время было очень важно показать римскому народу свое могущество и успехи своего правления. Ведь не остыла еще память о страшном пожаре, да и заговор Пизона и его громкое разоблачение случились совсем недавно.

Подробное описание прибытия в Рим Тиридата оставил нам Светоний. Не питавший к этому цезарю каких-либо симпатий, он все же поставил устроенное им для народа зрелище в заслугу Нерону:

> «К числу устроенных им зрелищ по праву можно отнести и прибытие в Рим Тиридата. Это был армянский царь, которого Нерон привлек несчетными обещаниями. День его появления перед народом был объявлен эдиктом, потом из-за пасмурной погоды отложен до самого удобного срока; вокруг храмов на форуме выстроились вооруженные когорты, сам Нерон в одеянии триумфатора сидел в консульском кресле на ростральной трибуне, окруженный боевыми значками и знаменами. Сперва Тиридат взошел к нему по

наклонному помосту и склонился к его коленям, а он поднял его правою рукою и облобызал; потом по его мольбе он снял с его головы тиару и возложил диадему, между тем как сенатор преторского звания громко переводил для толпы слова молящегося; и, наконец, повел его в театр и там после нового моления посадил по правую руку с собою рядом. За это он был провозглашен императором, принес лавры в Капитолийский храм и запер заветные ворота Януса в знак, что нигде более не ведется войны».[249]

Дион Кассий приводит речь Нерона, обращенную к Тиридату. В ней он хвалил царя Армении за то, что тот сам явился к нему. Он напомнил, что Армения не является его отеческим владением, а брат, отдавший ее Тиридату, не сумел его защитить. Потому царство Армения — милостивый дар Нерона Тиридату. Нерон подчеркнул, что делает его царем Армении, дабы все знали, что он обладает властью лишать царств и даровать их.[250]

Последнее заявление не должно было быть воспринято римлянами как голословное. Рандейский позор случился далеко от Рима и Италии да и позабылся за прошедшие после него годы. Кроме того, в последние два года империя приросла двумя пусть и небольшими, но все же царствами. С согласия царя Полемона Понтийское царство, точнее, его последний формально независимый обрубок с городом Трапезундом. Случилось это в 64 году. В году следующем произошло еще одно приращение империи. После смерти царя лигуров Котия, правившего небольшим царством в Альпах, его владения вошли в состав Римской державы.[251] Поэтому общий фон позволял Нерону облачиться в триумфальные одежды и принять очередной раз титул императора. Добавим, что закрытие дверей храма Януса случилось в Риме только в четвертый раз: впервые это сделал царь Нума Помпилий, правивший в Риме после Ромула, во второй раз — после победной войны с Карфагеном в 241 году до новой эры, а в последний раз это торжественно сделал Август в знак того, что он обеспечил народу Pax Romana — Римский мир. Для убедительности Август закрывал их трижды.

Напоследок процитируем еще раз Светония, сообщающего, во что стало Риму и римскому народу торжество в связи с прибытием в столицу империи царя Тиридата:

> «На Тиридата, хоть это и кажется невероятным, он тратил по восемьсот тысяч в день, а при отъезде пожаловал ему больше ста миллионов».[252]

Приведенные цифры действительно кажутся невероятными. Имперские финансы, совсем недавно не без труда выдержавшие восстановление Рима и строительство Золотого дворца Нерона, понесли очередной трудновосполнимый урон. Иллюзия победы над Парфией и утверждения на престоле царства Армении царя, всем обязанного Нерону, обошлась слишком дорого. Не случайно вскоре Нерон начнет лихорадочно изыскивать денежные средства для пополнения казны, охотно соглашаясь на самые фантастические проекты.

Таким образом, многолетнее противоборство Рима с Парфией за Армению завершилось для империи в целом неудачно. Собственно, неудача не была столь уж значительной. Рим ничего не приобрел, но ничего особенно и не потерял. Но финансовые потери от создания видимости победоносного завершения войны с Парфией оказались слишком велики и во многом предопределили исход правления Нерона.

Более успешными оказались военные действия, которые велись в правление Нерона на нижнем Дунае и в Крыму. Здесь в 60 году проконсул провинции Нижняя Мезия (территория совр. Добруджи в Румынии и Болгарии) Тит Плавтий Сильван Элий отразил вторжение варваров, подавив волнения местного населения, и переселил к тогу от Дуная в римские владения около ста тысяч человек. Он же успешно воевал в Тавриде, защищая от вторжений кочевников-сарматов Боспорское царство. Последнее имело для Рима немалое значение, поскольку было одним из крупнейших поставщиков зерна. Огромная партия зерна после похода Тита Плавтия Сильвана Элия была отправлена в Рим, будучи самым весомым доказательством его успехов.

Но если по-настоящему больших войн при Нероне не велось, то с мятежами, охватившими немалые территории, империи в годы его правления столкнуться пришлось.

Мятеж в Британии

Спокойных границ, мирных окраинных провинций у Римской империи не было. Но все же самыми опасными, самыми мятежными были те, что находились на самом востоке и на самом западе владений Рима. Самой молодой провинцией запада была Британия. Этот большой остров — поначалу римлянам даже не верилось, что может быть остров таких размеров, — стал известен в Риме во времена, когда Гай Юлий Цезарь, покоряя Галлию, вышел со своими легионами к океанским берегам. Великий полководец даже дважды высаживался на британском побережье в

55 и 54 годах до новой эры. Во время своего второго вторжения Цезарь достиг берегов Темзы, где у него произошло крупное столкновение с британцами, которыми предводительствовал местный вождь Кассивеллаун. Чтобы не допустить переправы римлян через Темзу, бритты укрепили ее северный берег, соорудив там вал и вбив в берег частокол, но римлянам удалось все же переправиться через реку и нанести войску Кассивеллауна поражение. Битва произошла у излучины Темзы Коруэй-Стейкс близ современного города Уолтон. Впрочем, серьезных последствий походы Цезаря в Британию не имели. Римляне не сумели закрепиться на острове. Но поход Цезаря в Риме забыт не был.

Август и Тиберий не проявляли никакого интереса к Британии, поскольку им хватало хлопот в самой империи. Мысль о повторении похода великого Юлия пришла в голову только его тезке Гаю Юлию Цезарю (Калигуле). Но замыслы эти осуществлены не были. Очевидно, из-за краткости правления этого императора. Замыслы, должно быть, были достаточно серьезными, так как всего через два года после гибели Гая Цезаря они осуществились. В правление Клавдия в 43 году римляне вторгаются на остров и завоевывают значительную его часть до течения реки Северн, на западе и реки Трент на востоке. Возглавлял римское войско в этом завоевательном походе сам Клавдий, но наиболее видным военачальником был легат, имевший консульское звание Авл Плавтий. Британская кампания стала первой войной, в которой отличился будущий император и основатель династии Флавиев Веспассиан. Тацит отмечал, что именно этот поход положил начало его будущему возвышению.[253] Светоний писал, что Веспассиан, сражаясь под началом то Авла Плавтия, то самого Клавдия, участвовал в тридцати боях, взял двадцать городов и покорил два сильных племени, за что удостоился триумфальных украшений, а впоследствии и консульского звания.[254]

Завоеванная часть Британии была превращена в римскую провинцию. На восточном побережье острова появилась колония ветеранов римских легионов Камолодун (совр. Колчестер). Подобные поселения создавались римлянами во вновь обретенных землях для закрепления своего господства и для романизации края.

Британия привлекала римлян своими богатствами. Климат ее они, правда, находили отвратительным из-за частых дождей и туманов, но в то же время ценили плодородие почв, что было следствием той самой повышенной влажности. *«Доставляет Британия также золото, серебро и другие металлы — дань*

победителю», — писал Тацит.[255]

Славилась Британия и большими залежами свинца, разработку которых римляне активно начали и успешно вели. Огорчало завоевателей только невысокое качество океанского жемчуга, тусклого и имевшего синеватый отлив, а потому куда менее ценного, нежели великолепный жемчуг, добывавшийся из раковин в Красном море.

Местное население покоренных областей поначалу вело себя достаточно смирно. По словам Тацита, *«они не уклоняются от наборов в войско, столько же исправны в уплате податей и несении других налагаемых Римским государством повинностей, но только пока не чинятся несправедливости; их они не могут стерпеть, уже укрощенные настолько, чтобы повиноваться, но еще недостаточно, чтобы проникнуться рабской покорностью».*[256]

Несправедливостей, разумеется, хватало. И исходили таковые не только от местных римских властей, представители которых далеко не всегда были способны справедливо управлять покоренными народами, хотя хорошо известны и обратные примеры, но и от ростовщической деятельности, жестоко разорявшей население провинции. Крупнейшим ростовщиком, доведшим британцев до крайнего озлобления, Дион Кассий называет… Луция Аннея Сенеку.[257] Насколько точным является это сообщение — сказать крайне затруднительно. Другие римские авторы не ставят философу в вину его финансовую деятельность в Британии. Но, думается, главным здесь должно считать само распространение в этой новой римской провинции практики ростовщичества, с каковым британцы до римского завоевания едва ли были знакомы и именно поэтому от него жестоко пострадали. Насколько к этому всему причастен Сенека — вопрос открытый.

Овладев югом, юго-востоком и центральной частью острова, римляне не собирались на этом останавливаться. Ставший наместником Британии Светоний Паулин был одним из самых выдающихся римских полководцев своего времени. Его заслуженно сравнивали с Гнеем Домицием Корбулоном. Успехи Корбулона в Армении, в 60 году овладевшего Тигранокертой и всей Арменией, возбудили в наместнике Британии состязательный дух. В 61 году он повел легионы на северо-запад от владений римлян и достиг побережья Ирландского моря. Не удовольствовавшись этим, он решил подчинить Риму также большой остров Мону (совр. остров Англси у северо-западного побережья Уэльса). На этом острове укрывались беглецы из римских владений, и потому Паулин счел необходимым разорить это гнездо недружественных Риму сил. Остров отделен от

Британии узким и мелководным проливом, и потому римлянам не составило труда совершить переправу.

Тацит оставил красочное описание происшедшего затем сражения римлян с островитянами:

> «На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины, похожие на фурий, в траурных одеяниях, с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы; бывшие тут же друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали проклятия. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов и они, словно окаменев, подставляли неподвижные тела под сыплющиеся на них удары. Наконец, вняв увещаниям полководца и побуждая друг друга не страшиться этого исступленного, наполовину женского войска, они устремляются на противника, отбрасывают его и оттесняют сопротивляющихся в пламя их собственных факелов. После этого у побежденных размещают гарнизон и вырубают их священные рощи, предназначенные для свирепых суеверных обрядов: ведь у них считалось благочестивым орошать кровью пленных жертвенники богов и испрашивать указаний, обращаясь к человеческим внутренностям. И вот, когда Светоний был занят выполнением этих дел, его извещают о внезапно охватившем провинцию возмущении».[258]

Для восстания у британцев доставало причин, и неосторожный поход римского войска к Ирландскому морю и далее на остров Мону только поспособствовал всплеску мятежных настроений, вылившихся в настоящую войну.

Британцам сильно досаждали ветераны римских легионов, которых расселили на земле племени тринобантов, где была создана уже упоминавшаяся колония Камолодун. Ветераны сгоняли тринобантов с их полей, захватывали их жилища, обращаясь с ними как со своими рабами. Римские же воины всегда принимали сторону ветеранов и из римской солидарности, и полагая, что и им, когда они обретут ветеранский статус, будет беспрепятственно позволяться вести себя подобным же образом.

Подлили масла в огонь в других областях провинции другие достойные представители римской власти. Дело в том, что на территории провинции Британия существовали два местных царства, полностью, разумеется, покорных Риму, но управлявшихся местными царьками. Одно из них, где племенем регни правил вождь Когидумн, находилось на юго-востоке

острова, более же крупное и густонаселенное царство иценов занимало восток провинции. Соседями иценов как раз и были обижаемые колонистами Камолодуна трибанты.

Царь иценов Прасутаг обладал большим богатством. Узнав, что у римлян имеется обычай завещать часть своего достояния цезарю, дабы тот в благодарность позволил завещателю распорядиться остатком наследства по своему усмотрению, он назначил в своем завещании своим наследником Нерона, полагая, что все остальное достанется его двум дочерям. Но не тут-то было. Провинциальные римские власти и в грош не поставили завещание варварского царька. Разграбленными оказались и наследство Прасутага, и все его царство. То, что земля иценов была покорна Риму, не смутило никого, и повели себя там римляне, как в только что покоренной стране. Достояние вождя захватили рабы прокуратора провинции. В то время, пока легионы доблестно сражались на берегах Ирландского моря, все царство подчистую разграбили центурионы римских гарнизонов. Поскольку семья Прасутага пыталась протестовать, то ее решили примерно проучить. Жену царя Боудику как простую рабыню высекли плетьми, обе дочери были изнасилованы легионерами. Такие жестокие и беззаконные действия могли вывести из себя даже самый смирный и забитый народ, а британцы, как мы помним, совершенно не склонны были прощать несправедливости, тем более такие.

Мятеж вспыхнул как естественная реакция британцев на вопиющее беззаконие римлян и потому стремительно стал распространяться не только по земле иценов, но и по всей провинции. Застигнутые врасплох римляне терпели жестокие неудачи. Был взят и сожжен ненавистный Камолодун, полному разгрому подвергся еще один опорный пункт римского влияния — муниципий Веруламий, находившийся в глубине провинции к северу от среднего течения Темзы. Девятый легион, пытавшийся прийти на выручку осажденному британцами Камолодуну, был наголову разбит повстанцами. В бою погибла вся пехота легиона. Ускользнуть сумел, укрывшись в укрепленном лагере, только легат легиона Петилий Цериал с конницей. Светоний, спешно вернувшийся из дальнего похода, достиг города на Темзе — Лондиний. Это первое историческое упоминание будущей столицы Англии. Лондиний был городом многолюдным, в нем было множество купцов с богатыми товарами. Римское население его надеялось, что войско Светония защитит город от мятежников, но тот, учитывая недостаточную численность своего войска и печальный опыт легата девятого легиона, решился пожертвовать Лондинием для сохранения войска. Армия

покинула город, который подвергся разгрому мятежниками. Озлобление британцев против римлян было столь велико, что их не останавливали ни пол, ни возраст тех, кто, не сумев по разным причинам последовать за уходившими войсками, остался в Лондинии. По словам Тацита, всего погибло в Камолодуне, Веруламии и Лондинии не менее семидесяти тысяч римлян и их союзников.[259]

> «Ведь восставшие не знали ни взятия в. плен, ни продажи в рабство, ни каких-либо существующих на войне соглашений, но торопились резать, вешать, жечь и распинать, как бы в предвидении, что их не минует возмездие, и заранее отмщая себя».[260]

Вождем восстания стала царица Боудика. Униженная римлянами, она справедливо жаждала мести за себя, за своих поруганных дочерей, за беды своего народа. Итак, римскому полководцу приходилось сражаться с войском, предводительствуемым женщиной.

Получив необходимые подкрепления, Светоний Павлин дал решающий бой повстанцам, предварительно умело выбрав место сражения, где можно было не опасаться вражеских засад и использовать преимущества римской военной организации над многочисленными, но нестройными полчищами британцев. Численное превосходство, разгром легиона Петилия Цериала вдохновили бриттов, и они не сомневались в своей победе. Перед битвой Боудика на колеснице в сопровождении обеих дочерей объезжала свое войско, обращаясь с речью к каждому из племен. Появление этой незаурядной женщины — высокого роста, с длинными светлыми волосами, спадавшими ниже пояса, с грозным взглядом и зычным голосом — производило сильное впечатление.[261]

Но превосходство римлян в военном искусстве взяло верх. Британцы были полностью разгромлены, Боудика то ли отравилась, то ли вскоре умерла от болезни. Тациту принадлежит первая версия ее кончины, Диону Кассию — вторая. В любом случае восстание было жестоко подавлено. В решающей битве, по словам Тацита, погибло 80 тысяч британцев и только 4 тысячи римлян.[262] Первая цифра, конечно, сильно преувеличена, а вот вторая весьма любопытна. Ведь устанавливая численность сражавшихся, Тацит определял численность римского войска в 10 тысяч.[263] Выходит, что победа стоила римлянам потери 40 процентов всей армии! Нелегко, значит, она далась.

Вскоре остров был замирен, Нерон распорядился прислать туда дополнительные войска из Германии. Поведение принцепса

в разгар мятежа Светоний считал предосудительным. Нерон якобы был готов вообще сдать провинцию мятежникам.[264] Так это или нет — сказать трудно, но разговоры могли быть небеспочвенными и никак не способствовали популярности Нерона.

Иудейская война

Еще одной неспокойной провинцией Римской империи, где в правление Нерона вспыхнул кровавый мятеж, была Иудея. Впервые она оказалась в зависимости от Рима в 63 году до новой эры, после того, как в 64 году Помпей Великий подчинил римской власти Сирию, превратив ее в провинцию. Зависимость эта постепенно усиливалась. В 41 году Марк Антоний дал звание тетрарха Иудеи правителю Галилеи — области на стыке Иудеи и Сирии — Ироду. Тетрарх — буквально четверовластник — это зависимый от Рима правитель. Такое его именование было следствием римской традиции при захвате самостоятельного ранее государства три четверти его оставлять за собой, а последнюю четверть предоставлять в управление местному царьку. Год спустя, в 40 году до новой эры, Ирод с согласия римского сената по представлению Антония и Октавиана стал союзным Риму царем Иудеи. Будучи правителем, полностью покорным и преданным Риму, он в дальнейшем заслужил немалое благоволение римских властей. Октавиан, став единоличным правителем Римской державы, позволил Ироду распространить свое управление не только на Иудею, но и на соседние с ней области Самарию и Идумею. В дальнейшем Август сделал его правителем провинции Сирия. Ирод, не будучи иудеем по происхождению, принадлежал к эллинистической культуре, иудеям весьма недружественной, и, старательно проведя в жизнь все требования римской власти, заслужил в Иудее лютую ненависть всех слоев населения. Высшие слои не прощали ему греческих вкусов и верований, проримской политики. Низы жестоко страдали от постоянно увеличивающихся налогов. Особое раздражение вызывало пристрастие Ирода к грандиозным и потому разорительным строительным проектам. А то, что он, опираясь на мощь Рима, пытался насаждать в Иудее эллинизм, вызывало уже всеобщее неприятие, заставляя иудеев вспоминать времена жестокого сирийского царя Антиоха IV Эпифона (175–164 гг.), силой насаждавшего эллинизм в Иудее и объявившего Иерусалим полисом — городом, управляемым на греческий лад, что привело к народным волнениям во всей Иудее. Царь Ирод

жестоко подавлял всякое сопротивление, потому-то его имя в иудейской традиции стало нарицательным для обозначения жестокого правителя, безжалостно губящего безвинные человеческие жизни. Не случайно именно Ироду Великому приписывает Евангелие изуверское избиение младенцев.

После смерти Ирода Великого в 4 году Иудея, Самария и Идумея спустя три года были объединены в римскую провинцию Иудея. Управляли ей, как и многими другими подобными небольшими провинциями, римские прокураторы. Прокуратор — это римский чиновник, отвечающий в провинции за личное имущество принцепса, а также ведавший сбором податей в императорскую казну. В небольших провинциях они выступали в роли наместников. В Иудее прокураторы были подведомственны легату провинции Сирия. Наиболее знаменитым прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, исполнявший свои обязанности около десятилетия (26–36 гг.), именно при нем в Иерусалиме и произошли события, связанные с личностью Иисуса Христа.

В правление Тиберия (14–37 гг.) положение в Иудее в целом оставалось достаточно стабильным. Римская власть вела себя еще достаточно гибко, что диктовалось очень сложной обстановкой в этой маленькой, но постоянно чреватой большими потрясениями провинции. Мало было того, что само римское господство явно тяготила Иудею, к этому добавлялась враждебность к соседним эллинистическим областям, но хуже всего было внутреннее противостояние в самой Иудее. Саддукеи, представлявшие высшее духовенство и поддерживающую его знать, книжники-фарисеи, объединявшие прежде всего торговые слои населения, воинственные зилоты, выразители радикальных настроений, готовые вовлечь в них низы народа… К этому вскоре добавились противоречия между традиционным иудаизмом и набирающим силу молодым христианством.

Разобраться во всех этих противоречиях и противостояниях было сверхсложной задачей, а для поддержания хоть какого-то спокойствия и относительного равновесия сил нельзя было делать никаких резких шагов. Неприятие римлянами этнической и религиозной замкнутости иудеев не могло также не сказываться на общем положении в Иудее и временами само провоцировало обострение ситуации. Долгое время положение в провинции было благополучным благодаря здравой политике, проводимой легатом Луцием Вителлием, не задевавшей религиозных чувств населения и предоставившей иудеям возможность управлять страной на основе местных законов. Но все резко изменилось после смерти Тиберия и прихода к власти Гая Цезаря Калигулы. При нем эллинизированное население, которому император явно

симпатизировал, буквально провоцировало иудеев на возмущение. Стали воздвигать алтари, посвященные императору, и бюсты Калигулы, размещая их в таких местах, чтобы как можно сильнее задеть религиозные чувства иудеев. Появление изображений Гая Цезаря в синагогах не могло не вызвать возмущения верующих и, естественно, приводило к волнениям. Вершиной надругательства над иудаизмом стала идея поместить огромную золотую статую Калигулы в святая святых иерусалимского храма. Сам храм после этого должен был быть посвящен божественной особе императора. От претворения в жизнь этой безумной идеи, способной привести лишь к немедленному всеобщему восстанию в Иудее, спасло здравомыслие нового императорского легата Публия Петрония, сменившего Луция Вителлия, и вмешательство тетрарха Ирода Агриппы, пользовавшегося расположением Калигулы. В Рим прибыло специальное посольство с просьбой к императору избавить храм от размещения в нем римской статуи. В посольстве принимал участие знаменитый философ Филон Александрийский, оставивший подробный рассказ о нем — «Посольство к Гаю». Калигула принял посланцев Иудеи на вилле в Путеолах на морском побережье. Вдоволь поиздевавшись над послами, Гай Цезарь все же проявил великодушие и удовлетворил главную просьбу иудеев. При этом в своем стиле заметил: «Положительно, эти люди не так виновны, их скорее приходится пожалеть за то, что они не верят в мою божественность». После смерти Калигулы Иудея облегченно вздохнула, а в правление Клавдия в основном была восстановлена политика времен Тиберия. Провинция Иудея в 44 году была даже несколько расширена, в нее по-прежнему назначались прокураторы либо из числа всадников, либо, что было весьма характерно для всего правления этого императора, из числа вольноотпущенников. Правда, далеко не все они способствовали поддержанию спокойствия в провинциях. Жестокие, непродуманные действия иных прокураторов только разжигали немалую неприязнь местного населения к римлянам, все более накаляя обстановку, делая ее взрывоопасной. Наихудшую славу из таких представителей имперской власти приобрел вольноотпущенник императора Клавдия Антоний Феликс, бывший братом знаменитого либертина Палланта, одного из действительных управителей государственных дел в Римской державе того времени. Антоний Феликс ухитрился посредством удачной женитьбы возвыситься до статуса родственника Клавдия. Его супругой стала Друзилла, внучка Антония и Клеопатры, а внуком Антония по линии, правда, не Клеопатры, а Октавии был сам

император Клавдий. Столь могучие родственные связи вдохновили Феликса на полный произвол во вверенной ему провинции, где он быстро прославился крайней жестокостью и необузданным сластолюбием. Но все же долгое время положение в Иудее оставалось внешне спокойным.

Чаша терпения населения Иудеи переполнилась, когда прокуратором провинции был назначен Гессий Флор. Назначение это можно уверенно назвать одним из наименее удачных политических решений Нерона. Грек по происхождению, враждебный к иудеям, которыми его поставили управлять, он за два года своего пребывания в провинции сделал все, чтобы она восстала против римской власти. Мало того, что Флор занимался непомерным вымогательством, он еще и начал жестокие репрессии против неугодных ему людей и тех, кто противился его произволу: *«Флор высек многих людей, уважаемых в Иерусалиме, а затем их распял»*.[265] Неудивительно, что его прокураторство в Иудее оказалось недолгим (64–66 гг.). Естественным его финалом стало всеобщее восстание. Тацит, Иосиф Флавий, Евсевий Памфил однозначно связывали начало восстания в Иудее с последствиями жестокого и разорительного правления Гессия Флора. Светоний приводит иную трактовку:

> «На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору; но иудеи, приняв предсказанное на свой счет, возмутились».[266]

Нельзя не отметить одно любопытное обстоятельство: Гессий Флор был креатурой Поппеи Сабины. Его жена Клеопатра была ближайшей подругой жены Нерона и та, не задумываясь, а может, и не зная о его нравственных и интеллектуальных достоинствах, решила оказать протекцию, исходя из лучших дружеских побуждений. Парадокс ситуации в том, что сама Поппея была известна расположением к иудаизму и потому едва ли могла желать таких последствий для Иудеи в результате назначения Флора.

Мятеж стремительно распространялся по всей области. В Риме поначалу недооценили ситуацию и решили, что возмущение может быть подавлено местными силами. Недооценка опасности положения привела к неудачам римских войск. Вновь назначенный в 66 году легатом Сирии Цестий Галл действовал недостаточно решительно и умело, результатом чего стало серьезное поражение римлян, сопоставимое с разгромом Девятого легиона в Британии. Римский орел — значок легиона — достался

повстанцам. Подавленный неудачей, Цестий Галл в 67 году скончался. Светоний так оценил события этих дней:

> «Иудеи… убили наместника (Гессия Флора), обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него флаг».[267]

После смерти Цестия Галла потребовалось назначить нового военачальника для подавления мятежа. И здесь Нерон поступил совершенно правильно, сделав точный выбор: на место Галла был назначен Веспасиан. Сопровождавший Нерона в поездке по Греции уже немолодой военачальник, не умевший оценить певческие таланты принцепса и потому ощущавший себя едва ли не опальным, получил назначение, которое решительнейшим образом перевернуло его судьбу и, как со временем выяснилось, судьбу всей Римской империи. А для начала покорителю острова Вектис (совр. остров Уайт) у берегов Британии и двадцати британских городов предстояло замирить мятежную провинцию, расположенную между Средиземным и Мертвым морями.

«Веспасиан был в это время в расцвете славы, удача способствовала ему повсюду, он опирался на талантливых командиров, и за два лета его победоносная армия овладела всей иудейской равниной и всеми городами страны, кроме Иерусалимы», — писал об успехах вновь назначенного Нероном полководца Тацит.[268]

> «Чтобы подавить восстание, требовались большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без опасения, и Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и нимало не опасный по скромности своего рода и имени. И вот, получив вдобавок к местным войскам два легиона, восемь отрядов конницы, десять когорт и взяв с собой старшего сына одного из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе и соседние провинции: в лагерях он быстро навел порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при осаде одной крепости был сам ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел».[269]

Поддержка действий римских войск в Иудее в соседних провинциях приняла крайне жестокие формы в отношении местных многочисленных иудейских общин. Греческое и эллинизированное население обрушилось на иудеев как на лютых

врагов:

> «Повсюду людей этого племени безжалостно, словно врагов, избивало население каждого города; в городах можно было видеть груды непогребенных тел, трупы стариков и детей, брошенные вместе, трупы женщин, совершенно ничем не прикрытые. В каждом округе полно несказанных бедствий; будущее грозило большим, чем ежедневные злодеяния…Так поступали с иудеями»[270]

Самым подробным образом трагические события тех лет в Иудее и соседних с ней областях описал в своем труде «Иудейская война» непосредственный ее участник, сначала враг римлян, потом их союзник и римский историк Иосиф Флавий:

> «В начальный период Иудейской войны Иосиф был одним из видных военачальников повстанцев и причинил немало неприятностей римлянам. После взятия войсками Веспасиана города Иоталаты римляне усиленно разыскивали Иосифа, потому что были ожесточены против него, и полководец их очень хотел взять его в плен, считая это крайне важным делом для успеха в войне».[271]

Но Иосифу удалось скрыться и он два дня укрывался в пещере, покуда не был выдан одной женщиной, бывшей в том же убежище, что и Иосиф, и сорок знатных людей с ним. Веспасиан прислал к пещере двух воинских трибунов Павлина и Галликна, предложивших Иосифу сдаться в обмен на обещание безопасности. В пещере произошла бурная сцена. Сначала Иосиф встретил посланцев римлян с недоверием. Но когда Веспасиан прислал третьего переговорщика, трибуна Никанора, ранее знакомого с Иосифом, тот решился сдаться на милость победителя. Однако соратники Иосифа, сочтя его изменником, готовы были убить его, а сами после этого намеревались покончить жизнь самоубийством, дабы не попасть в плен к римлянам. Иосиф являл чудеса красноречия, но не сумел убедить укрывавшихся с ним в пещере в правоте своего выбора. Решено было всем покончить с собой по жребию: первый, кто его вытягивал, должен был погибнуть от руки второго. По счастливой случайности Иосиф остался последним еще с одним иудеем, которого ему удалось все же уговорить сдаться римлянам.

Когда Иосифа доставили к римскому военачальнику, то Веспасиан приказал охранять его со всей тщательностью, намереваясь вскоре отправить пленного к Нерону.

> «Когда же Иосиф услышал об этом, он сказал, что хочет поговорить с Веспасианом наедине. И когда тот удалил всех, кроме сына своего Тита и двух друзей, Иосиф сказал: «Ты считаешь, Веспасиан, что просто захватил Иосифа в плен, а между тем я прихожу к тебе вестником великих судеб. И не будь я послан богом, то сумел бы последовать закону иудеев и умереть, как подобает полководцу. Ты хочешь послать меня к Нерону? Для чего? Словно долго удержатся на престоле преемники Нерона! Ты, Веспасиан, будешь цезарем и императором, ты и этот твой сын. Еще крепче закуй меня теперь и охраняй как свою собственность — ведь ты, цезарь, не только надо мной владыка, но и над землей, и морем, и над всем родом человеческим. А я попрошу: тщательнее стереги меня, чтобы наказать, если я попусту ссылаюсь на волю бога». Вначале Веспасиан, казалось, не поверил его словам, думая, что Иосиф пустился на хитрость ради спасения своей жизни. Но понемногу он проникался доверием, ибо сам бог пробудил в нем мысль о владычестве и еще до этого указывал другими предзнаменованиями, что к нему перейдет скипетр».[272]

Если бы Веспасиан действительно услышал подобное пророчество, то судьба пленного Иосифа могла бы стать печальной. Нерон потому-то и вручил ему командование над легионами в Иудейской войне, что считал его человеком для себя неопасным «в силу скромности своего рода и имени», что четко сказал Светоний в уже приводимом нами рассказе о назначении Веспасиана на Восток. Доблестный Флавий прекрасно знал о судьбах тех, кого Нерон считал опасными для себя людьми. О том, что время пребывания Нерона у власти стремительно тает, Веспасиан пока не догадывался, иначе речь об отправке к нему плененного иудейского военачальника вообще бы не шла. А поскольку власть Нерона существует, то пророчество Иосифа Веспасиану — опаснейшая крамола, могущая стоить тому, кому посулили верховную власть, жизни. А судьба Корбулона и братьев Скрибониев, о чем не мог не знать Веспасиан, недвусмысленно говорила, что военные успехи при этом для Нерона никак не выглядят смягчающим обстоятельством. Наличие же еще и двух друзей при таком опасном разговоре грозило совсем уже гибельными последствиями — удачливый доноситель мог оказаться на месте низвергнутого командующего, а цена дружбы… Заговор Пизона хорошо показал, чего она стоила. Несомненно, чудесное предсказание Иосифа должно отнести к

так называемым пророчествам после события. Писал-то Иосиф Флавий свой труд во время правления династии Флавиев, когда пророчество высшей власти ее основателю, опирающееся на божественную волю, было как нельзя кстати. В такой форме изложения пророчества Иосиф Флавий для своего времени неодинок. Оно напоминает так называемые «Сибиллинские пророчества» — собрание иудейских и иудеохристианских пророчеств, в которых уже свершившееся упоминается в будущем времени.

Яркий пример такового, как раз к Нерону и Веспасиану относящийся, — «Четвертое иудейское пророчество времен Флавиев»:

> «И тогда из Италии, как беглец, прибежит великий царь, который однажды решится на кровавое убийство матери и многих других, ведомый злым роком. За трон Рима многие оросят кровью землю, после того, как он убежит в парфянскую страну. Но в Сирию придет римский правитель, который подожжет иерусалимский храм, а с ним придет много человекоубийц, великая страна иудеев погибнет».

Здесь в виде предсказания сообщается уже о прошедших событиях: гражданской войне в Риме, появлении лже-Нерона в Парфии, сожжении храма Соломона в Иерусалиме при взятии этого города Титом, сыном Веспасиана.

Итак, Веспасиан успешно вел Иудейскую войну по повелению Нерона, но дождаться конца ее, падения Иерусалима и замирения мятежной провинции Нерону не было суждено.

Глава VIII
Рим ропщет, Греция рукоплещет

Нерон никогда не стеснял себя в расходах. Не зря ведь Плиний Старший подчеркивал постоянную готовность Нерона к предоставлению золота и серебра.[273] Светоний дополняет эту характеристику:

> «Для денег и богатств он единственным применением считал мотовство: людей расчетливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей — молодцами со вкусом, умеющими пожить. В своем дяде Гае больше всего хвалил он и восхищался тем, как сумел он за малое время промотать огромное наследство Тиберия».[274]

Короче, щедрость Нерона не знала границ. Если бы это касалось первостепенных по значению статей расходов государства, его, конечно, можно было бы пожурить за чрезмерную расточительность и недостаточную бережливость, оговорив, что проистекали они, правда, из благороднейших побуждений принцепса израсходовать эти средства во благо Рима и римского народа. Временами, кстати, так и было на самом деле. Стремительное восстановление Рима после пожара, причем в лучшем виде, нежели он был до него, только этим и объясняется: выделялось столько средств, сколько требовалось без учета, каково это вынести государственным финансам. Но были и другие расходы, которые никак не могли вызвать общественного одобрения и быть хоть как-то оправданы какими-либо государственными интересами. Здесь и Золотой дворец, и безумные расходы на прием Тиридата, и несметные траты на прорытие великолепно задуманных, но так и непрорытых каналов. Хуже того, широкую известность получили его щедрейшие дары людям, которых в Риме едва ли кто почитал достойными:

> «Кифареду Менекрату и гладиатору Спикулу он подарил имущества и дворцы триумфаторов. Ростовщик Керкопетик Панерот, получивший от него богатейшие городские и загородные имения, был им погребен почти как царь».[275]

Но у денег есть, как известно, одно пренеприятнейшее

свойство: они всегда заканчиваются и, что самое обидное, всегда заканчиваются не вовремя. Беда была еще и в том, что Нерон сам разбаловал население Рима беспрецедентными по размаху денежными раздачами. Сумма таковых достигала четырехсот сестерциев на каждого, а поскольку число тех, кому раздачи предназначались, исчислялось сотнями и сотнями тысяч, то никакая казна не могла выдержать такой нагрузки. Но привыкшая к таким благодеяниям толпа стала воспринимать их как должное, когда же у императора явственно обнаружились денежные затруднения, то рассчитывать на понимание ему уже не приходилось, ибо паразитирующие слои населения не способны задуматься над чем-либо, кроме собственного благополучия, и всегда готовы жестоко невзлюбить того, кто внезапно, как им кажется, взял да и обманул их ожидания.

Недостаток средств в казне и необходимость в больших расходах не могли не беспокоить Нерона. Не зная, как умножить доходы государства, поскольку об уменьшении расходов он как-то не задумывался, Нерон готов был принять любое предложение, сулившее казне немедленное обогащение. И здесь над ним жестоко посмеялась судьба. Некто Цезелий Басс, которого Тацит называет пунийцем, то есть потомком древних карфагенян, финикийцев, поселившихся в Северной Африке, а Светоний причисляет к сословию римских всадников,[276] прибыл в Рим с потрясающим известием: он на своем поле обнаружил огромные пещеры безмерной глубины, хранящие несметные сокровища. Для большей убедительности Басс рассказывал удивительные подробности: в пещерах лежат золотые слитки в виде кирпичей грубой старинной формы. От обрушения своды пещеры поддерживаются золотыми колоннами. Какими-то средствами он действительно обладал, поскольку сумел благодаря подкупу пробиться к Нерону и изложить ему эти умопомрачительные новости. Происхождению этой чудо-кладовой старинного золота Басс дал объяснение, которое не могло не увлечь Нерона: это сокровища царицы Дидоны. Той самой знаменитой царицы, о которой каждый римлянин знал из «Энеиды» Вергилия.

Согласно преданию, царица Дидона жила некогда в городе Тире — крупнейшем центре древней Финикии, находившейся на территории современного Ливана. После того как она лишилась своего мужа Сихея, убитого ее братом Пигмалионом, Дидона оставила родные берега и в сопровождении немалого числа преданных ей людей отправилась к берегам Северной Африки для поиска места, где можно было бы обосноваться и построить свой новый город. Прибыв на побережье современного Туниса, Дидона, обнаружив прекрасную природную гавань, где удобно было бы

основать новый город-порт, а также освоить прилегающие к побережью плодороднейшие земли, орошаемые рекою Баград, изобрела хитроумнейший способ обосноваться там. У местного царька она скромно попросила разрешения купить столько земли на побережье, сколько занимает шкура одного быка. Не видя для себя ущерба от уступки, да еще и за деньги смехотворного клочка земли, покрываемого единственной бычьей шкурой, бесхитростный африканец легко согласился на предложение приплывшей от дальних финикийских берегов гостьи. С учетом предельно скромной на первый взгляд просьбы он запросил чисто символическую плату. Не знал того, бедняга, что финикийцы были самым хитрым, изобретательным и коварным народом Средиземноморья. Эти их качества, конечно, не умаляют выдающихся достоинств сынов этого великого народа, впервые в человеческой истории совершивших грандиозные морские путешествия, первыми вышедших в океаны и даже проплывших вокруг всего необъятного африканского континента. Не забудем, что именно финикийцы изобрели письмо, ставшее основой всех трех современных европейских алфавитов, сначала греческого, затем латинского, а значит, и созданного позднее на их основе славянского. Славились финикийцы и как успешные торговцы. А известно, что торговля и предпринимательство не терпят простодушия. Для успеха здесь во все времена нужны как раз те качества, благодаря которым царица Дидона и прибывшие с ней финикийцы так замечательно ловко обрели достаточно земли для основания своего нового города.

Взяв шкуру быка, финикийцы аккуратнейшим образом разрезали ее на тончайшие нити, которые затем связали в единую нить весьма приличной протяженности. Ею им удалось обтянуть изряднейший кусок приморской земли. Поскольку формально соглашение с местным правителем нарушено не было — запрета на изготовление нитей из бычьей шкуры африканец по простоте своей не предусмотрел, — Дидона получила возможность строить свой город на той самой столь остроумно приобретенной земле. Так, согласно легенде, возник Карфаген. Дидона стала царицей его. У царицы Карфагена гостили Эней и богиня Юнона, не желавшая, чтобы он основал новое государство в Италии. Она попыталась добиться обручения Дидоны с Энеем, дабы тот остался в Карфагене. Венера помогла Юноне, заставив Дидону и Энея влюбиться друг в друга, зная, правда, заранее о тщете этой любви. Оракул предсказал судьбу Энея: он должен оказаться в Италии. Бог Меркурий, напомнив Энею о предсказании оракула — своей судьбы избежать никому не дано, — заставил его покинуть Карфаген. Дидона в приступе отчаяния, не имея сил

перенести бегство Энея и страдания любви, покончила с собой. Это было известно каждому римлянину. Но в истории, которую рассказывал Цезелий Басс, речь шла о другой легенде, связанной с хитроумной основательницей Карфагена. Дидона привезла с собой в Африку из Финикии огромные богатства. Став царицей Карфагена, она стала опасаться, что ее народ, располагая такими сокровищами, может совершенно развратиться, погрязнуть в праздности и лености, поскольку обладание золотом лишает его смысла трудиться. Кроме того, наличие в Карфагене подобной сокровищницы стало бы соблазном для соседей. Воинственные кочевники нумидийцы и так не жаловали карфагенян, жестоко проведших их своей хитростью с бычьей шкурой, и цари их могли бы желать возместить свои убытки, а то и просто из вековечной человеческой жажды золота напасть на город. Потому-то мудрая царица и спрятала свои несметные сокровища в никому кроме нее и самых верных людей не ведомой пещере. Там и лежали они долгие века, покуда удачливый Басс не обнаружил их.

Строго говоря, обнаружил он сокровища Дидоны во сне, каковой непонятно почему счел вещим. Несомненно, что с головой у потомка некогда грозных карфагенян было плохо, иначе он не поехал бы в Рим и не стал бы пробиваться на прием к самому цезарю. К несчастью, как это порой бывает с психически больными, наружно он производил впечатление вполне нормального человека. Возможно, дело действительно в его убедительности, но безусловно и то, что его фантастический рассказ упал на благодатную почву. Ломавший себе голову над поиском больших денежных средств Нерон внезапно увидел простейшее решение: найти клад Дидоны — и все вопросы решены! Можно будет оплатить не только то, что еще не оплачено, но и вперед тратить столько, сколько пожелаешь! В результате «безумная надежда отыскать под землей несметные клады» толкала его на новые «безумные расходы».[277]

Похоже, для Нерона тот мир, который он знал по мифам, был уже более реален, нежели мир, в котором он жил. Возможность увидеть сокровища, которые некогда Дидона показывала Энею, а он пренебрег ими, как и ее любовью, по воле судьбы отправившись в Италию, взволновала его до глубины души. Тогда судьба лишила славного троянца возможности обрести эти сокровища, но теперь она же посылает их тому, кто правит в городе, основанном потомками Энея и сам к Энею восходит, ведь он принадлежит к роду божественного Юлия!

Люди античного мира никогда не воспринимали мифы как вымысел, они были для них совершенной реальностью, тем, что действительно существовало в прошлом. Нерон потому и не

усомнился в подлинности этих сведений, не приняв во внимание крайне сомнительное происхождение вестей, пришедших из Африки, основанных лишь на голословных показаниях Басса, коему все это во сне приснилось. Надо было быть Нероном, живущим в мире обожаемых им персонажей древних мифов и театральных трагедий, чтобы всерьез во всю эту очевидную галиматью поверить.

И вот по повелению Нерона снаряжаются корабли с отборными гребцами для ускорения плавания и отправляются целые отряды воинов для добывания сокровищ Дидоны. Последствия, как и следовало ожидать, самые плачевные:

> «Основываясь на этих вздорных надеждах, Нерон день ото дня становился все расточительнее: истощались скопленные казной средства, как будто уже были в его руках такие сокровища, которых хватит на многие годы безудержных трат. В расчете на те же сокровища он стал широко раздавать подарки, и ожидание несметных богатств стало одной из причин обнищания государства. Ибо Басс, за которым следовали не только воины, но и согнанные для производства работ сельские жители, беспрестанно переходя с места на место, всякий раз утверждал, что именно здесь находится обещанная пещера, перекопал свою землю и обширное пространство вокруг нее и, наконец, изумляясь, почему лишь в этом случае сновидение впервые обмануло его, хотя все предыдущие неизменно сбывались, оставил бессмысленное упорство и добровольно смертью избегнул поношений и страха перед возмездием. Впрочем, некоторые писатели сообщают, что он был брошен в темницу и затем выпущен, а в возмещение царской сокровищницы конфисковали его имущество». [278]

Конфискация имущества злосчастного Басса в возмещение убытков, понесенных государством во время бессмысленных поисков несуществующих сокровищ, должна была в глазах римлян выглядеть решением совершенно комичным, что еще более умаляло падающий престиж Нерона: Истинные же последствия карфагенской авантюры Нерона оказались совсем печальными:

> «Когда же эта надежда обманула его, он, издержавшись и обеднев почти до нищеты, был вынужден даже солдатам задерживать жалованье, а

ветеранам оттягивать награды».[279]

Невыплаченные жалованья, отложенные заслуженные награды — это в глазах воинов дело совершенно нетерпимое. Император, допускающий подобное, рискует. Люди, в руках которых оружие, могут на это ответить так, что виновный в денежных задержках запомнит навсегда. Если, конечно, останется жив.

Пытаясь хоть как-то восстановить истощившиеся финансы, Нерон принимает решения, диктуемые не здравым смыслом, но растерянностью, граничащей с отчаянием.

Перечень мер по оздоровлению финансов после истории с привидевшимися сокровищами Дидоны дал Светоний:

> «Прежде всего постановил он, чтобы по завещаниям вольноотпущенников, без видимой причины носивших имя родственных ему семейств, он наследовал не половину, а пять шестых имущества; далее, чтобы по завещаниям, обнаружившим неблагодарность к императору, все имущество отходило в казну, а стряпчие, написавшие или составившие эти завещания, наказывались; далее, чтобы по закону об оскорблении величества подлежали любые слова и поступки, на которые только найдется обвинитель. Даже подарки, сделанные им в благодарность за победные венки, полученные от городов, он потребовал назад. А однажды он запретил носить фиолетовый и пурпурный цвет, сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями этой краски и после этого опечатал лавки всех торговцев. Говорят, даже выступая с пением, он заметил среди зрителей женщину в запрещенном пурпурном платье и указал на нее своим прислужникам: ее выволокли и он отнял у нее не только платье, но и все имущество. Давая поручения, он всякий раз прибавлял: «А что мне нужно, ты знаешь» и «Будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось». Наконец, у многих храмов он отобрал приношения, а золотые и серебряные изваяния отдал в переплавку — в том числе и статуи богов-Пенатов, восстановленные впоследствии Гальбой»[280]

К этому стоит добавить также сообщение Диона Кассия о конфискации Нероном всего имущества осужденных.[281]

И все это совершалось по повелению того самого Нерона, который только несколько лет назад всерьез собирался упразднить в Римской империи все косвенные налоги, дабы

улучшить жизнь народа! «Золотое пятилетие» безвозвратно ушло в прошлое, а правление Нерона более не вызывало восторгов в народе. Иные действия принцепса кажутся как бы специально направленными на разжигание неприязни к нему. Чего только стоит изъятие статуй богов-Пенатов. По представлениям римлян эти добрые домашние боги были хранителями единства и благополучия каждой семьи. Таким образом, Нерон ухитрился нанести оскорбление всем римлянам без исключения. Артист Нерон должен был чутко воспринимать реакцию зрителей на свои выступления в роли певца, кифареда, трагического актера. Без этого нет актера. Принцепс Нерон все более и более утрачивал представления о реальности, похоже, уже вообще не давая себе отчета в том, как воспринимают римляне его поступки и распоряжения. Рабское, холуйское одобрение на словах всего и вся в любых деяниях Нерона, которое он встречал в своем окружении и сенате, сделали свое черное дело: Нерон, несмотря на присущее ему чувство юмора, потерял способность критически оценивать свои дела. А ропот в Риме, и не только в Риме, но и в Италии, в провинциях нарастал. А в таких случаях люди всегда вспоминают все худшее, что происходило в последние годы, все вкупе ставя в вину власти, независимо от ее действительной вины за случившееся. Вспоминали в эти дни в Риме и недавнюю чуму, унесшую за одну осень тридцать тысяч человеческих жизней, не были забыты и неудачи на Востоке — сердце каждого римлянина было задето вестью об унижении римских легионов. Неважно, шли они в самом деле «под ярмом» или не шли. Сами разговоры об этом уже били по действующему императору, пусть и виноват был бездарный Пот, но ведь назначил его в Армению Нерон… Сверхпышный прием Тиридата, конечно же, неплохо развлек римлян, но заставил ли забыть о недавних неудачах? Да и многие не столько восхищались, сколько задумывались над тем, стоило ли при опустевшей казне выбрасывать сотни миллионов сестерциев на чествование брата парфянского царя, унизившего римские легионы? Не забудем, что и клеймо поджигателя, пусть и несправедливое, Нерону так и не удалось смыть. А уж о том, что он матереубийца, никто никогда не забывал. Все это вместе создавало поистине тревожный фон царствованию Нерона, чего он, к несчастью для себя, то ли не хотел, то ли уже не мог замечать.

Положение дел в Риме вообще мало беспокоило Нерона в это время. Визит Тиридата вызвал у него яркую вспышку интереса к Востоку. Должно быть, вручив царскую диадему новому правителю Армении, Нерон всерьез вообразил себя победителем-триумфатором, которому под силу совершать великие деяния в

краях, где некогда воевал великий Александр Македонский. Было объявлено, что он готовит поход к Каспийским воротам. Порой историки спорят, по какому именно пути через Кавказские горы должны были пройти легионы под водительством цезаря Нерона. Думается, такие споры излишни. И те, кто обитал близ знаменитых Железных ворот у современного Дербента, и те, кто проживал в глубокой теснине Дарьяла, могли быть совершенно спокойны. Никакое незваное войско в гости к ним не собиралось. Сей грандиозный проект скорее должно считать очередной игрой Нерона. После героев греческих трагедий ему захотелось почувствовать себя великим воителем. Образ такового долго искать не приходилось — кто может быть достойнее Александра Великого! Интереснее всего то, что Нерон не обратился к римским героям, казалось бы, Рим, чья история, состоящая из непрерывных войн, полная великих деяний и славных побед, превративших Римскую державу во владычицу мира, являл более чем достаточное число примеров для подражания. Но Нерону ближе был идеал эллинистический. Не случайно он даже набрал для этого похода в Италии новый легион из молодых людей шести футов роста (более 180 см), который получил странное для римского войска наименование «Фаланга Александра Великого». [282] Имя македонского царя в Риме уважали и почитали, но слово «фаланга» могло вызвать у испытанных римских воинов только ироническую улыбку. Это был безнадежно устаревший способ боевого построения. В войнах с царями Македонии римские легионы без особых хлопот громили македонские фаланги, умело используя неспособность этого тяжеловесного малоповоротливого строя передвигаться по пересеченной местности. Обозвать римский легион фалангой, пусть и великого Александра, было делом не самым остроумным. В строю такой легион из молодых парней одного роста должен был выглядеть весьма привлекательно, но это совсем не обещало высоких боевых качеств. Во всяком случае, никаких военно-исторических последствий создание этого легиона-фаланги не имело. Когда к Нерону пришла беда в виде военных мятежей и нужны были надежные войска, никакого проку от новоявленных наследников воинов непобедимого царя не было. Наверное, их достоинства одинаковым ростом и исчерпывались.

Учитывая, что в эти годы римляне не сумели удержать под своим военным контролем даже Армению, а главной задачей войск в Сирии была защита границы по Евфрату, не говоря уже о мятежной Иудее, где до прибытия Веспасиана римляне терпели чувствительные неудачи, воспринимать всерьез подготовку Нероном похода к берегам Каспия и перевалам Кавказа не

приходится. Это было очередное театральное действо, только сочиненное и срежиссированное самим Нероном. Он упоенно изображал Александра Великого во главе его бессмертной фаланги, как на сцене играл роли Эдипа, Ореста, Геркулеса. Игра, очевидно, не была слишком продолжительной, и, вдоволь налюбовавшись своими шестифутовыми новобранцами, он ею пресытился. На Восток фаланга двинулась, но ушла недалеко.

Куда более серьезными оказались его планы посещения Греции. Эта поездка действительно состоялась и прошла чрезвычайно интересно и пышно. Вне всякого сомнения, поездка в Элладу была давней мечтой Нерона. Его поклонение греческой культуре было искренним и глубоким. Эллинские традиции и идеалы оказались принцепсу Римской империи много ближе римских. В отеческих нравах и обычаях ему претили гладиаторские бои — зрелище грубое, кровавое, недостойное утонченной натуры. Пристрастие римлян к уличным фарсам бродячих мимов, предпочтение вульгарных комедий высоким трагедиям греческого театра также было малосимпатично Нерону. В Риме приходилось сгонять публику, чтобы она могла насладиться божественным пением цезаря, надо было еще и учить ее по-настоящему аплодировать. Дабы приучить этих людей к восприятию настоящего высокого искусства, запрещалось кому-либо покидать театр во время выступления Нерона. А собственно, какому артисту придется по душе хождение зрителей по театру, когда он поет или играет свою роль на сцене? Возможно, охрана довела вполне здравый запрет Нерона на передвижения публики по театру во время его пения до крайности, не давая никому выходить даже по необходимости. Это обстоятельство, наверное, и породило знаменитые анекдоты о том, что *«некоторые женщины рожали в театре, а многие, не в силах более его слушать и хвалить, перебирались через стены, так как ворота были закрыты, или притворялись мертвыми, чтобы их выносили на носилках»*.[283]

Потому и предпочитал Нерон Неаполь Риму. Любопытно, не следует ли Нерона считать зачинателем превращения Неаполя в певческую столицу Италии, каковой он является и сегодня! Но хотя Неаполь и главный город местности, самими эллинами прозванной в эпоху колонизации ими италийского побережья Великой Грецией, но все же это не сама великая Эллада. Нерон был обязан увидеть мир обожаемой им Греции воочию. До сих пор он только прикасался к творениям этого мира. Среди них были любимые им скульптуры, с одной из которых он никогда не расставался. Это была статуя амазонки из Коринфа. За исключительную красоту ног она была прозвана Эвкнемос, что по-гречески значит Прекрасноногая.[284] Такое прозвание статуи

не должно удивлять. Знаменито же изображение Афродиты Калипигийской, что в переводе значит Прекраснозадая. Одной из любимейших греческих скульптур Нерона в детстве была статуя Александра Македонского работы великого Лисиппа. Здесь, правда, Нерону изменил вкус и он велел покрыть творение Лисиппа золотом. От позолоты немедленно пропало все очарование искусства, и золотое покрытие было удалено.[285] Правда, любовь Нерона к великим творениям эллинских скульпторов приняла характер, для самой Эллады премного огорчительный. Когда был выстроен Золотой дворец, то его залы были украшены самыми знаменитыми произведениями греческой скульптуры, свезенными в Рим по повелению Нерона.[286] Павсаний исчисляет вывезенные Нероном статуи работы великих мастеров сотнями.[287]

Первоначально Нерон хотел начать свое знакомство с миром эллинизма с посещения Александрии — города великого Александра. Здесь хранилась гробница непобедимого царя, здесь бывали и участвовали в великих событиях истории предки Нерона — Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний, Октавиан. А как мог поэт и ценитель прекраснейшего александрийского стиха не побывать там, где он родился на свет во славу эллинской поэзии! Наконец, александрийцы лучше всех умели аплодировать, чему так трудно было обучить бестолковое римское простонародье, не понимающее в простоте своей, что хлопать в ладоши так, чтобы достойно вознаградить божественный голос и актерское дарование цезаря, это тоже искусство! Кстати, язвительный философ Дион Хрисостом не зря заметил, что Нерон хотел преуспеть лишь в тех искусствах, которые приносят аплодисменты.[288]

Но побывать в великом городе Нерону не довелось. Помешали нелепый случай и глубокое суеверие молодого императора. Уже в самый день отъезда, когда он обходил храмы, в святилище Весты край его одежды за что-то зацепился. Перепугавшись, что подол платья удерживает сама гневающаяся на него богиня — а из-за темной истории с весталкой Рубрией Нерон не мог не ощущать себя провинившимся перед Вестой, — он, что называется, света белого не взвидел.[289] Отважиться после такого зловещего, как показалось Нерону, предзнаменования на дальнюю поездку в Египет было для него невозможным. Поездка же в Элладу состоялась.

Непосредственным толчком к решению Нерона непременно посетить Грецию стало чрезвычайно лестное для цезаря-музыканта решение греческих городов, известных проведением музыкальных состязаний. Они постановили прислать ему венки,

которыми награждались кифареды-победители. Конечно же, это была великая радость для Нерона. Он любезно принял послов и пригласил их к себе на дружеский обед. Дабы все ощутили важность и торжественность момента, прием был внеочередным — любые дела могут подождать, пока принцепс встречается с теми, кто сумел по достоинству оценить его дар великого музыканта-кифареда. Во время обеда посланцы греческих городов, тонко оценив ситуацию, стали просить Нерона спеть. Разумеется, он не мог ни им, ни себе отказать в таком удовольствии. Пение Нерона было вознаграждено шумными аплодисментами — наверняка послы заранее разучили любимый цезарем ритм аплодисментов, хорошо все отрепетировали и теперь доставили обожаемому властителю истинную радость. Восхищенный Нерон немедленно объявил во всеуслышание, что только греки умеют его слушать и только они достойны его стараний. Римские угодники, лицемерно хвалившие музыкальные и певческие дарования Нерона, оказались посрамленными. Утонченная лесть эллинов завоевала душу императора-артиста. Впрочем, возможно, дело и не в лести. Нерон наверняка был отличным кифаредом и, учитывая многолетние упражнения и уже немалый опыт выступлений, неплохо пел. Это для римлян поющий принцепс нечто из ряда вон выходящее. Греки, исконные поклонники изящных искусств, воспринимали прихоти императора куда более терпимо. Владение музыкальным инструментом не могло в Греции восприниматься как что-то недостойное. Музыка и пение были уместны для эллинов всегда и везде, даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Сократ, к примеру, стал обучаться игре на арфе, будучи уже приговоренным афинянами к смерти.

Нерон отбыл в провинцию Ахайя, так в римское время стала именоваться покоренная Греция, осенью 66 года после торжественного приема Тиридата и разгрома заговора Виниciана. Выбор времени года для путешествия, конечно, не был случайным. Климат Греции много жарче италийского. Летом она бывала буквально выжжена беспощадным солнцем, чьи губительные лучи греки полагали стрелами Аполлона. Когда же осенью солнечный бог удалялся на север к гипербореям, на земле Эллады оживала природа, снова распускались цветы, густели сочные травы, уходила мучительная жара. Наступало короткое царство Диониса, воскресающее на время короткой и приятной греческой зимы. Дионис, по представлениям греков, жил только три зимних месяца, а затем снова умирал, когда вернувшийся от гипербореев Аполлон начинал насылать на землю свои беспощадно жгучие стрелы-лучи. В XIX веке европейские ученые

исходя из привычных условий среднеевропейского и североевропейского климата ошибочно сочли, что осенью Дионис умирал, а весной вновь возрождался.[290] Ведь в их странах природа действительно осенью как бы умирает, возрождаясь весной. Но в Греции-то как раз наоборот. Зима была царством Диониса, тогда и царила стихия безудержного веселья, пьянства. Будучи воплощением этой совсем небезопасной для человека стихии, Дионис был не полноправным богом, а скорее полубогом, поскольку сила его была ограничена: ведь разумный человек может уберечь себя от пьянства, даже употребляя вино — продукт виноделия, коему и покровительствует Дионис, — соблюдать меру, оберегая свой рассудок от помрачения. Силе же богов смертный человек противостоять не может. У римлян Дионис соответствовал богу — покровителю вина и виноделия Бахусу, или Вакху. Его еще долго называли Либером, то есть богом-освободителем, поскольку люди, вкусившие его напитка — вина, — начинают себя вести более чем свободно. Греческие веселые Дионисии, слившись в Риме с культом Бахуса — Либера — Вакха, приобрели разнузданный характер вакханалий. Справлялись вакханалии по ночам и потому быстро приняли выраженный преступный характер. Римский сенат, восприняв сборища участников вакханалий как преступные шайки, в 185 году до новой эры решительно вакханалии запретил, причем около семи тысяч их наиболее рьяных приверженцев были перебиты.[291]

Нерон, как мы знаем, культа Диониса-Вакха вовсе не чуждался и, более того, порой упивался до потери рассудка, что и привело к гибели его горячо любимой Поппеи. Но в Грецию он ехал не ради одних развеселых Дионисий. Он хотел, чтобы его актерское искусство, искусство пения и игры на кифаре, искусство возничего колесницы по достоинству оценили на родине всех этих замечательных искусств.

Не забудем еще об одном немаловажном обстоятельстве. Нерон не мог быть до конца уверенным, что Аполлон очистил его от всех совершенных по его приказу убийств. Потому лучше прибыть в Грецию, когда там царит Дионис, а Феб-Аполлон — у гипербореев. При суеверии Нерона и самом серьезном восприятии им мифологии такое объяснение времени прибытия Нерона на землю Эллады представляется вполне убедительным.

Свиту с собой в главное путешествие своей жизни Нерон взял довольно странную. Сопровождала его новая супруга — Статилия Мессалина, но находился при Нероне также и кастрированный его сожитель Спор, напоминавший ему своими женственными чертами незабвенный образ красавицы Поппеи. Не забыта была и

Кальвия Криспинила, умелая устроительница самых изощренных сексуальных оргий Нерона. В качестве любимого шута в свите присутствовал бывший сапожник Ватиний, возвысившийся благодаря доносительству. Его главной обязанностью было развлекать цезаря одной и той же убийственного смысла фразой: «Я ненавижу тебя, Нерон, за то, что ты сенатор!» Ведь принцепс — первый из сенаторов Рима. Достаточно отвратительный личностью в свите был также Пакций Африкан, давший лживые обвинительные показания против братьев Скрибониев. Среди сопровождавших Нерона в Грецию присутствовал и Тигеллин. Оставшихся в Риме преторианцев единолично возглавлял второй Нимфидий Сабин, префект претория, назначенный после разоблачения заговора Пизона.[292] Были при Нероне и вполне достойные люди, покорные ему, но не замаравшие себя недостойными делами. Это Веспасиан и Клувий Руф.[293] Окружали императора и его свиту отряд преторианцев, а также неизменные августианцы, чьи отработанные высокоталантливые и особо звучные аплодисменты должны были вдохновить эллинов на восторженную оценку выступлений Нерона. Наряду с профессиональными клакёрами-августианцами ту же роль должны были исполнять на сей раз и преторианцы, оберегавшие персону принцепса в поездке. Едва ли они были от этого в восторге, хотя, конечно, повиновались. Пока.

Все государственные дела в империи были оставлены на вольноотпущенника Гелия, получившего права лишать имущества, ссылать и приговаривать к смерти людей любого звания.[294] Жизнь знатнейших римлян стала зависимой от произвола подлого либертина! Можно себе представить, как рады были римские сенаторы и патриции такому удачному выбору Нерона.

По дороге в Грецию Нерон сделал две остановки. Сначала на острове Керкира (совр. остров Корфу), где он участвовал в местном празднестве, затем Нерон посетил Акциум, где также было устроено торжество. Оба эти места — исторически знамениты. Некогда конфликт Керкиры, союзницы Афин с Коринфом, союзником Спарты, стал решающим толчком к Пелопоннесской войне (431–404 гг.), ставшей гибельной для могущественного дотоле Афинского союза. Акциум — место решительной битвы между войсками Октавиана и Антония, где окончательно выяснилось, кому будет принадлежать единоличная власть в Римской державе. Кроме того, близ Акциума у входа в Ампракийский залив находился знаменитый храм Аполлона, где Октавиан освящал оружие перед решающей битвой.

Прибыв в Элладу, Нерон расположился в Коринфе, который

был главным городом провинции Ахайя. Первое его выступление состоялось в Кассионе, где он пел перед алтарем Зевса, римлянами именуемого Юпитером Кассием. Затем Нерон пожелал выступить на всех традиционных греческих состязаниях, как музыкальных, так и иных, которым для того, чтобы император мог непременно блеснуть на них своими высокими дарованиями, придали ранее несвойственный им характер. Так, в Олимпийские игры, мало того что их пришлось проводить в нарушение общепринятых сроков, внесли еще и музыкальные состязания. В Истмийские игры, проходившие в Коринфе, включили представление трагедий и пение. Выступал Нерон также и на Немейских и Пифийских играх, став, таким образом, и участником, и победителем на всех четырех общегреческих играх, исключительно для него проведенных в течение одного года. Всего Нерон получил тысячу восемьсот восемь наград. Самым же лестным для него было то, что в состязании музыкантов он был поставлен выше своего учителя, великого кифареда Терпна. Одно из выступлений на Олимпийских играх едва не стоило ему жизни. Управляя колесницей, в которую были впряжены десять лошадей, он оказался выброшен на землю. Оправившись от падения, он мужественно пытался продолжить скачку, но, очевидно, последствия падения оказались слишком болезненными, и ему пришлось покинуть арену. Тем не менее венок победителя скачек достался Нерону. Правда, войти в историю, будучи навеки включенным в списки олимпийских победителей, Нерону не удалось. Внеочередные Олимпийские игры были впоследствии отменены и результаты их, столь приятные для Нерона, более в реестре олимпийских наград не значились.

Участие в празднестве в Аргосе не могло не взволновать Нерона: ведь будучи некогда главным городом Арголиды, здесь были воспеты Гомером златообильные Микены. В это время древний царский город пришел в совершеннейший упадок, но память о его былом величии и знаменитейших событиях, с ним связанных, сохранялась. Нерон не мог не вспомнить, что он недалеко от того места, где Клитемнестра убила Агамемнона ради своего любовника Эгисфа, где Орест отомстил за отца, расправившись с Эгисфом, и поднял меч на родную мать, за что обрушился на него, матереубийцу, гнев богинь-мстительниц — Эриний.

Об Эриниях Нерон помнил, потому-то, путешествуя по Греции, не рискнул появиться в Афинах. Для великого артиста, каковым он себя полагал, такой отказ — превеликая жертва. Не побывать в театре Афин, где впервые на сцене появлялись великие трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, где выступали

самые прославленные актеры, певцы, музыканты! Лишить себя радости выступления на главной сцене греческого мира, не получить не сравнимого ни с чем удовольствия заслужить восторженные признания самой изысканной театральной публики мира! Не мог не знать Нерон, получивший недурное образование и любящий все греческое, старинного эллинского укора тому, кто оказался неспособным оценить величие Афин, относившегося, правда, к V веку до новой эры — эпохе расцвета Афин, но для истинных ценителей эллинской культуры верного во все времена:

> «Так ты — чурбан у если не видел Афин; осел, если видел их и не восторгался; а если по своей воле покинул их, то ты — верблюд».

Кем же в таком случае приходилось считать себя Нерону? В лучшем случае безнадежно закоснелым чурбаном. Ведь для того, кто мог увидеть Афины, кто в душе, конечно же, ими восхищался, кого в этом городе, без всякого сомнения, ждал бы самый горячий прием и кто упустил бы сознательно эту прекраснейшую возможность, в греческом языке просто не было слов для осуждения, ибо таких грубых ругательств и проклятий мудрые эллины просто не знали.

Сознание своей преступности не покидало Нерона, равно как и страх перед гневом богов. Ареопаг, заседавший в Афинах, оправдал Ореста, мстившего преступной матери — убийце своего мужа и отца своих детей. Если Агриппину в чем-то можно было приравнять к Клитемнестре, то уж Нерон никак не походил на Ореста. Потому скрепя сердце не мог он появиться там, где был ареопаг. Страх перед гневом богов никогда не оставлял Нерона. И случай отмены такой желанной поездки в Александрию из-за проявления гнева Весты, имевшей основания быть недовольной Нероном, и отказ от посещения великих Афин и посвящения в таинства Элевсина — все это говорит о том, что Нерон был очень своеобразным преступным правителем: он совершенно не заблуждался по поводу сути своих деяний. А поскольку древние мифы и богов он воспринимал как несомненную реальность, то страх понести за свои деяния те же кары, что и мифические герои, повинные в подобном, преследовал его постоянно. Отсюда и такое пристрастие к трагическим сюжетам. Напомним их: «Орестея», «Царь Эдип», «Антигона», «Ниобея», «Аттис»…

В то же время эти чувства Нерона нельзя считать муками совести или раскаянием. Нигде никогда он не высказывал сожалений о содеянном, не признавал роковыми ошибками осуждение тех или иных людей. Стремление к покаянию в преступных, греховных делах взрастит христианство. Античности

это было чуждо и непонятно. Римский и греческий мир, конечно, хорошо знал, что достойно, а что недостойно, где добрые дела, где преступления, но к покаянию его боги не звали, хотя и карали злодеев. По-своему Нерон жестоко наказал себя, отказавшись посетить Афины.

Не посетил он еще одно исторически знаменитое место Эллады — древнюю Спарту. Но здесь, думается, причина самая прозаическая. В этом дрянном городишке, даром, что он так знаменит, нет ни величественных зданий, коими стоило бы полюбоваться, оттуда не вывезешь в любимый Золотой дворец ни одной статуи, поскольку те немногие скульптуры, что там имеются, ни малейшей ценности не представляют. Спартанцы никогда не понимали высокое искусство театра, не были поклонниками замечательных игр, устраиваемых просвещенными жителями других греческих городов. Изысканному пению под сладостные звуки кифары граждане Спарты предпочитали грубые песни, пригодные лишь для луженых глоток солдатни. Нет, такой город не заслуживал приезда Нерона.

Для всей же Греции приезд цезаря должен был стать безусловным благом. Восхищенный своим пребыванием на родине всех любимых им искусств, Нерон вознамерился навсегда оставить в Древней Элладе память о своем добром отношении к ней и ее славным обитателям. Главным памятником, увековечившим приезд Нерона в Грецию, должен был стать канал, через перешеек Истм соединяющий полуостров Пелопоннес с остальной Грецией. В отличие от грандиозно задуманных, но малополезных даже в случае их прорытия каналов, коими Нерон пытался осчастливить родную Италию, канал через Истм был бы весьма нужен мореплавателям. Корабли могли бы теперь плыть из Адриатики в Эгейское море без того, чтобы огибать Пелопоннес, что заметно сокращало бы их путь и уменьшило бы опасность путешествия, поскольку в этом случае не возникали бы перед судами опасные мысы пелопоннесского юга.

Вот тут-то и нашлось настоящее дело для сопровождавших Нерона в поездке воинов-преторианцев. Римский солдат должен дружить с лопатой не меньше, чем с мечом. Эту истину даже безнадежно далекий от военного искусства Нерон не мог не знать. И дали преторианцам в руки лопаты, и созвали всенародную сходку, дабы по всей Элладе разнеслась весть о великом деле, начатом императором, и под звуки труб Нерон первый ударил о землю лопатой и вынес на своих плечах первую корзину земли.[295]

Присутствовавшими при этом историческом событии немедленно было обращено внимание на следующее: начиная

работы на Истме, Нерон *«перед огромной толпой во всеуслышание пожелал, чтобы дело это послужило на благо ему и римскому народу, о сенате не упомянув»*.[296] Пребывая в греческом мире, Нерон с удовольствием забыл о ненавистном сенате. Возможно, он решил повести себя как эллинический монарх. В самой Греции их, правда, никогда особо не жаловали, но едва ли Нерон собирался над этим задумываться.

Благородное начинание Нерона, увы, не получило достойного продолжения. Работы на Истме оказались заброшенными, и канал на перешейке появился… спустя восемнадцать столетий, в 1893 году.

Но не одним каналом через Истму решил Нерон отблагодарить Грецию за столь благосклонное отношение к его артистическому дарованию. Он вспомнил, что в 196 году до новой эры, как раз на Истмийских играх римский консул Тит Квинкций Фламинин за год до этого события, в 197 году до новой эры, разгромивший в битве при Киноскефалах в Фессалии войска македонского царя Филиппа V, провозгласил Грецию свободной от македонского владычества. Эллада была в восторге, власть Македонии над ней, установленная еще отцом Александра Великого, царем Филиппом после роковой для греков битвы при Херонее в 338 году до новой эры, наконец-то закончилась! Благородный Рим освобождает Элладу, не требуя ничего взамен!

Радость эллинов прошла очень скоро. Римская власть оказалась много прочнее и жестче македонской, и вся Греция со временем стала заурядной провинцией Рима под названием Ахайя. Нерон, движимый самыми лучшими чувствами, решил исправить положение, принеся Греции то, что обещал ей Фламинин. Он, конечно, не мог подарить ей государственной независимости, да она этого и не требовала. Пребывание в составе Римской империи давно уже не было грекам в тягость, и времена независимости греческих государств были безнадежно забыты, никто уже не тешил себя мечтами об их восстановлении. Нерон подарил Греции другую свободу — свободу от выплаты налогов в общеимперскую казну.

Речь о даровании Элладе свободы Нерон произнес в день Истмийских игр с середины стадиона:[297]

> «Неожиданный дар, Народ Греции, приношу я тебе — хотя, возможно, ничто не может считаться неожиданным от такой щедрости, как моя, — столь необозримой, что у тебя не было надежды попросить о ней. Если бы я сделал этот дар, когда Эллада была в расцвете, то, возможно, гораздо больше людей смогли бы

> воспользоваться моей милостью. Но не из жалости, однако, а по доброй воле я делаю сейчас это благодеяние, и я благодарю ваших богов, чье пристальное провидение я всегда испытывал как на море, так и на суше, за то что они предоставили мне возможность столь великой милости. Другие императоры даровали свободу городам; один Нерон даровал свободу целой провинции».[298]

Заботясь обо всей провинции Ахайя, Нерон не забывал и о лучших ее людях, по его представлениям. Щедро были вознаграждены судьи всех игр, получившие достойную денежную награду и римское гражданство.

Благодеяния Нерона Греции высоко ценили подлинно великие сыны Эллады. Среди них Плутарх, Филострат, Павсаний. При всей анекдотичности ряда моментов этой знаменитой поездки Нерон за нее упреков не заслуживает.

Но, увы, и прекрасные дни, проведенные на родине горячо любимых им искусств, Нерон осквернил тройным убийством. Именно в Греции погибли Корбулон и братья Скрибонии, люди, никаких преступлений не совершившие и верно служившие империи на ее самых опасных границах — на Западе и Востоке. На их места были назначены новые люди.

И еще одно назначение, напомним, сделал Нерон в Греции, оказавшее решающее воздействие на развитие событий в Римской державе не только в ближайшие годы, но и десятилетия. Получив известия о скверном обороте дел в Иудее, Нерон подчинил тамошние легионы новому военачальнику. Кандидат в таковые оказался, что называется, у него под рукой. Это был Веспасиан. Человек к этому времени уже немолодой, раздражавший Нерона своей неотесанностью и вопиющей неспособностью воспринимать музыку и пение. Карьера этого представителя совсем незнатного рода Флавиев носила противоречивый характер. Будучи эдилом в Риме в правление Калигулы, он плохо следил за порядком в городе и улицы столицы в результате заросли мусором. Когда Гаю Цезарю доложили о столь бездарном исполнении Веспасианом обязанностей эдила, он изобрел для него своеобразное наказание — велел наложить ему поболе грязи за пазуху, дабы нерадивый чиновник шкурой своей ощутил сколь нехорошее дело нечистоты. При Клавдии Веспасиан неожиданно обнаружил способность к военному делу, отличившись в Британии. И вот, вспомнив об этих его заслугах и с удовольствием избавляясь от невежливого слушателя, все время норовившего заснуть во время августейшего пения, Нерон отправил Веспасиана подавлять мятеж в Иудее.

Можно уверенно сказать, если бы в распоряжении доблестного Флавия не оказалось легионов Востока, а оставался бы он в свите императора, то никогда бы ему не возвыситься в правители империи. Получается, что Нерон, погубивший в своем лице династию Юлиев-Клавдиев, сам нечаянно проложил дорогу на Палатин Флавиям.

Неизвестно, сколько бы еще времени Нерон провел в Греции, но его позвали в Италию плохие новости из Рима. Гелий сообщал, что положение в столице становится угрожающим для власти императора. Сначала он направил письмо Нерону, но затем прибег к более решительным мерам. Оставив Рим, Гелий прибыл в Грецию, где, представ перед императором, огорошил его известием о наличии в Риме нового опасного заговора, направленного против принцепса.[299] Память о прежних заговорах была слишком свежа, и Нерон принял решение о возвращении в Рим.

Глава IX
Qualis artifex pereo!

Возвращение Нерона в Рим выглядело триумфальным шествием императора-полководца, сокрушившего только что во благо римского народа несметные полчища грозных врагов империи:

> «Из Греции он вернулся в Неаполь, где выступил когда-то в первый раз, и въехал в город на белых конях через пролом в стене, по обычаю победителей на играх. Таким же образом вступил он и в Анций, и в Альбан, и в Рим. В Рим он въезжал на той колеснице, на которой справлял триумф Август, в пурпурной одежде, в расшитом золотыми звездами плаще, с олимпийским венком на голове и пифийским — в правой руке; впереди несли остальные венки с надписями, где, над кем и в каких трагедиях или песнопениях он одержал победу, позади, как в овации, шли его хлопальщики, крича, что они служат августу и воинами идут в его триумфе. Он прошел через Большой цирк, где снес для этого арку, через Велабр, форум, Палатин и храм Аполлона; на всем его пути люди приносили жертвы, кропили дорогу шафраном, подносили ему ленты, певчих птиц и сладкие яства. Священные венки он повесил в своих опочивальнях возле ложа и там же поставил свои статуи в облачении кифареда; с таким изображением он даже отчеканил монету».[300]

Несомненно, Нерон пребывал на вершине счастья. Артистический триумф в Греции стал для него главным достижением всего его правления, всей его жизни. Сколь тщательно продуман маршрут его возвращения! Сначала Неаполь, где начинал он свои публичные выступления. Пусть те, кто имел счастье впервые слышать божественное пение цезаря перед народом, первыми же узрят его, достигшего вершины славы! Затем Алций, родина Нерона. Далее Альбан. Здесь у подножия Альбанской горы к северу от Альбанского озера основал свой город Асканий Юл — прародитель Юлиев. Его потомки, божественные братья Ромул и Рем, примут решение об основании нового города, каковой на Палатинском холме и построит Ромул. Наконец — Рим! Он должен увидеть Нерона в

образе триумфатора. Да, пусть римляне видят, что победы их императора в греческих играх так же ценны, как победы на полях сражений!

Можно себе представить, что на самом деле думали римляне об этом высокоартистическом триумфе. Кифаред на колеснице божественного Августа! Август вывел Рим из долгой полосы гражданских войн, восстановил единство государства, присоединил к римским владениям богатейший Египет, сокрушив всех своих врагов, он подарил римлянам и подвластным им народам великий Pax Romana — Римский мир. Вот что он праздновал, вступая в Рим! Вот что дал римскому народу его триумф! А этот? Казна опустела, поборы растут, раздачи сокращаются, войску недоплачивают, хлеб в Рим подвозят с перебоями, поскольку все корабли Нерон угнал в Грецию. Сколько поводов для ликования! Дальше просто некуда.

Неизвестно, был ли в действительности заговор, о котором Гелий сообщил Нерону, но перемена в настроениях римлян в отношении Нерона к худшему была очевидна. Последний подъем благодарных чувств римской толпы к правящему принцепсу имел место в связи с пышной встречей Тиридата, давшей народу и великолепные зрелища, и изобильные раздачи. Но такие чувства очень непрочны и, главное, недолговечны. Зрелища прошли, раздачи сократились — и вот уже все недовольны. Триумф же победителя в музыкальных состязаниях менее всего мог вдохновить римлян. Нерон, чувствовавший себя триумфатором, как никогда, был одинок. Он даже не представлял себе, сколь мало времени осталось у него для того, чтобы упиваться своим счастьем, ощущать себя величайшим артистом. Иллюзорности происходящего он не чувствовал. Ему бы в эти дни вспомнить слова знаменитого римлянина, полководца Эмилия Павла, подчинившего Риму некогда могущественную Македонию. Тогда после полного разгрома македонского войска — последний в истории бой знаменитой фаланги — и пленения царя Персея римский военачальник, видя ликование своих соратников, особенно молодых центурионов, обратился к ним с речью, содержание которой вовсе не было наполнено победным торжеством, но напоминало всем о бренности любых великих достижений. Были в ней такие слова:

> «И неужели вы еще верите в существование на земле счастья, могущего противостоять времени? Подавите же в себе, молодые люди, тщеславную гордость победой: будьте скромны, постоянно помня о будущем, о том часе, когда судьба отомстит нам за настоящее счастье».

Луций Эмилий Павел предостерегал от ликования по случаю действительно великой победы — Риму покорилась страна, давшая миру великого Александра Македонского. Нерон же никак не мог отойти от восторгов по поводу победы мнимой и в том роде деятельности, которую римляне в грош не ставили. Нелепой игрой в триумф он, несомненно, только приблизил конец своего царствования. Мнимая победа способствовала приходу самой настоящей расплаты. Расплаты за все.

В начале марта 68 года Нерон находился в любимом Неаполе, менее всего думая о какой-либо опасности. Близился праздник Минервы. Напомним, что римская богиня Минерва была покровительницей поэтов и музыкантов, к коим Нерон принадлежал, потому он, как музыкант, вправе был его почитать своим. Но вместе с этим приятным событием приближалась дата, которую он никогда не любил вспоминать, — очередная годовщина убийства Агриппины. И надо же было такому случиться, что известие о восстании в Галлии, направленном против его власти, он получил как раз в тот самый день, когда девять лет назад приказал убить свою мать. Восстание против Нерона поднял наместник провинции Лугдунская Галлия (Лугдун — совр. город Лион во Франции) Гай Юлий Виндекс. Он написал воззвание, прямо направленное против Нерона, смысл которого был в отмщении ему за все его злодеяния и сумасбродства и освобождении римлян от власти этого негодного принцепса. Нерон сначала не понял, насколько опасно начавшееся движение. Он знал, что в Лугдуне не стоят легионы, одна лишь когорта городской стражи — это не войско. Несколько сот человек военной опасности для правителя империи не представляют, тем более если находятся в достаточно отдаленной провинции, за Альпами. Демонстрируя полное презрение к Виндексу, Нерон продолжил свои обычные развлечения, направившись в гимнасий, где увлеченно смотрел на состязания борцов. Толк в борьбе он знал и даже сам считался сильным борцом. Более того, как раз в это время им овладела мысль добиться в борьбе такого же совершенства, как Геркулес, повторив его подвиги. Позднее будут рассказывать, что якобы уже готовилось невиданное представление: Нерон должен был появиться на арене в облике Геркулеса и то ли пришибить дубиной специально подготовленного льва, то ли задушить его голыми руками.[301] Представление задумывалось знаковое! Ведь именно оглушив сначала своей палицей льва у города Немей и задушив его, Геракл и совершил свой первый подвиг. В память о нем могучий герой, принеся жертву Зевсу, учредил Немейские игры, проводившиеся раз в три года. Нерон только что был объявлен в

том числе и победителем Немейских игр. Получается, что сколь сие не удивительно звучит, но Нерон и в самом деле перед своими роковыми днями собирался то ли повторять, то ли инсценировать двенадцать подвигов Геркулеса, начав с первого — удушения льва. Его атлетические амбиции немедленно породили слухи, что на следующих Олимпийских играх через положенные пять лет он выступит уже в качестве атлета.

Геркулесовым планам Нерона не суждено было осуществиться. Интересно, а как он надеялся реально повторить первый подвиг сына Зевса и Алкмены? Даже самый ручной лев едва ли равнодушно перенес бы удар дубиной и уж никак не позволил бы себя душить, мигом вспомнив о своей сущности хищного зверя. Восстание в Галлии настойчиво напоминало Нерону, что думать надо не о Геркулесовых подвигах, но об истинном исполнении прямых обязанностей принцепса. Но Нерон продолжал жить в мире своих мечтаний, не желая отрываться от привычных увлечений и новых грандиозных замыслов на какие-то неприятные вести о мятежном пропреторе где-то за Альпами.

Тревожные вести шли одна за другой, однако Нерон оставался холоден и только пригрозил мятежникам, за многие сотни миль от него находящимся, что-де худо им придется. Иным его беспечность казалась проявлением даже радости от возможности разграбить богатейшие провинции по праву войны. [302] Последнее едва ли справедливо. Скорее, Нерон просто не представлял себе, насколько серьезно начавшееся движение. О войне он никогда не любил думать. Пригрозив Виндексу и примкнувшим к нему, Нерон потерял к мятежникам всякий интерес. Очнулся он спустя лишь восемь дней, получив весть о содержании очередного воззвания Виндекса. В нем вождь восстания сумел нанести Нерону самый болезненный удар: он назвал его «дрянным кифаредом»! Нельзя было более оскорбить Нерона! Он хладнокровно перенес куда более серьезное оскорбление: Виндекс именовал его родовым именем Агенобарб, прямо обращая всеобщее внимание на сомнительную законность прав Нерона, на наследие Клавдия — всего лишь пасынок покойного принцепса, не более того.

На это Нерон гордо объявил, что родового имени не стыдится и готов даже вновь, как в детстве, стать Агенобарбом, отрекшись от имени Клавдия, взятого при усыновлении. Но оскорбление своего достоинства как музыканта он снести не мог. Тут же он стал вопрошать окружающих, не знает ли кто из них более искусного кифареда, нежели он. Разумеется, никто не знал. Немного успокоившись, Нерон придал делу неожиданный и по-своему не лишенный остроумия поворот: если Виндекс лжет,

называя Нерона дрянным кифаредом, то столь же ложными являются и все прочие обвинения. Оставалось только, чтобы все остальные в Риме и во всей империи подумали так же.

Мятеж в провинции, поднятый Виндексом, был новым явлением в противодействии политике Нерона. До поры до времени в отдаленных от Рима владениях империи равнодушно взирали на происходящее в столице. Жесткость Нерона касалась весьма узкого круга высшей знати, никак не затрагивая тех, кто возглавлял провинции и командовал легионами. Да и число жертв произвола принцепса исчислялось единицами до заговора Пизона. Но во время своей греческой гастроли Нерон ухитрился расправиться с тремя выдающимися военными — Корбулоном, возглавлявшим, и весьма успешно, легионы на Востоке, а также братьями Скрибониями, достойно управлявшими самыми опасными в военном отношении провинциями Запада и командовавшими легионами на рейнской границе империи. Теперь наместники провинций были вправе считать себя в опасности. Ведь невиновность Корбулона и Скрибониев была всем очевидна. Значит, следующим может стать любой… Поэтому восстание Виндекса и последующее поведение высших военных империи, а также наместников важнейших провинций, что в итоге привело Нерона к гибели, вполне естественны и закономерны. Не тронь Нерон военных — его правление могло бы еще долго продолжаться.

Плохие вести тем временем продолжали приходить. Нерону становилось не до смеха. Наконец он решил вернуться в Рим. Дорога неожиданно взбодрила его. Как всякий слабый и неуверенный человек, которым часто овладевало чувство страха, Нерон был способен и внезапно впадать в эйфорию крайней самоуверенности, если что-либо указывало ему на несостоятельность его опасений. По дороге в Рим он обратил внимание на памятник, где было изображено, как римский всадник тащит за волосы повергнутого галльского воина. Возможно, таким образом увековечили подвиги римлян в знаменитой Галльской войне Гая Юлия Цезаря. Нерон, числившийся среди пусть и очень дальних, но потомков божественного Юлия, счел это доброй приметой: он также повергнет Виндекса, взбунтовавшегося в Галлии! Он даже подпрыгнул от радости и возблагодарил небо, пославшее ему это славное предзнаменование. Прибыв в столицу, он раздумал обращаться с речью к сенату и римскому народу. Виднейших граждан Рима он все же созвал во дворец, но советовался с ними недолго. Много более важным ему показалось иное занятие: как раз во дворец доставили новые водяные органы необычного вида,

и Нерон со знанием дела подробно объяснял гостям их устройство, сложность каждого из них. Под конец он даже пошутил, сказав, что намерен выставить эти орг*а*ны в театре, если Виндексу это будет угодно.

А дела в Галлии тем временем принимали для Нерона все более и более скверный оборот. Легионов у Виндекса действительно не было, но к нему охотно стало присоединяться население провинции, на себе ощутившее рост налогов и всякого рода новых поборов. Число восставших определяли в сто тысяч человек. Более того, вскоре пришло известие о том, что Виндекса намерен поддержать наместник Тарраконской Испании Сервий Сульпиций Гальба. Этот человек давно уже был на подозрении в Риме. Возможно, его Гелий тоже считал одним из заговорщиков, о которых докладывал Нерону в Греции. Во всяком случае, прокураторам в Испанию был от Нерона послан приказ предать Гальбу смерти.[303] На месте, однако, это распоряжение Нерона понимания не вызвало, и в результате оно оказалось… в руках Гальбы. Теперь весть о восстании Виндекса стала для Гальбы бальзамом на душу. Можно ведь, конечно, перехватить один тайный приказ, но намерений Нерона этим не изменишь… Очень своевременно пришло в Новый Карфаген (совр. город Картахена в Испании) письмо от Виндекса с призывом стать вождем и освободителем от гнета Нерона. Не будучи еще уверен в поддержке со стороны своего окружения, Гальба созвал совещание, на котором огласил послание Виндекса и спросил у присутствующих совета: как поступить? А они, оказывается, уже были готовы поддержать мятежного пропретора из Лугдуна. Тит Виний, командовавший единственным легионом, расположенным в Тарраконской Испании, высказался с подлинно военной прямотой:

> «Какие еще тут совещания, Гальба! Ведь размышляя, сохранить ли нам верность Нерону, мы уже ему неверны! А если Нерон нам отныне враг, нельзя упускать дружбу Виндекса!»[304]

Как только стало известно о поддержке Гальбой восстания против Нерона, так на его сторону перешел легат провинции Лузитания. Это был Марк Сальвий Отон. Тот самый наперсник Нерона, участник его распутных похождений, затем второй супруг Поппеи Сабины, которую он не пожелал уступать цезарю, почему и оказался на берегах Атлантики. Провинцией своей он управлял хорошо, но обиды Нерону не простил. Потому «первым примкнул к Гальбе, стал его рьяным сторонником».[305]

На Нерона известие о поддержке Гальбой мятежного

Виндекса произвело умопомрачительное впечатление:

> «Когда же он узнал, что и Гальба с Испанией отложился от него, он рухнул и в душевном изнеможении долго лежал как мертвый, не говоря ни слова; а когда опомнился, то, разодрав платье, колотя себя по голове, громко вскричал, что все уже кончено. Старая кормилица утешала его, напоминая, что и с другими правителями такое бывало; но он отвечал, что его судьба — небывалая и неслыханная: при жизни он теряет императорскую власть».[306]

Нерон конечно же был прав: два римских императора, два Гая — божественный Юлий и Калигула — были убиты, когда находились у власти и до последнего дня в полной мере ею располагали. Принцепсу Нерону предстояло сначала лишиться императорской власти, а потом уже встал вопрос о его личной судьбе.

Нарастающее бедственное положение в стране заставляло Нерона метаться. Периоды бурной активности, когда казалось, что он наконец-то проявит себя как должно принцепсу, сменялись приступами прострации, вопиющей праздности. Временами он бросался в разгул, напивался до потери разума. Именно в таком состоянии он заявлял, что собирается всех начальников провинций и войска убить как соучастников заговора, что надо перерезать всех живущих в Риме галлов, а саму Галлию отдать на растерзание войскам. В пьяном безрассудстве он грозился извести ядом весь сенат на пирах, Рим поджечь, а на улицы выпустить диких зверей, чтобы никто не мог спастись.

Наутро после подобных излияний он вряд ли мог припомнить и десятой доли той ахинеи, что нес в пьяном угаре. Но в его окружении не все были так же пьяны и из дворца ползли слухи о жутких намерениях Нерона; слухи, как всегда в таких случаях, стремительно обрастали новыми подробностями. Потому отличить здесь, что говорил пьяный Нерон, а что приписывала ему молва, совершенно невозможно. Иногда он приходил в себя и даже являл свое природное остроумие. Так, получив успокаивающие известия, скорее всего о затруднениях у мятежников, он устроил роскошный пир, на котором как в лучшие свои годы позабавил гостей язвительными стихами про вождей восстания. Стихи он пропел, как игривые песенки, сопровождая их смешными телодвижениями. Злая сатира на своих врагов была, очевидно, удачной. Песенки Нерона тотчас же подхватили повсюду. Но, увы, это был единственный успех Нерона в борьбе с множившимися мятежами. Остальные его

действия не шли дальше подобия знаменитого окрика Нептуна бушующим волнам и ярящимся ветрам: «Вот я вас!» — но если в «Энеиде» Вергилия волны и ветры после этого, повинуясь грозному голосу Нептуна и его трезубцу, покорно уползли в пещеру бога ветров Эола, то на мятежных военачальников никакие заклинания и проклятия Нерона не действовали.

Движимый инстинктом самосохранения, он все же попытался действовать решительно. Для начала он заявил, ссылаясь на некое пророчество, что Галлию может завоевать только консул, он сместил обоих консулов и сам вступил в их должности. Наверное, Нерон уже никому не доверял. Новую свою должность он отметил очередным пиром, с которого ему пришлось уходить поддерживаемым друзьями. И вот тут-то он и изложил им такой потрясающий план грядущего похода против галльских мятежников, какой мог прийти в голову одному Нерону:

> «Он заявил, что как только они будут в Галлии, он выйдет навстречу войскам безоружный и одними своими слезами склонит мятежников к раскаянию, а на следующий день, веселясь среди общего веселья, споет победную песнь, которую должен сочинить заранее».[307]

Тем не менее военные меры были все же предприняты. Прежде всего Нерон вспомнил о своем легионе — фаланге, который предназначался для дальнего похода к берегам Каспия. Этих славных шестифутовых воинов, набранных ранее в Германии, Британии и Иллирии, решено было употребить в дело не на крайнем востоке империи, но на близком и мятежном западе. Кроме того, правильно рассудив, что на море с галльскими повстанцами воевать все равно не придется, а военных моряков на кораблях Мизенского флота в избытке, Нерон распорядился сформировать новый легион из морской пехоты.[308] Все эти силы двинулись на север Италии, где их возглавил испытанный военачальник Петроний Турпилион, несколько лет назад отличившийся в Британии.[309] Сам Нерон, оставшись в Риме, занялся подготовкой своего личного участия в подавлении мятежа.

> «Готовясь к походу, он прежде всего позаботился собрать телеги для перевозки театральной утвари, а наложниц, сопровождавших его, остричь по-мужски и вооружить секирами и щитами, как амазонок. Потом он объявил воинский набор по городским трибам, но никто годный к службе не явился; тогда он потребовал от хозяев известное число рабов и отобрал из челяди

только самых лучших, не исключая даже управляющих и писцов. Всем сословиям приказал он пожертвовать часть своего состояния, а съемщикам частных домов и комнат — немедля принести годовую плату за жилье в императорскую казну. С великой разборчивостью и строгостью он требовал, чтобы монеты были неистертые, серебро переплавленное, золото пробованное: и многие даже открыто отказывались от всяких приношений, в один голос предлагая ему лучше взыскать с доносчиков выданные им награды».[310]

Вопиюще нелепое и беспомощное поведение Нерона в час действительной опасности отталкивало от него людей. Даже разумные решения о наборе легиона из моряков и перенаправлении «фаланги Александра» с востока на запад он сопроводил такими дикими с военной точки зрения распоряжениями о театральном обозе и преображении дворцовых шлюх в гордых амазонок, что свел на нет все предыдущие усилия. Отправленные на север легионы бездействовали и ничем не помогли Нерона в подавлении мятежа. А открытое неповиновение населения Рима грозным приказам действующего принцепса явственно обозначило для Нерона начало конца: такого Рим еще не знал — ведь отказывают в повиновении лишь тому, кого уже императором не считают.

В обстановке растущих мятежей и рушащейся власти Нерона нарушилось хлебное снабжение Рима. Тут же молва стала обвинять его в стремлении нажиться на дороговизне хлеба. В городе с миллионным населением наметилась пугающая всех угроза голода. И надо же было случиться такому, что когда в город, к всеобщей радости, прибыл наконец корабль из Александрии, о котором заранее необдуманно объявили, что он везет хлеб, оказалось… что он нагружен песком. А песок-то везли для любимых Нероном гимнастических состязаний!

Стоит ли удивляться, что ненависть римлян к Нерону достигла крайних пределов. Уже не было таких оскорблений, какими бы его ни осыпали. Глумлению подверглись статуи Нерона. К макушке одной привязали петушиный гребень — петух символ мятежной Галлии — и приладили надпись по-гречески, чтобы доставить особое удовольствие Нерону: «Вот и настоящее состязание! Теперь несдобровать!» Другой же статуе на шею повесили мешок, а надпись сделали прямо угрожающую: «Сделал я все, что мог, но ты мешка не минуешь». В мешок перед казнью полагалось зашивать матереубийцу. Впервые Нерону прямо указали на ожидающую его участь. На этом фоне язвительные

надписи, что Нерон своим пением разбудил галльского петуха, выглядели уже милой безобидной шуткой.

Стали покидать Нерона и ближайшие соратники. Тигеллин то ли заболел, предчувствуя крах Нерона и понимая, что и ему в этом случае несдобровать, то ли прикинулся больным из осторожности. Много хуже повела себя устроительница сексуальных оргий Кальвия Криспинила. Оказалось, что ей по плечу не только воплощать в жизнь свои и Нерона развратные фантазии. Перебравшись под шумок в провинцию Африка (совр. Тунис), она уговорила поддержать восставших против Нерона легата Клодия Макра, в чьем распоряжении был легион, контролирующий эту провинцию. Учитывая, что из Африки в Рим также поступал хлеб и иное продовольствие, это был смертельный удар по Нерону. Даже весть о гибели Виндекса не принесла Нерону успокоения. Проконсул Верхней Германии Вергиний Руф разгромил армию Виндекса близ крепости Везоний в Галлии, но победоносные легионы немедленно провозгласили своего полководца… императором. Осторожный Руф отказался от высочайшей чести, но заявил, что принцепса должны избрать сенат и народ.[311] А это значило, что Нерона в любом случае он принцепсом уже не считает! Потому-то известие это, взволновавшее Гальбу, удрученного гибелью своего союзника Виндекса и опасавшегося возможных амбиций Вергиния Руфа, для Нерона означало одно: крах всех надежд. Роковое послание Нерон получил на очередном своем пиру — самое удачное время для веселья. Плиний Старший так прокомментировал поведение императора:

> «Нерон, получив весть о своем крахе, в приступе гнева разбил два хрустальных кубка, бросив их на землю. Это было местью наказывающего свой век, чтобы никто другой не пил из них».[312]

Светоний уточняет, что при этом Нерон еще и изорвал донесение, а также опрокинул пиршественный стол. Разбитые кубки Нерон ранее называл «гомерическими», так как резьба на них была из поэм Гомера.[313]

Интересно, вспомнил ли он при этом, что обреченный им на смерть Arbiter Elegantiarum Петроний также перед уходом из жизни разбил драгоценный ковш, чтобы тот не достался виновнику его гибели Нерону? Но Петроний уходил в небытие с достоинством и мужеством, Нерон же бился в истерике.

Впрочем, Нерон еще не собирался умирать. Понимая, что ему уже не сохранить за собой власть, он делал отчаянные попытки спасти свою жизнь. Выход виделся ему в бегстве. Но куда он

намеревался бежать? Судя по всему, в Египет. Провинция, где он так мечтал побывать, будучи могущественным императором, куда однажды уже собирался и если бы не напугавшее его происшествие в храме Весты, непременно отправился бы, казалась почему-то спасительным убежищем. Главное — в Египте Александрия, где процветает самая изысканная поэзия, где замечательно аплодируют артистам. Может быть, там он и «прокормится ремеслишком», как однажды в шутку Нерон говорил, узнав о предсказании, грозившем ему утратой власти? Бегство замышлялось всерьез.

Надежных вольноотпущенников Нерон отправил в Остию готовить корабли. Сам же вызвал к себе трибунов и центурионов преторианских когорт. И здесь он совершил последнюю свою роковую ошибку, после которой немедленная печальная развязка стала неизбежной. Преторианцы и ранее неоднократно видели Нерона не в лучшем виде. Но тогда это был пусть и ведущий себя странно, а порой и недостойно своего высокого звания, но полновластный император, никогда не забывающий о возможностях своей власти и готовый при первой необходимости ее употребить. Такого трудно любить, но повиноваться должно. А тут трибуны и центурионы увидели перед собой вконец растерянного и утратившего всякую веру в возможность сопротивления врагам человека. Уже не императора, но трусливого беглеца — вражеские легионы-то находились за сотни миль от Рима, в полном смысле слова, за горами и морями. А этот уже спраздновал труса, готов сломя голову бежать из собственной столицы, по сути, сложил с себя высшую власть, чего до него не делал ни один человек, принявший славные имена Цезаря и Августа… Возможен ли больший позор?

Мало того, он хочет, чтобы воины преторианских когорт стали соучастниками этого трусливого бегства! Преторианцы присягают на верность принцепсу, исполнять его волю их долг. Но повиноваться беглецу? Тому, кто уже не император, но гонимый врагами низвергнутый властитель. Никогда!

Помимо прочего, не могли преторианские трибуны и центурионы не задуматься и над тем, какова будет участь тех, кто все же решится сопровождать Нерона. Свергнутый принцепс — а Нерон, решившийся бежать из столицы, сам признал свое свержение свершившимся — обречен. Его будут преследовать, как зверя на охоте, и непременно уничтожат. А с ним погибнут и все сопровождающие. Потому-то самые деликатные воины просто отмалчивались, другие прямо отказались. Один же в издевку процитировал стих, прямо указывающий Нерону на его участь: «Так ли уж горестна смерть!»

Осознав, что преторианцы не являются более его опорой, Нерон *«стал раздумывать, не пойти ли ему просителем к парфянам или к Гальбе, не выйти ли ему в черном платье к народу, чтобы с ростральной трибуны в горьких слезах молить прощения за все, что было, а если умолить не удастся, то выпросить себе хотя бы наместничество над Египтом. Готовую речь об том нашли потом в его ларце; удержал его, по-видимому, страх, что его растерзают раньше, чем он достигнет форума»*.[314]

Готовился он и к возможному самоубийству. Еще накануне он попросил у Локусты яд, который она и вручила ему в золотом ларчике. Думал ли он, многократно прибегая к услугам знаменитой отравительницы, что последнюю порцию яда получит для себя!

Тем временем командиры преторианцев явились к префекту претория Нимфидию Сабину, в отсутствие то ли больного, то ли сказавшегося таким Тигеллина, единолично руководящему всеми когортами, и наверняка в красках расписали ему жалкое поведение Нерона, сообщив и о своем решительном отказе сопровождать его в бегстве. Нимфидий не стал колебаться. Служба Нерону закончена. Решив бежать, он сам освободил преторианцев от присяги.

Префект претория не стал мешать бегству Нерона, но счел необходимым известить сенат о том, что Рим лишился принцепса, поскольку Нерон сам решил свою участь. Сенат, совсем недавно раболепно выслушивающий зачитывавшуюся на его заседании речь Нерона против Виндекса, мгновенно очнулся и с удивительной быстротой и решимостью обрушил свой праведный гнев на беглого императора. Сенаторы, так дружно восклицавшие: «Да будет так, о август!» — когда в послании Нерона мятежникам сулились суровое наказание и достойная гибель, теперь без колебаний обрекли на смерть того, кого еще утром этого дня почитали как своего принцепса.

Сенат, вдохновленный словами Нимфидия о бегстве Нерона, немедленно объявил его врагом отечества и присудил его к смертной казни. Казнь была назначена следующая: Нерон должен был быть проведен голым перед народом с колодкой на шее, затем засечен насмерть розгами и сброшен со скалы.[315] Такой приговор заставлял вспомнить далекие первые века римской истории, когда приговоренных к смерти сбрасывали с Тарпейской скалы Капитолия.

А Нерон все еще размышлял. Отказ преторианцев сопровождать его делал невозможным отъезд в Египет, каких-либо других способов спасения он изобрести не мог. Рассудив, очевидно, что утро вечера мудренее, он, отложив все

размышления на следующий день, лег спать. Во дворце в это время всем стало известно, что преторианцы более не на стороне Нерона. Судьба императора, покинутого собственной гвардией, настолько очевидна и печальна, что все, кто находился в Золотом дворце, сочли за благо немедленно оставить это роскошное место, внезапно ставшее самым опасным местом в Риме. Подобно преторианцам, обитатели императорского дворца не желали разделить судьбу гибнущего владыки.

«Vae victis!» — «Горе побежденным!» — эти слова верны во все времена.

Проснувшись среди ночи, Нерон с изумлением обнаружил, что его покинули телохранители. Увидев дворцовых рабов, он послал их за своими друзьями, однако не дождался ни друзей, ни посланных за ними. Пройдясь по дворцу, он увидел, что все двери заперты. Стал громко звать прислугу — никто не отвечал. Когда он вернулся в спальню, то оказалось, что за то время, пока он ходил по дворцовым покоям, разбежались последние рабы, ухитрившиеся прихватить даже простыни, на которых Нерон только что спал. Кто-то из слуг прихватил из опочивальни императора тот самый золотой ларчик с ядом, полученный Нероном от Локусты. Может, просто прельстившись золотом и не догадываясь о смертоносном содержимом ларца. А может, похититель ларца сознательно решил лишить Нерона возможности простого ухода из жизни.

Отсутствие яда принудило Нерона искать другой способ неизбежного уже расставания с жизнью — всеобщее бегство из дворца было слишком красноречиво. Он попытался найти своего знакомого гладиатора Спикула и упросить его помочь своей многоопытной в кровопролитии рукой покончить с собой несчастному принцепсу. Но Спикула тоже нигде не было. В отчаянии он готов был принять смерть от руки любого другого опытного убийцы, но вокруг не было даже неопытных. «Неужели нет у меня ни друга, ни подруги?» — воскликнул он и выбежал прочь, словно желая броситься в Тибр.

Друзья за пределами дворца все же обнаружились. Самыми верными Нерону остались четверо вольноотпущенников — Неофит, Спор, Фаон и Эпафродит.[316] Знакомые лица, какие-то слова поддержки несколько успокоили Нерона, и он оставил мысли о немедленном самоубийстве.

Последние часы жизни Нерона столь блистательно изложены Светонием, что наилучшим представляется дать здесь слово автору «Жизни двенадцати цезарей»:

«…Он пожелал найти какое-нибудь укромное место,

чтобы собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу между Соляной и Номентанской дорогами, на четвертой миле от Рима. Нерон, как был, босой, в одной тунике, накинув темный плащ, закутав голову и прикрыв лицо платком, вскочил на коня; с ним было лишь четверо спутников, среди них — Спор.

С первых же шагов удар землетрясения и вспышка молнии бросили его в дрожь. Из ближнего лагеря до него долетали крики солдат, желавших гибели ему, а Гальбе — удачи. Он слышал, как один из встречных прохожих сказал кому-то: «Они гонятся за Нероном»; другой спросил: «А что в Риме слышно о Нероне?» Конь шарахнулся от запаха трупа на дороге, лицо Нерона раскрылось, какой-то отставной преторианец узнал его и отдал ему честь.

Доскакав до поворота, они отпустили коней, и сквозь кусты и терновник по тропинке, проложенной через тростник, подстилая под ноги одежду, Нерон с трудом выбрался к задней стене виллы. Тот же Фаон посоветовал ему до поры укрыться в яме, откуда брали песок, но он отказался идти живым под землю. Ожидая, пока пророю тайных ход на виллу, он ладонью зачерпнул напиться воды из какой-то лужи и произнес: «Вот напиток Нерона!» Плащ его был изорван о терновник, он обобрал с него торчащие колючки, а потом на четвереньках через узкий выкопанный проход добрался до первой каморки и там бросился на постель, на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему захотелось есть и снова пить; предложенный ему грубый хлеб он отверг, но тепловатой воды немного выпил.

Все со всех сторон умаляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с него мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он всхлипывал и все время повторял: «Какой великий артист погибает «Qualis artifex pereo!» Пока он медлил, Фаону скороход принес письмо; выхватив письмо, он прочитал, что сенат объявил его врагом и разыскивает, чтобы казнить по обычаю предков. Он спросил, что это за казнь; ему сказали, что преступника раздевают донага, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собой,

> попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что роковой час еще не наступил. То он уговаривал Спора начинать крик и плач, то просил, чтобы кто-нибудь примером помог ему встретить смерть, то бранил себя за нерешительность такими словами: «Живу я гнусно, позорно — не к лицу Нерону, не к лицу — нужно быть разумным в такое время — ну же, мужайся!» Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. Заслышав их, он в трепете выговорил: «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает» (строка из Илиады Гомера) и с помощью своего советника по прошениям, Эпафродита, вонзил себе в горло меч. Он еще дышал, когда ворвался центурион и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему помочь. Он только и мог ответить: «Поздно!» — и: «Вот она, верность!» — с этими словами испустил дух. Глаза его остановились и выкатились, на них было ужасно смотреть».[317]

Нерон погиб на тридцать первом году жизни 7 июня 68 года. Суеверные римляне не могли не обратить внимание на знаковые совпадения роковых дат в его жизни: известие о восстании Виндекса, положившее начало его падению, он получил в день гибели Агриппины, а погиб в тот самый день, в который за пять лет до этого погубил безвинную Октавию, свою первую жену.

Сенат не стал мстить мертвому Нерону. Тело его было погребено должным образом. Останки его собрали на погребальном костре кормилицы Эклога и Александрия, и Акте, несмотря на разлуку все эти годы хранившая добрые чувства к Нерону. Урна с его прахом была помещена в родовой усыпальнице Домициев.

Первая любовь Нерона достойно проводила его в последний путь.

Хронология

15 декабря 37 года — рождение Луция Домиция Агенобарба, будущего Нерона.

Март 38 года — смерть Гнея Домиция Агенобарба, отца Нерона.

39 год — Калигула отправляет в ссылку свою сестру Агриппину, мать Нерона. Мальчика берет на воспитание Домиция Лепида, сестра его покойного отца.

41 год — убийство Гая Цезаря Калигулы, начало правления императора Клавдия. Возвращение из ссылки Агриппины. По настоянию супруги Клавдия Мессалины в ссылку отправлен Луций Анней Сенека.

47 год — секулярные игры — игры столетия. Юный Нерон участвует в конном представлении — Троянских играх и завоевывает большее расположение публики, нежели сын правящего императора Британник.

48 год — разоблачение либертином Нарциссом, секретарем Клавдия, супружества Мессалины и Гая Силия. Гибель Мессалины.

49 год — Агриппина становится женой Клавдия. Сенека возвращается из ссылки и становится главным воспитателем Нерона.

50 год — усыновление Луция Домиция Агенобарба Клавдием. С этого времени он именуется Тиберий Клавдий Нерон.

51 год — официальное совершеннолетие Нерона. Сенат предлагает дать ему консульские полномочия. Нерон именуется «главой молодежи». Первое выступление Нерона в сенате. На цирковом представлении Нерон появляется в пурпурном одеянии триумфатора, что подчеркивает превосходство его статуса над статусом Британника.

53 год — женитьба Нерона на дочери Клавдия и Мессалины Октавии. Выступления Нерона в сенате в поддержку ходатайств Нового Илиона, Бононии, Родоса и Апамеи.

54 год — Нерон свидетельствует в суде против своей тетки Домиции Лепиды, подтверждая клеветнические обвинения, возведенные на нее Агриппиной. Секретарь Клавдия Нарцисс заступается за Домицию Лепиду. Он же активно настраивает Клавдия против Агриппины и Нерона. Болезнь Нарцисса и его отъезд из Рима развязывают руки Агриппине. В октябре Клавдий умирает от яда, приготовленного Локустой по просьбе Агриппины. Нерон провозглашен принцепсом. Сенека сочиняет поэму, в которой издевается над Клавдием и прославляет приход

к власти Нерона.

55 год — Нерон отправляет в отставку главу финансового ведомства империи Палланта. Столкновение Нерона и Агриппины во время приема послов из Армении. Смерть Британника. Захват парфянами Армении. Нерон назначает на Восток Гнея Домиция Корбулона и приказывает пополнить молодежью легионы Востока.

58 год — успехи войск Корбулона в Армении. Нерон провозглашается войсками императором.

59 год — убийство Агриппины. Конец «золотого пятилетия». Нерон празднует Ювеналии — юношеские игры. Торжественное обритие бороды Нерона. Смерть тетки Нерона Домиции Лепиды.

60 год — проведение в Риме новых игр — Нероний. Нерон выступает в роли певца и кифареда. Мятеж в Британии. Нерон готов вывести оттуда легионы» но, к счастью, мятеж успешно подавлен римскими войсками на острове.

61 год — убийство рабом префекта Рима Педания Секунда. Сенат под влиянием выступления юриста Гая Кассия Лонгина на основании действующего закона приговаривает всех четырехсот рабов убитого префекта, находившихся в доме в момент убийства, к смерти. Нерон утверждает приговор.

62 год — смерть Афрания Бурра. Преторианские когорты возглавляют два новых префекта: Фений Руф и Софоний Тигеллин. Разрыв Нерона с Октавией. Ссылка и убийство Октавии по настоянию Поппеи Сабины. Брак Нерона и Поппеи. Отставка Сенеки. Неудачи на Востоке. Капитуляция римских войск при Рандее. Занятие Армении парфянами.

63 год — рождение первенца Нерона и Поппеи Клавдии Августы. Три месяца спустя девочка умерла. Корбулон относительно почетно для Рима заключает мир с Парфией. Брат парфянского царя Тиридат становится царем Армении, но царскую диадему он должен получить из рук Нерона.

64 год — первое публичное выступление Нерона в Неаполе. С этого времени появление Нерона на сцене в качестве певца, кифареда и трагического актера становится регулярным. Великий пожар Рима. Расправа над христианами. Гибель апостолов Петра и Павла.

65 год — разоблачение заговора Пизона и расправа над заговорщиками. Гибель Сенеки. Вместо изобличенного заговорщика Фения Руфа префектом претория становится Нимфидий Сабин. Беременность Поппеи. Ее гибель после того, как Нерон в пьяном беспамятстве ударил ее ногой в живот. Торжественные похороны и обожествление Поппеи Сабины.

66 год — гибель Петрония Арбитра и Тразеи Пета. Смерть

Антонии — дочери Клавдия, отказавшейся стать женой Нерона. «Двоеженство» Нерона: он женится на Статилии Мессалине, затем объявляет своей «женой» кастрированного по его приказу вольноотпущенника Спора, чье лицо напоминает ему черты незабвенной Поппеи. Восстание в Иудее. Торжественный прием Тиридата в Риме. Разоблачение заговора Виниciана в Беневенте. Отъезд Нерона в Грецию.

67 год — выступление Нерона на Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских играх. На Истмийских играх он объявляет Грецию свободной. Начало прорытия канала через перешеек Истм, соединяющий основную территорию Эллады с полуостровом Пелопоннес. Расправа над тремя военачальниками: в Грецию вызваны и погублены командовавший легионами на Востоке Корбулон, а также наместники и командующие легионами Верхней и Нижней Германии братья Скрибонии.

68 год — триумфальное возвращение Нерона из Греции в Рим. В девятую годовщину гибели Агриппины приходит весть о восстании Виндекса в Галлии. Виндекса поддерживает Гальба, находящийся в Испании. Гибель Виндекса в битве при Веэонтионе не меняет положения дел к лучшему для Нерона. Турпиллион на севере Италии не предпринимает никаких мер против восставших. Легионы Вергиния Руфа, победившие Виндекса, не признают более Нерона своим императором. Решившись на бегство из Италии в Александрию, Нерон лишается поддержки преторианских когорт. Нимфидий Сабин сообщает о бегстве Нерона сенату. Сенат объявляет Нерона врагом отечества.

9 июня — смерть Нерона. Конец династии Юлиев-Клавдиев.

Библиография

Источники

Аврелий Виктор. О Цезарях. Извлечения о жизни и нравах римских императоров / Пер. В. С. Соколова//Римские историки IV века. М., 1997. С. 77–162.

Евсевий Памфил. Церковная история. СПб., 1993.

Евтропий. Краткая история от основания Города / Пер. А. И. Донченко. Римские историки IV века. М., 1997. С. 5–76.

Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. Г. Г. Генкеля. Минск, 1994.

Иосиф Флавий. Иудейская война / Пер. Я. Чертка. СПб., 1900.

Петроний. Сатирикон / Пер. Б. Ярхо // Библиотека Всемирной литературы. Сер. 1. Т. 7. С. 235–348.

Плиний Младший. Письма / Пер. М. Сергеенко, А. Доватура. М., 1984.

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве / Пер., предисл. и примеч. Г. А. Тароняна. М., 1994.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Под ред. М. Грабарь-Пассек, С. Маркина. М., 1962–1964.

Светоний. Жизнь двенадцати цезарей/Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1990.

Сенека. Апофеоз Божественного Клавдия / Пер. Ф. Петровского // Римская сатира. М., 1989.

Сенека. Философские трактаты / Пер. Т. Ю. Бородай. СПб., 2001.

Сенека. Нравственные письма к Луциллию / Пер. С. Ошерова. М., 1986.

Тацит. Сочинения: В 2 т. / Изд. подготовили А. С. Бобович, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеенко. М., 1993.

Филострат. Жизнь Аполлония Тианского / Пер. Е. Г. Рабинович. М., 1985.

Ювенал. Сатиры / Пер. Д. Недовича, Ф. Петровского // Римская сатира. М., 1989.

Cassii Dionis Cocceiani. Historiac Roma пае. Lipsae, 1829.

Литература

Бокщанин А. Социальный кризис римской империи в I веке н. э. М., 1954.

Бокщанин А. Парфия и Рим. Возникновение системы политического дуализма в передней Азии. Т. 1–2. М., 1960–1966.

Буассье Г. Общественное настроение времен римских цезарей. Пг., 1915.

Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антониев. М., 1914.

Гольденберг В. Очерки по истории римской империи в I веке н. э. гражданская война 69 года н. э. Харьков, 1958.

Горский А. Нерон. Денди, которого считали сатаной. СПб., 2005.

Грант М. Нерон. Владыка земного ада. М., 2002.

Грималь П. Сенека, или Совесть империи. М., 2003.

Грилш Э. Исследования по истории развития римской императорской власти. Т. 1. Римская императорская власть от Августа до Нерона. СПб., 1900.

Гриффин М. Нерон. Конец династии. М., 1999.

Дуров В. Нерон, или Артист на троне. СПб., 1994.

Егоров А. Рим на грани эпох. Л, 1985.

Каждан А. От Христа к Константину. М., 1967.

Кнаббе. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. М., 1981.

Князькин И. Интимная жизнь древних владык. М.; СПб., 2005.

Крист К История времен римских императоров. Т. 1. Ростов н/Д., 1997.

Нетушил Н. Очерк римских государственных древностей. Вып. 1–3. Харьков, 1894, 1897, 1902.

Остерман Л. Римская история в лицах. М., 1997.

Сизек Э. Нерон. Ростов н/Д., 1998.

Радзинский Э. Загадки истории. М., 2003.

Ренан Э. Антихрист. М., 1884.

Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы. М., 1991.

Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности. М., 1984.

Федорова Е. Императорский Рим в лицах. Ростов н/Д., 1998. *Федорова Е.* Мифы и реальность Древней Греции. М., 2005.

Bradly K. Suetonius' Life of Nero, An Historical Commentary. Brussels, 1978.

Henderson B. Life and Principate of the Emperor Nero. London, 1903. *Georg-Roux.* Nero. Paris, 1962.

Walter B. Nero. Paris, 1955.

Warmington B. Nero: Reality and legend. London, 1969.

notes

Примечания

1

Светоний. Нерон. 6. 1.

2

Там же. 6. 2.

3

Там же. 4.

4

Тацит. Анналы. III. 4.

Федорова Е. В. Латинские надписи. М., 1976. С. 167.

6

Ювенал. Сатиры. VI. 115–132.

7

Тацит. Анналы. XI. 38.

8

Там же. XII. 7.

9

Там же.

Там же. 8.

11

Светоний. Нерон. 7. 1.

12

Тацит. Анналы. XII. 41.

13

Светоний. Нерон. 7. 2.

14

Тацит. Анналы. XII. 41.

15

Там же.

Там же. 42.

17

Там же. 64.

18

Светоний. Нерон. 7. 1.

19

Тацит. Анналы. XII. 65.

20

Светоний. Клавдий. 43, 44. 1.

21

Тацит. Анналы. XII. 69.

22

Дион Кассий. Римская история. LX. 35.

23

Сенека. Апофеоз Божественного Клавдия. 4..

24

Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. V. 1–3.

25

Тацит. Анналы. XIII. 4.

26

Светоний. Нерон. 10. 1.

27

Тацит. Анналы. XIII. 4.

28

Светоний. Нерон. 10. 1, 2.

29

Тацит. Анналы. XIII. 5.

30

Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. IV. 9.

31

Тацит. Анналы. XIII. 14.

32

Светоний. Нерон. 17.

33

Тацит. Анналы. XIII. 10.

34

Светоний. Нерон. 15. 2.

35

Тацит. Анналы. XIII. 11.

36

Дион Кассий. Римская история. LXI. 3–4.

37

Светоний. Нерон. 15. 1.

Там же. 16. 2.

39

Гай Саллюстий Крисп. Заговор Катилины. 6–12.

40

Светоний. Нерон. 34. 1.

41

Тацит. Анналы. XIII. 5.

42

Светоний. Нерон. 28. 1.

Там же. 27.

44

Светоний. Нерон. 33. 2.

45

Тацит. Анналы. XIII. 16.

Там же. 17.

47

Сенека. О милосердии. 1. 1, 8.

Там же. 4, 2.

49

Там же. 4, 3.

Гриффин М. Т. Нерон. Конец династии.

51

Там же. С. 112.

52

Тацит. Анналы. XIV. 9.

53

Светоний. Нерон. 34. 1.

54

Тацит. Анналы. XIII. 19.

Там же. 21.

56

Тацит. Анналы. XIII. 46.

57

Светоний. Отон. 3. 1.

Там же. 2.

59

Дион Кассий. Римская история. XXXVII. 13.

60

Тацит. Анналы. XIV. 2.

61

Дион Кассий. Римская история. LXII. 11.

62

Там же.

63

Тацит. Анналы. XIV. 2.

Светоний. Нерон. 28. 2.

Там же. 46. 3.

Тацит. Анналы. XIV. 1.

67

Дион Кассий. Римская история. LXII. 12.

Светоний. Нерон. 34. 2.

69

Дион Кассий. Римская история. LXII. 12.

70

Тацит. Анналы. XIV. 4.

71

Светоний. Нерон. 34. 2.

72

Дион Кассий. Римская история. LXI1. 12.

73

Тацит. Анналы. XIV. 4.

Светоний. Нерон. 46. 2.

75

Дион Кассий. Римская история. LXII. 13.

76

Тацит. Анналы. XIV. 6.

Там же. 7.

Дион Кассий. Римская история. LXII. 14.

79

Светоний. Нерон. 34. 3.

80

Дион Кассий. Римская история. LXII. 14.

81

Тацит. Анналы. XIV. 9.

Там же. 11.

83

Дион Кассий. Римская история. LXII. 14.

Тацит. Анналы. XIV. 12..

Там же. 13.

86

Светоний. Божественный Август. 94. 4.

87

Светоний. Нерон. 34. 4.

Там же. 4.

89

Тацит. Анналы. XIV. 14.

Там же. 14.

91

Светоний. Нерон. 34. 5.

92

Петроний. Сатирикон. 29.

Грант М. Нерон. М., 2002. С. 111.

Светоний. Нерон. 11. I.

95

Тацит. Анналы. XIV. 15.

Светоний. Нерон. 20. 1.

97

Тацит. Анналы. XIV. 20.

Там же. 21.

99

Светоний. Нерон. 12. 4.

100

Тацит. Анналы. XIV. 21.

101

Светоний. Нерон. 12. I.

102

Там же.

103

Там же.

104

Цицерон. Тускуланские диспуты. 2. 41.

105

Светоний. Нерон. 12. 2.

106

Павсаний. Описание Эллады. I. 24, 1.

107

Светоний. Нерон. 11. 2.

Лукий Патрский. Лукий, или Осел. 53.

109

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. X. 24.

110

Светоний. Нерон. 20. 2.

111

Тацит. Анналы. XV. 34.

112

Князькин И. В. Интимная жизнь древних владык. М.; СПб., 2005. с. 235.

113

Светоний. Нерон. 20. 3.

Там же. 21.3.

115

Ювенал. Сатиры. Книга V. Сатира 8. С. 215–222.

116

Светоний. Нерон. 21. 2.

117

Там же. 40. 2.

118

Тацит. Анналы. XVI. 4, 5.

119

Светоний. Нерон. 22. 1, 2..

120

Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. IV. 42.

121

Тацит. Анналы. XIV. 16.

122

Светоний. Нерон. 52.

123

Светоний. Вителлий. 11.

124

Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. IV. 39.

125

Тацит. Анналы. XV. 49.

126

Светоний. Нерон. 24.

127

Светоний. Нерон. 24.

Горский А. С. Нерон. СПб.; М., 2005. С. 170.

129

Дион Кассий. Римская история. LXII. 29. 2–4.

130

Гриффин М. Нерон. Конец династии. С. 240.

131

Светоний. Нерон. 39. 2.

Там же. 3.

133

Грималь П. Сенека, или Совесть империи. М., 2003. С. 164.

134

Платон. Горгий. 491 Б, 492 С.

Федорова Е. В. Мифы и реальность Древней Греции. М.; 2005. С. 265.

136

Дион Кассий. Римская история. LXI. 4.

137

Светоний. Нерон. 29.

138

Там же. 26. 2.

139

Дион Хрисостом. Ром. XXXVI // Борисфенийская речь, произнесенная Дионом на его родине.

140

Светоний. Нерон. 28. 1, 2.

141

Тацит. Анналы. XV. 37.

142

Светоний. Нерон. 29.

143

Тацит. Анналы. XIII. 25.

144

Светоний. Нерон. 26, 27. 1.

145

Там же. 28. 1.

146

Тацит. Анналы. XIV. 22.

147

Там же.

Там же. 42.

149

Фукидид. История. VI. 54.

150

Тацит. Анналы. XIV. 42.

151

Петроний. Сатирикон. 29.

Там же. 71.

153

Там же. 75.

Катон Старший. О сельском хозяйстве. 5, 2.8 Там же. 75.

155

Коллумела. О сельском хозяйстве. I. 8, 15.

156

Сенека. Письма к Луцилию. 47.

157

Тацит. Анналы. XIV. 43.

158

Там же.

159

Там же. XIV. 44.

Там же. XIII. 27.

161

Там же. XIV. 48.

Там же. 57.

163

Дион Кассий. Римская история. LXII. 14.

164

Тацит. Анналы. XIV. 59.

165

Светоний. Нерон. 53. 1.

Там же. 35. 2.

167

Тацит. Анналы. XIV. 64.

Там же. XV. 23.

169

Там же. 18.

Там же. 20.

171

Там же. 38.

172

Дион Кассий. Римская история. LXII. 16.

173

Светоний. Нерон. 38.

Гриффин М. Т. Нерон. Конец династии. С. 206–207; Грант М. Нерон. С. 189; Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 186; War-mington B. H. Nero: Reality and legend. London, 1969. P. 120–124.

175

Полибий. Всеобщая история. XXXIX. 6.

176

Тацит. Анналы. XV. 40.

177

Там же. 44.

178

Светоний. Нерон. 16. 2.

179

Ницше Ф. Антихристианин. Сумерки богов. М., 1991. С. 86–87.

180

Евсевий Памфил. Церковная история. II. 25. 1–4.

181

Иосиф Флавий. Иудейские древности. II. 195.

182

Евангелие от Матфея. Глава 24. 1, 2.

183

Евангелие от Матфея. Глава 26. 59–63.

184

Там же.

185

Деяния. Глава 7. 51–52.

Деяния. Глава 10. 45–48.

187

Деяния. Глава 12. 1–3.

188

Светоний. Божественный Клавдий. 24. 4.

189

Евсевий Памфил. Церковная история. II. 25. 5–8.

Второе послание к Тимофею. Глава 4. 21.

191

Светоний. Нерон. 16. 1.

192

Тацит. Анналы. XV. 43.

193

Там же.

194

Светоний. Нерон. 31. 3.

195

Тацит. Анналы. XV. 42.

196

Там же.

197

Светоний. Нерон. 31. 1, 2.

Грант М. Нерон. С. 213.

199

Светоний. Божественный Клавдий. 10. 3.

200

Тацит. Анналы. XV. 50.

201

Дион Кассий. Римская история. LXII. 24. 1–2.

202

Тацит. Анналы. XV. 48.

203

Светоний. Божественный Юлий. 82. 1, 2.

204

Светоний. Гай Калигула. 58. 2.

205

Тацит. Анналы. XV. 54.

Там же. 55.

207

Светоний. Нерон. 36. 2.

208

Тацит. Анналы. XV. 57.

Там же. 59.

Там же. 67.

211

Там же. 70.

Там же. 69.

213

Там же. 65.

214

Дион Кассий. Римская история. LXII. 24.

215

Тацит. Анналы. XV. 61.

Там же. 63, 64.

217

Светоний. Нерон. 37.

218

Тацит. Анналы. XVI. 6.

219

Светоний. Нерон. 35. 3..

220

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXIII. 140.

221

Дион Кассий. Римская история. LXII. 11, 12; Тацит. Анналы. XV. 7.

222

Светоний. Нерон. 37. 1.

223

Там же. 35. 4.

224

Тацит. Анналы. XVI. 18.

225

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXVII. 20.

226

Тацит. Анналы. XVI. 18, 19.

227

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXVII. 20.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1969. С. 175–176.

229

Иосиф Флавий. Иудейские древности. 19. 1, 2.

230

Тацит. Анналы. XVI. 22.

231

Там же.

232

Там же.

233

Там же.

Там же. 35.

235

Плиний Младший. Письма. III. 16.

236

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XVIII. 35.

237

Светоний. Нерон. 36. 1.

238

Дион Кассий. Римская история. LXII. 23. 6.

239

Светоний. Нерон. 37. 3.

240

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXVII. 64.

241

Тацит. Анналы. XIII. 6.

Там же. 34.

243

Там же. 35.

Там же. 40.

245

Светоний. Нерон. 39. 1.

246

Евтропий. Краткая история от основания Города. VII. 14. 4.

247

Тацит. Анналы. XV. 15.

Дион Кассий. Римская история. LXII. 23. 4.

249

Светоний. Нерон. 13. 1, 2.

250

Дион Кассий. Римская история. LXI1. 23, 6.

251

Светоний. Нерон. 18; Евтропий. Краткая история от основания Города. VII. 14, 5; Секст Аврелий Виктор. О цезарях. V. 2.

252

Светоний. Нерон. 30. 2.

253

Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 13.

Светоний. Веспасиан. 4. 1.

255

Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 12.

Там же. 13.

257

Дион Кассий. Римская история. LXII. 2. I.

258

Тацит. Анналы. XIV. 30.

Там же. 33.

260

Там же.

261

Дион Кассий. Римская история. LXII. 3. 2.

262

Тацит. Анналы. XIV. 37.

263

Там же. 34.

Светоний. Нерон. 18.

265

Евсевий Памфил. Церковная история. II. 26.

Светоний. Веспасиан. 4. 5.

267

Там же.

268

Тацит. История. V. 10.

269

Светоний. Веспасиан. 4. 5, 6.

Евсевий Памфил. Церковная история. II. 26..

271

Иосиф Флавий. Иудейская война. III. 8.

Там же.

273

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXIV. 46.

274

Светоний. Нерон. 30. 1, 2.

Там же.

276

Тацит. Анналы. XVI. 1; Светоний. Нерон. 31.4.

277

Светоний. Нерон. 31. 4.

Тацит. Анналы. XVI. 3.

Светоний. Нерон. 32. 1. в

Там же. 2. 3, 4.

281

Дион Кассий. Римская история. LXIII. 11.

282

Светоний. Нерон. 19. 2.

283

Там же. 23. 2.

284

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXIV. 48.

Там же. 63.

Там же. 84.

287

Павсаний. Описание Эллады. 9. 27, 4.

288

Дион Хрисостом. Речи. 71.9.

289

Светоний. Нерон. 19. 1.

Федорова Е. В. Мифы и реальность Древней Греции. С. 136–137.

291

Там же. С. 139.

292

Дион Кассий. Римская история. LXVI. 14, 2:

293

Там же. LXIII. 14, 3.

Там же. 12.

295

Светоний. Нерон. 18. 2.

Там же. 37. 3.

Там же. 24. 2.

Грант М. Нерон. С. 286.

299

Дион Кассий. Римская история. LXIII. 19, 1.

300

Светоний. Нерон. 25. I, 2.

301

Там же. 53.

302

Там же. 40. 4.

303

Светоний. Гальба. 9. 2.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гальба. IV.

305

Тацит. История. I. 13.

306

Светоний. Нерон. 42. 1.

Там же. 43. 2.

308

Тацит. История. I. 6; Дион Кассий. Римская история. LXIU. 27.

309

Светоний. Нерон. 44. 1, 2.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гальба. VI.

311

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. XXXVII. 29.

312

Светоний. Нерон. 47. 1.

Там же. 2.

314

Евтропий. Краткая история от основания Города. VI. 15. 1.

315

Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. V. 7.

316

Светоний. Нерон. 48–49.

317

Там же.